

HEBA



3 • 2025



СОДЕРЖАНИЕ

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

- Михаил ДУДИН, Сергей ОРЛОВ,
Мустай КАРИМ, Глеб ПАГИРЕВ,
Надежда ПОЛЯКОВА, Вадим ШЕФНЕР**
Перекличка однополчан. *Стихи* • 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Михаил РАХУНОВ**
Дежурный ангел, или 1946 год. *Поэма* • 7
- Геннадий СЕДОВ**
Театр незабываемой застойной поры. *Повесть* • 13
- Сергей МАККЕ**
Каталаунские поля 15 июня 451 года. *Стихи* • 75
- Георгий ПАНКРАТОВ**
Крик. *Повесть* • 79
- Михаил ШЕЛЕНОК**
Стихи • 108
- Эвелина АЗАЕВА**
Золотые яблоки Дианы. *Рассказ* • 110

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

- Андрей БОЛДЫРЕВ, Роман РУБАНОВ,
Владимир КОСОГОВ**
Курские лирики. *Стихи. Предисловие М. Кудимовой* • 122
- Аркадий ГОНТОВСКИЙ**
Когда поет о вечном ветер. *Стихи.*
Предисловие Г. Климовой • 129

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

- Наталья ОСИПОВА**
Самая красивая женщина Мариуполя. *Повесть* • 135

ПУБЛИЦИСТИКА

К 120-летию Г. М. Козинцева

Михаил КУРАЕВ

Человек за горизонтом • 172

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Вера КАЛМЫКОВА

Валерий Брюсов — культурный герой русского модернизма. *Статья третья. Драматургия. Действие* • 188

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. Елена Травина. Образ Финляндии в зеркале журнала «Нива» (1870–1918). **Книжный остров.** Публикация Е. Зиновьевой • 201

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Русские паломники у святынь Бельгии. *Часть 3* • 243

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталия Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

ПЕРЕКЛИЧКА ОДНОПОЛЧАН

Стихи поэтов, шагнувших в литературу из окопов Великой Отечественной войны, опубликованные в журнале «Нева» № 5 в 1981 году.

Михаил ДУДИН

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Когда живущие молчат,
Тогда погибшие кричат.

Собой к Победе мост мостят.
Они забвенья не простят.

И не во сне, а наяву
Опять летят через Неву,

На горькой памяти-огне
Они всегда горят во мне,

Через Неву и на Берлин
Сквозь гром огня и скрежет льдин,

И жизни завтрашнего дня
Нет без вчерашнего огня.

На левый берег дотам в лоб
И — кровью собственной в захлеб.

Об этом мертвые кричат,
Когда живущие молчат.

Сергей ОРЛОВ

Отошла с Московского вокзала
В Ленинграде «Красная стрела».
Поперек колес метнулись шпалы,
За окном в поземке серой — мгла.

Золотой песок, от крови ржавый,
Черный остов белого моста,
Мертвые, разбитые составы,
На боку лежащие в кустах.

Я повсюду ездил очень много,
Жизнь моя слагалась из дорог,
Только помню все одну дорогу:
Взорванные рельсы и песок, —

...Курят беззаботно пассажиры,
Пьют чай, играют в домино.
Мы уже давно привыкли к миру,
Но с тревогой я гляжу в окно.

Проводник смеется в коридоре,
Ничего особенного нет,
И на каждом встречном семафоре
Зажигается зеленый свет...

1950

Мустай КАРИМ

КИЕВ

Как тополь киевских высот...

А. Пушкин

Киев, престольный град!
При самой первой угрозе
Меч первым ты в руки брал,
Чтоб не проливались слезы.

Вид гнущегося на ветру
Тополя молодого
Напомнит дивчину мне вдруг,
Повешенную у дома.

На горьких руинах домов
Угли навеки померкнут.
Младенцев чистая кровь
Впитается в землю, наверно.

Живою водой зальют
Пепел руин великих.
Матери слезы сотрут
С темных библейских ликов.

Смоют дожди и снега
С каменных плит след вражий,
Ветра унесут навсегда
Запах трупов и саж.

Смоют дожди и снега
С каменных плит свод вражий,
Ветра унесут навсегда
Запах трупов и саж,

Лишь ненависть наших сердец
Обернется ль золою?
Умрет ли к врагу наша месть,
Смягчимся ли мы душою?

Но ненависть наших сердец
Обернется ль золою?
Умрет ли к врагу наша месть,
Смягчимся ли мы душою?

1943

*Перевел с башкирского
Газим ШАФИКОВ*

Глеб ПАГИРЕВ

Так начиналось, помню, это:
прощая мелкие грехи,
дивизионная газета
мои печатала стихи.

Они печатались не где-то,
где их никто не разберет:
стихи ценись, и газета
их выносила наперед.

Бывало, все версталось разом,
и часто шло мое перо
в ряду со сталинским приказом
и сводкой Совинформбюро.

Боюсь, все это было слабо,
но, признавая мой талант,
один веселый писарь штаба
сказал: «Неплохо, лейтенант».

Кто знает, если бы не эта
бесхитростная похвала,
куда солдатского поэта
судьба еще бы привела...

Что хорошо, что вовсе слабо,
теперь никто не скажет мне,
молчит мой критик, писарь штаба:
остался, видно, на войне.

Остался где-то парень шалый,
где смерть ходила по пятам,
не то бы он теперь, пожалуй,
сказал: «Неплохо, капитан».

Надежда ПОЛЯКОВА

А ЖЕНЩИНАМ НЕ МЕСТО НА ВОЙНЕ

Припомните, случилось вам, как мне,
Быть исключением из общих правил?
«А женщинам не место на войне», —
Сказал мне военком и в часть направил.

Был командир суров и строг ко мне,
Тепличным не считал меня созиданьем.
«А женщинам не место на войне», —
Он говорил — и посылал с заданьем.

Уставы я освоила вполне,
Но вот когда бывалые солдаты:
«А женщинам не место на войне», —
Ворчали,
я взрывалась, как граната.

Чем я измерю цену той земли,
Где мы прошли и в пламени, и в дыме,
Где «старики», как дочку, берегли
И где сестренкой звали молодые?

За нежность, не убитую во мне,
Я благодарна тем, кто были рядом.
«Да, женщинам не место на войне», —
Вздыхаю, жизнь окидывая взглядом.

Вадим ШЕФНЕР

ПИСЬМО В ПРОСТРАНСТВО

Медицинская сестренка
Симпатичной красоты,
Помесь ангела с чертенком,
Где владычествуешь ты?
У тебя, наверно, дети,
Внук, наверное, растет?..
Мы расстались в сорок третьем
У казарменных ворот.

Медицинская сестрица,
Сроки близятся для нас, —
Разреши тебе присниться
В мой ответственный час.

Если же тебя случайно
Пережить мне суждено, —
Постучи мне на прощанье
Белым крылышком в окно.

Михаил РАХУНОВ

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ, ИЛИ 1946 ГОД

Поэма

*Поэт — это судьба;
И без наличья оной
Что есть твои стихи?
— По воробьям пальба,
Один прыжок блохи,
Жужжанье мухи сонной.*

Встреча

От ночного ангела я слышу
Одобренья теплые слова.
Мы в саду среди цветущих вишен,
От весны кружится голова.

Говорим о вечном и высоком,
О Земле всеобщей и ничьей.
Хорошо коснуться ненароком
Белых крыльев у его плечей.

Он пришел с небес, я с ближних горок,
Он высок, я ростом невелик,
Нам быть вместе лет так через сорок
Для него, конечно, это миг.

Позади закат, как ломтик тонок,
Мы идем тропинкой не спеша.
Словно взрослым верящий ребенок,
Семенит за мной моя душа.

Михаил Рахунов — поэт и переводчик. Родился в 1953 году. В настоящее время живет в Чикаго, где в 2008 году вышла его первая книга стихотворений «На локоть от земли». После этого он издал еще ряд стихотворных сборников в России и за рубежом. Переводы Михаила Рахунова печатались в журнале «Интерпоэзия». Стихотворения переведены на английский, французский, польский и вьетнамский языки.

Странный миг. Все призрачно. Все с краю.
Жизнь и смерть — две ласточки во мне.
И неважно, жив я или таю —
Я летаю, чувствуя вдвойне.

Начало

*На картину Эдварда Коли Берн-Джонса
«Ангел, играющий на флейте»*

Под утро где-то там в глубинке,
Где грязь и жалкое жилье,
Играет Ангел на сопилке
Проникновенное свое.

Еще неведомо задание
И крылья сомкнуты во круг.
Густой и темный, как преданье,
Сопилки хрупкой каждый звук.

Он молод — Ангел, если этот
Эпитет вялый применим;
По всем нам ведомым приметам
Он молод, вечен и любим.

С какой-то грустью неземною
Выводит Ангел свой напев.
Проснулся тот, кто за стеною,
Глядит в себя, оторопев.

И этот миг всей жизни равен.
Сейчас он всмотрится во тьму
И вдруг поймет, кто там играет,
Зачем играет и кому.

Смерть

Тень от барака, пилорама,
А дальше снег и черный лес,
И там, где выгребная яма,
В три доски сложенный навес.

Он брел сюда, и снег ложился
На ёжик выцветших волос,
Он письмецом чужим разжился
И табаком от папирос.

И нету сил идти, и память
Рисует давний добрый быт:
Гудит в камине жаркий пламень,
В гостинной стол давно накрыт.

Хозяйка чай приносит, следом
Радужный муж — бисквитный торт.
Как хорошо укрыться пледом,
Забравшись в кресло без забот.

И липкий сон качает, кружит,
И не поднять усталых век...
Все завертелось в снежной стуже:
Хозяйка, гости, юность, век...

Бледнеет ночь, чернеет тело
На белом с проседью снегу,
Холодный ветер сгреб умело
Листок тетради на бегу...

Метаморфоза

Собери себя в мешок,
Обмотайся нитью по наитью,
Совершится — дай лишь срок! —
Это превращенье.
Будет день. И лопнет жгут.
Крылья развернутся полукругом.
И взлетит, немислимый, прозрачный,
Унося шар солнца за спиной.

Полет

Как бабочка из гусеницы тела
Рождается в прекрасной новизне,
Моя душа проснулась и взлетела,
Чтоб стать свободной и не тлеть во мне.

Душа парит, расправив крылья, где-то
Осталась ночь, сияньем смущена.
Все это сон. Но вместе с тем все это
Любого изумительнее сна.

Земля внизу, я вижу все извивы:
Вот горы, реки, села, города;
Деревья сада — уголок счастливый,
Торосы, снег — глухое царство льда.

Я окрылен, и мне понятен сразу
Весь Божий замысел и весь его расчет.
Все вдруг открылось и привычно глазу:
Меняет краски, временем течет.

И пусть одни не призывают Бога,
Другие бьют поклоны горячо —

Я рядом с Ним, я у его чертога —
Гляжу на мир через его плечо.

Ожидание

Хорошо быть богатым — не бедным,
Хорошо быть веселым — не злым,
Торжествующим маршем победным
Гроыхать под шатром голубым.

Улыбаясь жемчужно и звонко,
Хлопнуть друга легко по плечу,
Подколоть — ненавязчиво, тонко —
И прервать: «Я тебе поворчу...»;

Улыбнуться надменной соседке,
Сесть на лавку — и съесть эскимо.
Хорошо быть свободным — не в клетке —
И закончить престижный МГИМО;

Шелестеть бесконечной отвагой,
Пить целебных растений отвар.
И корпеть — как поэт — над бумагой,
И лететь — как герой — на пожар.

Всё прекрасно! А тут только крылья
Полукругом лежат за спиной,
Да безбожных властей камарилья
Всё тягается силой со мной.

Всё шерстит по квартирам бессонным,
Всё дудит в свою злую дуду,
По машинам бросая, вагонам
И людей, и людскую беду.

«Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое...»
Мне — душа, вам — безвольное тело.
Начинай свой спектакль, вороньё!

Противостояние

Дежурный Ангел на крыше дома.
Ему до боли здесь всё знакомо.

Звонят трамваи, гудят машины,
Густеют тени, и запах винный.

Окно открыли. Вспорхнула птица.
Как это сложно — не торопиться!

Подъехал «бобик». Выходят трое.
Блестят погоны. Время такое.

Идут к подъезду. Их взгляд уверен!
Шаги. На третий. Звонок у двери.

Выходят вместе с тем, кто так бледен.
Раскрылись крылья. Прыжок — и в небе!

Удар был быстрым. Обмякло тело.
Такое Время. Такое Дело.

Страхи

Неужели сгорела, истлела свеча
И высокое небо не подставит плечо,
И бросаюсь я в омут уже сгоряча,
Хоть давно на душе, будто лед, горячо.

И потеряны где-то когда-то ключи,
Да и крылья повешены в шкаф на крючок.
Если всюду зима, ты кричи не кричи,
Пропадешь, как от стаи отставший волчок.

Но ночами я все-таки в небе лечу,
И расправлены крылья, звезда на плече.
Только утром за эту свободу плачу,
Подставляя ладони оплывшей свече.

Неужели сгорела, истлела свеча
И уже не журчать по оврагу ключу,
Не открыть мне замок, не найти мне ключа
И закрыты уста — я кричу, не кричу.

Окрыленный

Вырастают крылья за спиной,
Что ты снова делаешь со мной?

Возвращаться в горные пределы
Я, Всевышний, вовсе не хочу;
Дай испить до капли свет твой белый,
Постарайся не тушить свечу.

Будет время — призовешь, не спорю.
Дам ответ на каждый твой вопрос.
Разреши лишь радости и горю
Бить наотмашь, доведя до слез.

Господи, меж небом и землею
Выбрал Землю я не для венца,
Не затем, чтоб царствовать с тобою,
Обжигая души и сердца,

Но затем, чтоб плотью человеческой
Ощутить себя в твоей горсти,
Возложив земную жизнь на плечи,
Её суть и самость обрести.

И когда твой замысел пойму я
И устану жить среди людей,
Я вернусь с трехкратным «Аллилуйя!»,
Окрыленный мудростью твоей.

Последний взгляд

Я по-преступному тучен,
Я по-преступному вечен,
Жить среди смертных обучен —
Очеловечен.

Спрятаны крылья в чулане,
Спят в темноте под холстиной,
Вытащу их, если станет
Невыносимо.

Мысленно кривду и скверну
Я обвиняю нечасто:
Хочется мне опровергнуть
Экклезиаста.

Выйти из тени на площадь,
Встать пред судьбой на колени —
Что может выглядеть проще,
Обыкновенней...

Возвращение

Душа на часок отделилась от тела
И мир неземной описать захотела.
Она там жила, в ярком свете купалась.
И нет ничего.
Ничего не осталось.
Есть краски и кисти, журчание слова...
Но память ушла —
Первооснова.

ТЕАТР НЕЗАБЫВАЕМОЙ ЗАСТОЙНОЙ ПОРЫ

Повесть

1

В дверь осторожно постучали, приоткрылась створка.

— Доброе утро! Все еще в постели? Как насчет пробежки?

Прилипала, как зовет его Лялька. Телевизионщик по имени Валера. Ехали вместе в автобусе из симферопольского аэропорта в Планерское. Москвич, что-то пишет. Записался в друзья, ходит по пятам, навязывает беседы на литературные темы.

— У меня в девять игра, — Цветков свесил ноги, сладко зевнул. — Разомнусь на корте.

— Опять с Дмитриевой?

— Да, с ней.

— Понятно, — телевизионщик попятился к выходу. — Приду посмотреть.

Лялька спала, уткнувшись лицом в спинку дивана. Цветков, подойдя, пощекотал у нее под мышкой, она убрала локоть, недовольно промычала. Присев на край дивана, он принялся щекотать ей пятки.

— Папка, перестань! — она лягнула его раз и другой в живот. — Дай поспать человеку!

— Скоро восемь!

— Ну и что, я на отдыхе!

В коридоре хлопали двери, слышались голоса: отдыхающие торопились на пляж. Пробежаться рысцой по влажному от росы галечнику, нырнуть перед завтраком в ледяную в этот час морскую купель, обменяться новостями.

Он подошел к окну, отодвинул штору. Голубой простор моря до горизонта, мохнатое, невыспавшееся солнце над дальними сопками, нахмуренный, розовеющий в косях утренних лучах Карадаг.

Умывшись, он надел выстиранную накануне теннисную форму, залез в кеды, подпрыгнул раз и другой, пружиня подошвами. Порядок!

— На завтрак не опоздай, — бросил дочери, выходя за дверь.

Прошагал по коридору, вышел на крыльцо.

«Ага, — улыбнулся, направляясь к кортам. — Мы уже здесь...»

По аллеям жиденького литфондовского парка прогуливался Радунский. Джинсовые шорты со свисающей бахромой ниже колен, залихватски сдвинутая набок соло-

Геннадий Николаевич Седов родился в 1932 году в Узбекистане, в г. Ханка. Окончил Ташкентский госуниверситет. Работал очеркистом в молодежной газете, собственным корреспондентом газеты «Труд» по Узбекистану, заведовал отделом малой прозы в редакции литературного журнала «Звезда Востока». Автор двенадцати книг художественной и документальной прозы, лауреат Литературной премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

менная шляпа, выдавшие виды сандалии. Шествовал между низкорослыми пожухлыми акациями, останавливался в задумчивости возле полуразрушенной, заколоченной досками дачи Максимилиана Волошина, которая, по-видимому, как-то стимулировала его мыслительный процесс.

«Лицедей, — думал Цветков, отворяя калиточку корта, на котором уже разминалась у стенки Аня. — Будет, по обыкновению, подглядывать за нашей игрой со стороны. Не может признаться в интересе к событию, в котором не присутствует сам, любимый. А ведь хочет наверняка играть в теннис, по лицу видать. Обежать вприпрыжку площадку, тронуть с видом профессионала сетку: хорошо ли натянута. Громить, к радости зрителей, большую часть которых составляли женщины, незадачливых партнеров. Сколько будет шума вокруг! Рукоплесканий! Радунский, Радунский! Как спокоен, мужествен, прекрасен! Какой душка!»

Он скрашивал Цветкову жизнь в то на редкость знойное коктебельское лето. Сам он ничего не писал, не привез, подобно большинству обитателей одно- и двухкомнатных творческих конур, начатую рукопись — купался в заправленном медузами парном море, загорал, спал после обеда, играл в теннис, читал что-нибудь вслух перед сном Ляльке, думал об экзотической калмычке из угловой комнаты, с которой могло что-нибудь получиться.

Окружавшее его общество было обычным для этого времени года: периферийный пишущий народец с чадами и домочадцами, журнальные и издательские редакторы, московские парикмахерши, заполучившие по блату литфондовские путевки, газетная алкающая братия. Радунский среди этого пестрого провинциального базара был единственной знаменитостью: волею божьей драматург, умница, талант. Цветков был давним его почитателем, прочел все его пьесы, некоторые видел на сцене. Восхищался яркой театральностью его драм, языковым богатством, живостью диалогов. Он рос от вещи к вещи, смелел, становился глубже. Избегал вызывавших тоску в зрительных залах производственных сюжетов с героями в касках и рабочих робах, дискутировавших с митинговой страстью — получать незаконно заработанную премию или нет? Оказавшись с ним рядом в Доме творчества, видясь ежедневно, Цветков испытывал редкостное удовольствие от возможности наблюдать за ним со стороны, угадывать особенности его характера, привычки, слабости, постигать неотделимую от природы сочинительства человеческую его суть.

«Что у нас сегодня в репертуаре?» — спрашивал себя за завтраком в неумолчно гудевшем зале столовой. Проглатывал, морщась, очередную ложку пригоревшей рисовой каши с хрустевшими на зубах песчинками, смотрел с ожиданием на полуприкрытую портьерой входную дверь, в которой вот-вот должен был показаться его театральный кумир.

Радунский, по обыкновению, опаздывал. Продумывал, должно быть, между чистой зубной и бритвенной очередностью имидж, в котором намеревался предстать перед литфондовской публикой. К чести его, не повторялся, выдавал каждый раз что-нибудь новенькое. Накануне это была маска Пьеро. Печаль отвергнутого влюбленного, меланхолия, утрата жизненных ориентиров. Явился на ужин в ослепительно-белой сорочке с манжетами — бледный, томный, с погасшим взором. Шел сомнамбулически между столиками, не различая лиц, отрешенно отвечал на вопросы...

— Ассалам малейкум! — послышалось среди гула голосов.

Цветков привстал на стуле.

Раздвигая портьеру, словно это был театральный занавес, в зал шагнул — «браво, маэстро!» — Радунский в пестрой тюбетейке поверх рыжей копны волос и в знакомых

сандалиях, которыми он ступал по ковру, забавно выбрасывая ступни, словно шествовал в козловых сапожках с серебряными шпорами где-нибудь среди анфилад дворца в Багдаде. Сегодня он пародировал Восток. Закатывал глаза, похотывал, раскачиваясь на стуле в ответ на шутки собеседников, потирал сладострастно руки, приступая к трапезе. Черпал, постанывая, алюминиевой ложкой осточертевшую рисовую кашу синюшного цвета, словно вкушал золотистый плов на расписном блюде у себя во дворце, коверкал на восточный манер слова, говорил: «Моя твоя не понимай», «Нам, татарам, все равно: что синаторий, что криматорий». Подмигнул официантке, разливавшей омерзительного вида ведерный кофе со сгущенкой, воскликнул, хлебнув из стакана: «Половина сахар, половина мед!» Сохранил маску, явившись четверть часа спустя на писательский пляж в сопровождении стайки застенчиво лыбившихся, одетых в дешевые ситцевые купальники простолудинок из соседнего пансионата шахтеров Донбасса. Продемонстрировав девиц жарившимся на солнце под дремлющим оком законных супругов завистливым коллегам, пофланировав недолго в том же составе по короткой, как аппендикс, коктебельской набережной, отбыл с гаремом на прогулку вдоль побережья на палубе каботажного теплоходика «Новый Афон», грохотавшего разверстой пастью репродуктора всенародным шлягером «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.

2

Мальчишкой Цветкову казалось, что мир сплошь состоит из притвор. Притворой был отец, инспектор горфинотдела в Калуге. Педант, аккуратист, ставившийся в пример начальством, ни разу не опоздавший на работу, председатель кассы взаимопомощи, вежливый, внимательный к окружающим. Дома был деспот, изводил упреками мать, не умевшую, по его словам, экономить копейку, вести хозяйство. К сыну и старшей дочери был равнодушен, понятия не имел, как они учатся, чем увлекаются. Садился вечерами после работы к радиоприемнику, крутил ручки, слушал сообщения об успехах сталинских пятилеток, рекордных выплавках чугуна и стали, добыче угля, надоях молока, урожаях зерновых. Произносил непонятную фразу: «Эх вы, дурашки». Тер глаза, уходил с горбившейся спиной в спальню.

Люди вокруг ходили с притворщицкими лицами. Пробегавший мимо их двери с кастрюлей на общую кухню кругленький общительный сосед Антон Иванович, работавший на центральном почтамте, оказался вредителем. Готовил, оказывается, по ночам динамит, чтобы подорвать электростанцию, был разоблачен органами НКВД. Чуть ли не каждую учебную четверть седьмой «А» класс под наблюдением классной руководительницы Веры Иосифовны замазывал чернилами в учебнике истории СССР фотографии знаменитых маршалов, на которых равнялись пионеры и комсомольцы: были, оказывается, замаскированными шпионами: один — английским, другой — японским, третий — ставленником американских империалистов. А назывались все советскими полководцами, героями Гражданской войны.

Страна срывала маски с притвор, показывала подлинное обличье врачей-убийц, безродных космополитов, безыдейных писателей и поэтов, художников-формалистов. Всенародно осуждала, требовала сурового наказания. Спивавшийся отец бормотал, слушая по вечерам радио: «Ага, еще один попался! Дурашки!»

Жизнь учила Цветкова хладнокровной сдержанности. Студентом Казанского университета, пережив эвакуацию, голодную страшную зиму сорок первого года, похоронив отца, общаясь с людьми, спотыкаясь, выбираясь с синяками и шишками из житейских

тупики, он усвоил для себя правила, которым следовал неукоснительно. Не выставлять напоказ чувств, не торопиться с выводами, думать. Быть ровным с окружающими, избегать запанибратства. Делал по утрам во дворе общежития зарядку с гантелями, мылся по пояс холодной водой из колонки. Увлёкся теннисом, участвовал во Всесоюзной студенческой универсиаде в Москве, дошел до полуфинала. Слыл среди сокурсников надежным, знающим себе цену парнем. Не слабаком, не выскочкой.

Он учился на четвертом курсе филфака, когда умер Сталин. Страна погрузилась во всенародную скорбь, по радио с утра до вечера звучали траурные мелодии. В день смерти вождя он с большим трудом добрался до университета. Шел пешком: городской транспорт не работал, улицы были перегорожены стоявшими впритык троллейбусами и автобусами, милиционеры заворачивали назад шедших на работу людей — те лезли через заборы, ныряли в дворовые проходы, бежали под трели милицейских свистков вдоль тротуаров. По центральному проспекту двигались в сторону Казанского кремля с возвышавшейся на площади бронзовой фигурой Сталина людские колонны. Куда ни глянь — транспаранты, венки, бесчисленные портреты вождя в темно-золотых лентах, темные платки на головах женщин, обнаженные головы мужчин.

Он едва успел к началу университетского траурного митинга в актовом зале. Озирался по сторонам, с трудом нашел свободное место в верхних рядах. Вышедший первым к трибуне седовласый ректор Мартынов был не в силах говорить, останавливался, по-детски всхлипывал, вытирал платком глаза. В рядах слышались рыдания, какую-то студентку, упавшую в обморок, потащили по проходу ребята с повязками на руках.

Странное дело: он был спокоен, не испытывал никаких чувств. Словно сидел на собрании с рутинной повесткой дня. Думал с удивлением: «Неужели я до такой степени бездушный?» Было не по себе, казалось, что взгляды окружающих парней и девчат устремлены в его сторону. Обхватил голову руками, уткнулся в колени. Так и просидел до конца митинга...

На факультете он слыл театралом. Ходил по льготному абонементу в городской русский драмтеатр, не пропускал спектакли гастролеров. Театральные билеты стоили недорого, временами удавалось выклянчить контрамарку у сидевших за решетчатыми окошечками неприступных администраторов.

Поход в театр был событием сродни празднику, лекции не шли в голову. Отсидев последнюю пару, наскоро пообедав в студенческой столовке (борщ без мяса, котлеты с перловкой, компот), он торопился в общежитие — переодеться. Тщательно причесывался перед зеркалом, spryskival одеколоном волосы. Доставал из тумбочки свернутую бархотку, клал в задний карман — смахнуть на пороге театра пыль с начищенных накануне выходных туфель. В переполненном трамвае, прижатый к стенке возвращавшимся с работы понурым людом, безошибочно угадывал поверх голов театральную публику: по выходным костюмам, букетикам цветов в руках, театральным сумочкам и «шестимесячным» завивкам женщин, но, главное, по радостно-тревожным, просветленным лицам, какие бывают у людей в ожидании близкой радости.

— Бауманская, Драмтеатр Качалова! — слышался голос кондукторши. — Кому на выход, граждане, проходите вперед!

Работая локтями, он пробирался к дверям.

Театральные представления любил с детства. Охотно участвовал в детсадовских утренниках с бумажными гирляндами по стенам, со сшитыми мамами и бабушками самодельными костюмами, с приглашенным музыкантом городского Дома культуры с красавцем аккордеоном на ремне. Исполнял роли Петушка-золотого гребешка, Конька-горбунка, гуся в игре-массовке («Гуси, гуси?» — «Га-га-га!» — «Есть хотите?» —

«Да-да-да!» — «Ну, летите!» — «Нам нельзя!» — «Почему?» — «Серый волк под горой не пускает нас домой!» — «Ну, летите как хотите!»).

Первоклассником, в Калуге, попал впервые на спектакль кукольного театра. Про правдивого Зайца, попавшего в лапы кровожадного Волка, который отпустил его под честное слово на один день проститься с семьей, чтобы потом съесть.

Происходившее у него на глазах в полутемном театрике с полусотней празднично одетых ребят потрясло его. Забыв обо всем на свете, смотрел, затаив дыхание, на освещенный цветным фонарем помостик с разрисованным задником и висевшими на ниточках облаками, где готовилось страшное и несправедливое. Отдал бы, не задумываясь, жизнь, чтобы помочь попавшему в беду Зайцу. Жена-Зайчиха, заячьи родственники убеждали того не возвращаться, говорили: глупо держать слово, если имеешь дело с кровожадным злодеем Волком. Дети в зале кричали, и он вместе с ними: «Не ходи, не ходи!» Но Заяц был непреклонен: слово есть слово, кому бы ты его ни дал. Уходя на смерть, у порога своей избушки с картонными деревцами во дворе пел печальную песенку: «Прощай, мой славный домик, ты верно мне служил, и здесь я жил и вырос, и здесь я счастлив был». Отворял калиточку в огород, вырывал морковку из грядки, продолжал (невозможно было слушать, душили слезы): «Прощай, моя морковка, ты сладкая такая, тебя на огорожке я вспомню, умирая».

Рассказал как-то выросшей Ляльке о первом своем театральном переживании. Предложил на спор, что прочтет наизусть слова песенки, которую исполнял кукольный заяц со сцены.

— Учти, мне было тогда семь лет.

— Семь лет? — колебалась она.

— Семь.

— Пропоришь, — предостерегла Ляльку разливавшая за столом чай Юлия. — Ты что, отца своего не знаешь? У него же память как у разведчика.

Лялька хлопнула его азартно по руке:

— Давай! На коробку мармелада!

И проиграла, конечно.

3

Дома был свой театр. Мелодрама с элементами трагикомедии и фарса.

Персонажей поначалу было двое. Он и Она.

Он учился в аспирантуре, писал диссертацию, ее только что приняли на работу на должность институтского юрисконсульта. Зайдя однажды за подписью какой-то бумаги в приемную ректора, увидел у стола секретарши молодую женщину в цветастом шелковом платье. Она мельком на него глянула. Шатенка, красивые ноги, искрящиеся голубые глаза.

— Зайдите позже, Цветков, — произнесла, не поднимая головы от пишущей машинки, секретарша. — У Рустема Нуриевича люди из министерства.

Закрывая за собой дверь, он скосил взгляд: незнакомка смотрела в его сторону...

«Она явилась и зажгла», — отозвался на появление в коллективе Юлии Серegiной университетский сердцеед Должанский с кафедры фольклора народов СССР. Через секретаршу ректора Фиму Давыдовну он разузнал кое-что о новенькой. Окончила год назад юридический, не замужем, живет где-то в Заречье с матерью.

В университете новая юрисконсультша бывала редко: бегала, утрясая юридические вопросы, по каким-то учреждениям, участвовала в судебных слушаниях. Появлялась ненадолго, юркала в директорскую приемную.

— Дикарочка... — поигрывал импортной зажигалкой Должанский у раскрытого окна курилки в окружении жадных до сплетен сослуживцев. — Пора приручить...

Думая много лет спустя, потеряв к тому времени интерес к жене, изменяя ей, Цветков приходил к выводу, что причиной, толкнувшей его к Юлии, был в первую очередь Должанский. Желание щелкнуть Стаса по носу: смотри, красавчик, женщин завоевывают не джинсами «Ливайс» из комиссионки.

Должанского он презирал. Не унизился бы соперничеством за очередное смазливое личико. Донял бахвальством:

— Терпение, ребята! Нет крепостей, которые бы не взяли большевики!

«Должанский взял курс на Серегину», — гуляло по университетским коридорам. Заключались пари, сколько продержится новенькая. Неделю? Две?

Он в ту пору встречался с младшей редакторшей республиканского издательства, где вышел научный сборник с первой его статьей. Несложные отношения, никаких обязательств. Утоляли три раза в неделю в его комнате на шестом этаже аспирантского общежития телесные потребности, пили кофе. Ася смотрела на часы, говорила озабоченно: «Извини, мне пора». Была замужем за водителем троллейбуса, у которого часто менялись смены — мог освободиться в неподходящий момент.

Ножку Должанскому он подставил под впечатлением минуты. Столкнулся с Серegiной на лестнице, выходя из библиотеки (подбирал материал для будущей диссертации, копался в первоисточниках). Коротко поздоровались, она спускалась впереди, помахивая сумочкой. Миг, и исчезла бы в коридоре.

— Серегина! — прокричал ей в спину.

Она обернулась.

«Все, поехали. Отступать некуда».

Шагнул через ступеньку-другую.

Она стояла, полубернувшись, смотрела с недоумением.

— Вы джаз любите? — сказал первое, что пришло на ум.

— Джаз? Не знаю...

Сквозь пудру на лице у нее проступил румянец.

— Про «шанхайцев» слышали?

Она покачала головой.

— Есть предложение... — план действий созрел, он успокоился. — Давайте послушаем ребят из бывшего джаз-банда Олега Лундстрема. Они сейчас играют в ресторане «Татарстан». Мороженое поедим.

Она переступила на каблучках.

— Как это у вас все быстро получается...

— А чего тянуть резину.

Посмотрел на часы.

— В семь жду вас у входа. Успеете?

Она поправила накладное плечико на платье:

— Успею.

Летний вечер в «Татарстане», проходной эпизод, как он думал, не обещавший серьезного продолжения, повернул вполне устраивавшую его холостяцкую жизнь в неожиданное русло.

Она пришла на свидание раньше него. Шагая от троллейбусной остановки через дорогу, он увидел у входа в ресторан знакомую фигурку. На ней было то же цветастое шелковое платье, в котором она приходила на работу и в котором он увидел ее впервые

в приемной ректора. Единственным дополнением к наряду был повязанный на шею голубой шарфик в мелкий горошек. Под цвет глаз.

— Вы такой нарядный, — окинула его взглядом.

Облечься в единственный выходной коверкотовый костюм было с его стороны просчетом: выглядел он рядом с ней откровенным пижоном.

— Надо же вам как-то понравиться, — произнес в оправдание.

— Зачем... — передернула она плечами.

Шла впереди в полутемном вестибюле, нога за ногу в чулках телесного цвета. Глянула, проходя мимо, в напольное зеркало, поправила высоко взбитые волосы.

«Красивая, — подумалось, — с такой где угодно не стыдно показаться».

Они нашли свободный столик у окна с расплывшимся пятном на скатерти и небранной посудой, уселись.

Вряд ли она бывала часто в ресторанах. Выглядела скованной, озиралась по сторонам. Сделала попытку помочь подошедшему с подносом официанту-татарину убрать остатки посуды, тот остановил ее с усмешкой.

Вернула, не глядя, протянутую карту меню:

— Выберите сами...

Готовясь к свиданию, он достал хранимую под стопкой белья в шкафу пачку перевязанных резинкой пятирублевков — гонорар за напечатанную статью в журнале. Пересчитал: сорок пять рублей, более чем достаточно.

— Селедочка «под шубой», — диктовал официанту. — Салат «оливье». Посоветуйте что-нибудь из мясного.

— Можно бифштекс, — скучая, произнес официант. — Котлеты по-киевски...

— Вот! Котлеты по-киевски... Как вам? — глянул на Юлию.

Она пожала плечами.

— Бутылка шампанского, — перечислял он...

— Есть розовое игристое... — официант строчил в блокноте. — Полусладкое.

— Давайте!

— Плитка шоколада, — продолжил за него официант. Скосил глаза на Юлию. — Кофе на десерт, фрукты...

— Замечательно!

— Кажется, собирались есть мороженое, — усмехнулась она, когда официант исчез. — И слушать джаз.

— Будет и джаз, и мороженое, — он ослабил галстучную удавку на шее. — Кстати, Юлия. Друзья зовут меня Алексей. Некоторые даже Леша.

Она залилась краской:

— Запомню.

... Вечер был в разгаре, ресторан переполнен, между столиками сновали с подносами официанты, летели под веселые возгласы в потолок пробки из-под шампанского. В полуприкрытую портьерой дверь, возле которой дежурил швейцар в форменной фуражке, высывалась временами чья-нибудь голова из томившейся в коридоре очереди: казанцы жаждали приобщиться к поносимой с газетных страниц и по радио заокеанской музыке с ее томительной негой, сумасшедшими ритмами, сногшибательными исполнителями-кудесниками в переливавшихся серебряными нитями пиджаках, не игравшими, нет! — колдовавшими вместе и порознь на инструментах, напоминавших экзотических химер, страстно и нежно поющих, басыщих, хрипящих, дико хохочущих, рыдающих, срывающихся в бездну, взмывающих ввысь под оглушительные

раскаты барабанов и медных тарелок ударника, рассыпающихся на фрагменты, вновь собирающихся, как в калейдоскопе разноцветными стеклышками, дразнящих слух ступенчатыми синкопами, уводящими бесконечно далеко от ведущей темы, откуда, казалось бы, нет возврата, и в этот миг бац — клавишное тремоло! бац — свингующий вскрик саксофона, тихий шелест щеток по бас-барабану, рвущая душу ария трубы! — мир вокруг разом преобразился, помолодевшая, в ослепительной аранжировке основная тема вернулась, и вас обожгло как ямайским ромом, закружило, унесло далеко-далеко, где шуршание морского прибоя, пение райских птиц, темнокожие нежные девушки под деревом манго...

Музыканты не торопились. Сидели, отыграв, в углу у расчехленных инструментов, пили пиво. Со столиков время от времени принимались хлопать.

— Эй, кончай прохлаждаться! Музыку давайте! — слышались голоса.

Первым полез на эстрадку грузный клавишник, следом потянулись остальные.

— «Сан-Луи блюз»! — кричали из зала. — «Чаттанугу-чу-чу»!

Джаз Цветкова не волновал. Подвигаться в подпитии с разгоряченной спутницей под грохот барабанов, зарядиться угарным весельем — пожалуй. Но не больше. То ли дело песни, считал, душевные, мелодичные. «Вечер на рейде», «В городском саду», «Третий должен уйти», любимейший «Случайный вальс», который мог слушать бесконечно («Будем дружить, петь и кружить, танцевать я совсем разучился и прошу вас меня извинить»)...

Джаз в Казань завезли эмигранты из Китая. Он заканчивал десятый класс, когда в голодном, не оправившемся от военных тягот городе поселилось полтора десятка музыкантов с семьями, игравших, по слухам, в шанхайских ресторанах тлетворную «музыку толстых», как назвал ее великий пролетарский писатель Максим Горький. Играть на новом месте тлетворную музыку приезжим запретили, для джазовых оркестров наступали тяжелые времена: вышло знаменитое партийное постановление 1948 года об опере «Великая дружба» композитора Мурадели, в которой, как писали газеты, звучали чуждые нормальной человеческой музыке, режущие слух джазовые интонации и ритмы. (В памяти сохранилась сатирическая подпись под снимком Большого театра в публикации журнала «Крокодил»: «Ишь, от страха обалдели, мчатся вскачь с фронта, слыша опус Мурадели, кони Аполлона».)

В СССР набирала силу кампания по «выпрямлению саксофонов». Джазовых музыкантов шельмовали со страниц газет и по радио, закрывали дорогу к слушателям. Перестали выпускать выходившие до этого миллионными тиражами патефонные пластинки с записями популярных джаз-бандов Александра Цфасмана и Леонида Утесова. На танцплощадках в домах культуры не танцевали больше фокстрот, танго и чарльстон — только «танцы медленного ритма»: вальс, польку, падекатр, падепатинер, падеграс. Как это бывает, страсти со временем поутихли, о Мурадели забыли, джаз мало-помалу стал возвращаться на эстраду, однако с опаской, не мозоля глаза, без прежнего запала, «под сурдинку» ...

...Ресторанные музыканты отыграли «Сан-Луи блюз», «Чаттанугу-чу-чу», венский вальс, полечку, сбацили с огоньком по оплаченной заявке гулявшей в углу блатной компании «Мурку», «На сопках Маньчжурии». Двигаясь в обнимку с Юлией в толпе танцующих, Цветков решил, что пора закругляться: продолжение вечера было в принципе предсказуемо. За столом она выпила два бокала шампанского, жадно ела, извинялась с нервной усмешкой: «Не успела пообедать... так вкусно все...» Пунцовая, с капельками пота на лбу, поднимала глаза от тарелки: испуг во взгляде, беспокойство. Танцевала она плохо: сбивалась с ритма, останавливалась, поправляла то и дело сползавшие подплечники под платьем. Он прижимал ее к себе, тянул пальцы

к крепеньким ягодицам, она вздрагивала всем телом, говорила волнуясь: «Пожалуйста, Леша, не надо!»

В мыслях у него было одно: довести ее как можно скорей до общежития.

4

Жениться на ней он не собирался. Был в угаре от первых дней близости, плохо соображал. Влекло ее тело, податливые мягкие губы, копна падавших на лицо пепельных волос, которые она забавно сдувала в минуты страсти.

В один из дней пригласила его к себе. Долго тряслись в разболтанном автобусе с продавленными сиденьями, переехали по деревянному мосту на ту сторону Казанки, сошли на песчаном пустыре, посреди которого торчала накренившаяся телефонная будка с оторванной дверцей.

— Здесь близко, — обронила, словно оправдываясь. — Пройти немного просекой.

Шли через березняк с чахлыми деревьями, поднялись на дамбу — внизу, в топкой низине, открылся поселок. Вросшие в землю мазанки с плоскими крышами, полуобвалившиеся заборы, палисаднички. Пробирались по захламленному переулку, он озирался. Шастали среди зарослей крапивы, клевали что-то в кучах мусора куры. Лежал в невысохшей дождевой луже, щурясь блаженно на солнышко, грязный как черт поросенок. Взбrehнула нехотя, лениво на крылечке дома, поднявшись было и вновь опустившись на ступеньку, кудлатая собака.

— Вот моя деревня, — открыла она калитку.

Он шагнул вперед, остановился.

«Ну и дыра», — пронеслось в мыслях.

По периметру двора с маячившей на пригорке деревянной уборной стояли, прижавшись один к другому, причудливого вида «балки», как называло их по старинке местное население. Построенные самовольно бездомным человеком жилища-конуры из найденных на свалках или украденных с лесопилок горбылей, досок, кусков фанеры, листов рубероида, металлического хлама. Обмазанные в несколько слоев глиной, аккуратно побеленные, с выведенными через окна коленцами печных труб, огороженные штакетником и живой изгородью. С заставленными курятниками карликовыми двориками, собачьими будками, разошедшимися кадушками для солений, горшками и ведрами с огородной зеленью и цветами.

Об обитателях низины казанцы отзывались презрительно: тунеядцы, позоря звание жителей столицы автономной республики, где учился когда-то Владимир Ильич Ленин. Выросший без каких-либо разрешений поселок с населением в несколько тысяч человек, числившийся на исполкомовском балансе районом частных домовладений, был постоянной головной болью городского руководства. Существовал в нарушение всех государственных законов и постановлений, крал электричество с линий электропередач с помощью подвесных «кошек», сдавал без прописки углы приезжим, не платил за воду, захламлял мусорными отбросами берега Казанки.

— Мы здесь, Лешенька, люди случайные, — говорила за столом мать Юлии, подливая в его чашку из заварного чайничка. — Судьба забросила.

— Мама, — нервно теребила кружевную салфетку Юлия. — Давай о чем-нибудь другом. Алексею это неинтересно.

— Что значит неинтересно? — темнолицая, в круглых очках, Зинаида Николаевна, как назвалась она при знакомстве, взглядом искала у него понимания. — Леша для нас не посторонний человек.

Его, судя по всему, записали в родственники. В душный июльский вечер, в тесной мазанке, из всех углов которой смотрела на него стыдливо прятавшаяся нищета, услышал о вещах, знать о которых полагалось только самым близким людям.

Первое, что ему открыли: он спит с дочерью генерала, подло бросившего жену с маленькой дочкой ради фронтовой врачихи, с которой сошелся, лежа раненым, в госпитале.

— Ждали всю войну, Леша. Письма писали через день. Юлечка вкладывала всякий раз в конверт свои рисунки. С малиновым сердечком. «Любимому папочке на фронт. Возвращайся с победой!» Вернулся, подлец! Проститься. Подарков привез чемодан — ординарец тащил следом за ним из машины. Откупиться решил, а! Трофейными отрезами и мясной тушенкой! — глаза некогда привлекательной, судя по всему, рано увядшей женщины блестели за стеклами очков мстительным огнем. — Я его с лестницы спустила вместе с чертовым чемоданом! Вон, изменник!

Стучали на стене ходики, за окном догорал день. Он отхлебывал из чашки, слушал.

С исчезновением генерала жизнь матери и дочери пошла под откос. Из коммандатуры военного городка, где они прожили без малого десять лет, пришло распоряжение: по случаю перевода генерала Серегина на новое место службы им надлежит освободить ведомственную квартиру. В семидневный срок.

— Иди на все четыре стороны...

Обеспеченные по меркам того времени, получавшие ежемесячно генеральский денежный аттестат, пользовавшиеся услугами военторга с недоступными простым смертным продуктами и промтоварами, они оказались в одночасье без средств к существованию, на улице.

Прожили какое-то время у школьной подруги Юлии, пока не посчастливилось купить на остатки сбережений у какого-то забулдыги полуразвалившийся балок на правобережье Казанки.

Никогда не работавшая генеральша лазила по крыше, латала прохудившееся покрытие из прогнивших кусков рубероида. Вспомнила уроки покойной матери, села за швейную машинку — брала на переделку приносимое соседями старье. Юлечка шла после уроков на базу горбыткомбината за оставшимися после войны, присылаемыми с военных складов парашютами. Сидели вечерами, напрягая зрение, за распоркой, цепляли кончиками ножниц из швов едва различимые нити, выкусывали, вытягивали сорванными ногтями, гладили штука за штукой чугуном утюгом. Плюнули на интеллигентские привычки, занялись по примеру большинства «нижних» незаконными заработками. Скупали у окрестных рыбаков улов, перепродавали на субботнем базаре с риском угодить за спекуляцию в каталажку. Брали временных постояльцев, прятались за сараями при появлении финансовых инспекторов.

— Говорят, «из грязи в князи», — Зинаида Николаевна снимала со стенки липкую бумагу с трепыхавшимися мухами, вешала свежую. — А у нас вышло наоборот...

Его из всех сил подталкивали к законному браку.

— Юленькин жених, — представляла при встрече с соседями генеральша. — Ученый, занимается театром.

Соседи натянуто улыбались, тянули руки: «Будем знакомы», «Как вас по батюшке?», «Закурить не располагаете?»...

— Это какой же по счету жених? — осведомилась однажды чистившая в соседнем дворике курятник сисястая тетка в мужских штанах. — А энтот куда подевался? Из райздрава?

— Заткни рот, фашистка! — закричала в ее сторону генеральша. — В суд скоро пойдем! За воровство!

— Это ты пойдешь под суд, Серегина, — сисястая тетка опиралась на метлу. — За клевету на члена партии!

Двор пребывал в состоянии незатихавших склок и разборок. Выясняли отношения, писали жалобы в редакции газет, депутатам Верховного Совета. Из-за неубранного мусора, подбитого мальчишками из рогатки цыпленка, оставленной у чужого порога свеженаваленной кучи.

Вражда генеральши с жившей по другую сторону штaketника Елизаветой Кувалдиной носила сложный, запутанный характер. Продавший им балок забулдыга предупредил при расчете: чертовой Кувалдихе ни в коем случае не доверять, держать ухо востро. Расширяет свой участок, прирезает тайком куски от территории соседей. Действует хитро, по ночам, застукать трудно. С... потрох, не баба!

Новички не верили поначалу: ну как можно воровать у соседей землю? Штaketники же между дворами, живая изгородь!

Оказалось: можно! Генеральша со временем стала замечать: узенький их извилистый дворик странным образом сужается. Шла как-то к выходу, остановилась: что за черт? Небольшой выступ возле калиточки в сторону соседки исчез, будто не было! Обследовала старательно пограничную полосу, обнаружила: разделявшие дворы несколько кустов живой изгороди и два горшка с геранью сместились в их сторону. Работа была проделана с дьявольской изощренностью: места перекопа прикрыты шматками дерна с пожухлой травой, присыпаны сухим песочком — комар носа не подточит.

Необходимо было действовать, остановить разбой! В одну из ночей генеральша и приглашенный за пол-литра сосед из крайнего балка Федор Недбайло устроились у окна кухонной выгородки. Кувалдину следовало схватить за руку в момент совершения преступления, обязательно при свидетеле. Иначе отвертится, обвинит в клевете — у нее повсюду знакомства, связи, свои люди, даже в райкоме партии, где она работала дворником и состояла на партийном учете.

Сидели в темноте, разговаривали вполголоса.

Где-то за полночь клевавшая носом генеральша уловила за окном промелькнувшую тень.

— Федор, — позвала.

Уронивший голову на кухонный столик Недбайло тяжело всхрипнул.

— Федор, проснитесь! — тормошила она его.

— А! Пожар! Где? — бормотал тот. — Заводи мотор!

Генеральша кинулась к двери, выскочила на крыльцо.

Представшая ее глазам картина не поддавалась описанию. В темноте бархатной ночи, под звездами, лазила на карачках среди живой изгороди с тяпкой в руках Елизавета Кувалдина в теплых рейтузах поверх сорочки. Подкапывала, пыхтя, землю, утирала рукавом лоб. Обернувшись на скрип двери.

— Че не спишь, Серегина? — осведомилась буднично. Поднялась, охая, с колен. — Ленишься, соседушка, землю перекапывать, изгородь поливать. Мне приходится, — повысила голос. — По ночам. С ревматизмом... Че ржешь-то? Больная, что ль?

Генеральша тряслась на крыльце в припадке нервного хохота...

Все это ему в конце концов надоело. Мотаться на край города в забитом людьми автобусе, шагать с гастрономовским тортиком в руках через загаженный куриным пометом двор под любопытными взглядами соседей, пить чай в заставленной рухля-

дью комнатенке с тикающими ходиками на стене, слушать бесконечные воспоминания генеральши, разглядывать в пухлом альбоме выцветшие семейные фотографии, ублажать на застланном лоскутным одеялом сундуке любовницу в отсутствие убежавшей якобы по неотложным делам мамы. Новизна чувств прошла, постель больше не заслоняла женщину, с которой ему было откровенно скучно.

«Не поеду», — решил однажды. Лежал в папиросном дыму у себя в комнате, листал свежие конспекты по выбранной с научным руководителем теме будущей диссертации: «К вопросу зарождения русского драматического театра в Казани».

Материал был богатейший, в пору докторскую писать. Завоеванная некогда Иваном Грозным столица татарских ханов была одним из театральных центров России: первый публичный театр для горожан в Казани открыл свои двери в 1791 году. Спектакли проходили в арендованном для этой цели помещении на Воскресенской улице. До той поры, пока помещик-театрал Есипов не построил в городе деревянные театральные хоромы, где играли его крепостные крестьяне и приглашенные бродячие актеры вольных трупп, руководимые знаменитым в ту пору драматургом и актером П. Плавильщиковым. К середине девятнадцатого века казанский губернский театр был сравним по уровню с лучшими петербургскими и московскими, здесь ставились самые модные тогда пьесы, в частности «Ревизор», в котором играл городничего великий Михаил Щепкин, приезжали на гастроли П. Мочалов, В. Живокини, А. Мартынов (последний в роли Хлестакова восхитил неистово хлопавшего ему с галерки студента местного университета Левушку Толстого). В библиотечном хранилище редких рукописей он обнаружил и переписал в тетрадь интереснейшие сведения о театральной истории города. Как строилось каменное здание городского театра, ставшего за короткое время одним из лучших в империи по оснащенности. Об антрепризе режиссера-педагога П. Медведева, воспитавшего на казанской сцене легендарную Полину Стрепетову, давшего путевку в жизнь Марии Савиной, Владимиру Давыдову, Александру Ленскому, Константину Варламову, сформировавшего самостоятельную оперную труппу, которая положила начало Казанскому театру оперы и балета. Нашел отличный эпиграф к диссертации в одной из статей Белинского: «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую и заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!»

«До чего точно сказано! — закуривал в волнении очередную папиросу. — Ни прибавить, ни убавить. Вот в таком стиле и писать. Без нудятины...»

Скрипнула за спиной дверь, он обернулся.

Вахтерша.

— К телефону, — произнесла, зевая. — Какая-то женщина...

Звонила Юлия.

— Леша, что с тобой? Почему ты не приехал?

— Заболел, температура... — он покосился на вахтершу, та демонстративно копалась в ящике стола.

— Температура? — у нее был встревоженный голос. — Давай я приеду, привезу тебе что-нибудь... У тебя был врач? Нужны какие-то лекарства? Я съезжу в аптеку, привезу.

— Не надо приезжать! — бросил он в раздражении. — Мне надо побыть одному. Ясно? Одному! У меня серьезная работа!

— Но ты же говоришь, что болен... Хорошо, давай я приеду завтра, после работы. Извини, я звоню из будки, здесь очередь.

— Я же сказал: не надо приезжать! — он уже кричал. — Не надо вообще! Никогда! В трубке щелкнуло: на том конце провода повесили трубку.

В середине следующего дня, он только что вернулся из библиотеки, в общежитие примчалась генеральша. Сбившаяся косынка, задыхается от волнения.

— Что у вас произошло, Алексей? Она убежала в парк. Пожалуйста, поедemте! У меня сердце не на месте!

Удалось, к счастью, поймать на улице такси, до лесопарковой зоны добрались за какие-нибудь полчаса.

Был воскресный день, на берегу речной заводи, на парковой аллее с павильоном газированных вод и лотками мороженщиц толпы отдыхающих, несутся с летней эстрадки звуки вальса.

Они обошли несколько раз территорию парка, спустились к песчаному пляжу. Лежаки там и тут, раздевалки, толпы купальщиков. Что делать, куда идти дальше?

— Господи, лишь бы с ней ничего не случилось! — твердила генеральша. — Я этого не переживу!

В этот миг он ее увидел. За дальними кустами. Сидела, пригнувшись, на корточках у декоративной вазы с полусохшим фикусом, смотрела в их сторону.

Отлегло от души: жива! И разом мысль: «Розыгрыш! Дешевый спектакль! Решили попутать...»

— Алексей, куда вы! — кричала ему в спину генеральша.

Он бежал, не оборачиваясь, к автобусной остановке.

Не видел ее больше месяца, поостыл. Писал первую главу реферата, весь ушел в работу. Возвращался в один из дней трамваем из библиотеки, проезжал мимо «Татарстана». Вспомнился ресторанный вечер, как они топтались, обнявшись, у эстрадки, ее испуганные вопрошающие глаза. Меньше всего подозревал в себе жалость, и вдруг нахлынуло — щемящая боль в сердце. Как она там? Здорова? Нелепый розыгрыш в парке показался мелочью, был объясним: отчаяние, попытка любой ценой удержать его рядом. Несправедливо за это наказывать...

Прошла неделя, она не давала о себе знать. Не выдержав, он поехал в университет, заглянул в приемную ректора.

— Серегина? — оторвалась от машинки Фима Давыдовна. — На операции. Вы что, не слышали? Обострение базедовой болезни...

Час спустя он шагал среди поселковых луж. Было пасмурно, сеял мелкий дождь. Прошел через двор, таща ноги по чавкающей грязи, нащупал щеколду знакомой калиточки.

— Нету их, — сообщила из-за штакетника кормившая поросенка Кувалдиха в накиннутой на голову рогоже. — Дочка в больнице, мать, должно быть, там.

— В какой больнице, не скажете? — подошел он к заборчику.

— Кажись, в первой городской.

— Спасибо! — побежал он к воротам.

5

Они поженились спустя несколько дней после ее выписки. Не осталось следа от прежнего настроения, стоило увидеть ее в смрадной общей палате, на кровати с просевшей до пола металлической сеткой — осунувшуюся, бледную, с перевязанным горлом. Никогда потом за долгую их жизнь не испытывал он к ней такой нежности

и сострадания, не чувствовал так остро потребности защитить от невзгод, стать опорой, как в минуту, когда, пройдя между рядами тесно стоявших коек, увидел ее лицо. Бескровное, с острыми скулами. Она поправляла косынку, слабо улыбалась, приподнявшись с подушки...

На свадьбу приехала из Калуги мать. Привезла домашний окорок, сушеных грибов, пряников. Помогла генеральше нарезать индюшку, хлопотала за кухонным столом, обнимала то и дело принарядившуюся Юлию, говорила счастливо: «Невестушка у нас — дай бог каждому!»

Из приглашенных был только давний его приятель, фотокорреспондент окружной военной газеты Боря Могилянский. Умница, остряк. Согласился на роль тамады, придумывал тосты, смешил за обедом женщин.

В разгар застолья приоткрылась наружная дверь, в комнату вошла с банками солений в обеих руках Кувалдиха в цветастом сарафане.

— Совет да любовь! — поклонилась. — Не прогоните?

— Заходи, партизанка, — потянула от стены табуретку генеральша. — Леша, — обрatisлась к нему, — налей, пожалуйста, гостье.

Перед десертом они вышли с Борей в палисадник покурить. Тотчас, словно из сада, надвинулись со всех сторон головы соседей. Мужчины, женщины, ребята.

— С праздничком! — послышалось.

— Поздравляем!

— Мир вашему дому!

Понаторевшая в нравах дворового общежития генеральша вынесла и поставила у калиточки трехлитровую банку домашнего самогона, стаканчик, закуску.

— Милости прошу, дорогие соседи! Очень рады!

Подходили по очереди, выпивали, морщились. Цепляли оловянной вилкой селедочку, хрустящий огурчик. Мальчишки и девчонки дружно расхватили принесенную Юлией на подносе горку нарезанной халвы.

Медовый месяц они провели в Калуге. У матери остался от родителей деревянный домишко в центральной части города, где она жила с племянницей Олей и ее семилетним сынишкой. Поместили их в нагретой солнцем чердачной комнате с выходившим на Волгу слуховым окном. С утра, позавтракав на кухне, они уходили на целый день в город. Бродили по тихим, поросшим травой улочкам, среди старинных построек, обветшалых, точно обугленных временем, домов с резными наличниками, заходили под каменные своды Гостиного двора с заколоченными крест-накрест лавками, шли на берег реки, усаживались на косогоре, смотрели, щурясь, на проплывавшие мимо дымные моторки, на причаливший к пристани на противоположном берегу буксир, с которого тащили по сходям мешки похожие на муравьев цепочки грузчиков.

— Я так счастлива, Лешенька, — говорила загоревшая на свежем воздухе Юлия. Поправляла прикрывавшую серпик шрама бархотку на шее, клала голову на колени. — Ничего не надо больше, правда?

Он гладил ей волосы, целовал — в глаза, губы. Все сошлось счастливо в те калужские тихие денечки: убаюкивающий ритм жизни, неяркая, трогающая душу природа срединной России, которую он так любил, близкая женщина рядом.

В Калуге он написал первую свою театральную статью. Они посмотрели в местном драмтеатре великолепно поставленный «Лес» Островского, возвращались пешком, обменивались впечатлениями. После ужина он сел за столик, стал писать. Беглые наброски, без какого-либо плана или общей идеи. Перед глазами стояло густо напудренное лицо актрисы, игравшей Гурмыжскую, встретившиеся на лесной дороге Счаст-

ливцев и Несчастливцев, стоявший неподалеку от театра на тускло освещенной аллее бюст Островского, у которого они остановились по дороге домой. Юля, помнится, ахнула, тронув его за рукав: «Смотри, Леша, он улыбается!»

По телу его пробежал холодок.

— Юлька! — заорал.

Она привстала на постели.

— Леша, ты чего? — терла глаза.

— Нашел! Гениальная тема!

Слетело с небес: провинциальный русский театр! Центр культуры, просветительства, досуга людей, живущих в глубоком захолустье унылой, однообразной жизнью. Мир сцены, счастливые и несчастливцы, седоусые отцы города, дамы с вычурными прическами в партере, хлопающая неистово с галерки разночинная публика, купцы-меценаты за столиком театрального буфета, покупающие молоденьких актрис, как скаковых лошадей. Показать все это через драматургию Островского, судьбу его персонажей!

— У него три изумительных пьесы о театре, — говорил, волнуясь, сидя на кровати, — «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые».

— Ну и что? Леш, не кричи в ухо!

— Как что, Юлька? Это же энциклопедия жизни русской провинции! В театральных сценах и монологах. С чудным русским языком, ароматом эпохи. Театр и жизнь, понимаешь? Будет потрясающая статья! — обнял ее за плечи. — Слушай, давай выпьем, а?

— Спятил, третий час ночи!

Никогда с таким удовольствием ему не работалось. Писал, не отрываясь. Тема ширилась, обрастала идеями. Что-то надо было заново переосмыслить, от чего-то отказаться. Уставал, ложился рядом со спавшей женой, смотрел в темный просвет окна. Вскидывал, зажигал лампочку, хватал ручку, вновь принимался строчить в блокнот.

Написанную за две недели, проверенную на слушателях (жена, мать и торопившаяся на службу, поглядывавшая на часы Оля) тридцатистраничную рукопись послал в журнал «Театр». Ответа не дождался, махнул рукой: плевать! — главное, одолел казавшуюся недоступной высоту, почувствовал себя по-настоящему театроведом.

«Напечатаю где-нибудь. А не напечатаю, тоже не беда. Пригодится в будущем».

Оставалось несколько дней до отъезда, были куплены билеты, когда работавшая в областной библиотеке Оля сообщила: приехал из Москвы по линии бюро пропаганды ВТО молодой драматург Радунский, выступит с лекцией.

— Приходите, если интересно. Завтра, в половине третьего.

— Как ты сказала? — переспросил он.

— Радунский... — Оля задумалась. — Или Радимский. Точно не помню.

— Ага, — оживился он. — Пойдем обязательно!

— Господи, лекция, — красила ногти у зеркала Юлия. — Леша, тоска же смертная.

— Не скажи. Это тот, что написал «Новую главу про любовь». Эфрос в Ленкоме поставил. Мы с тобой фильм видели по этой пьесе, забыла? С Дорониной в главной роли.

— Там, где она бортпроводница?

— Ну!

— Фильм замечательный. А лекция нам зачем?

— Юлька, кончай трепаться! — топнул он ногой. — Мы идем, Оля.

Пришли за десять минут до начала, заняли места в небольшом читальном зале с рядами книжных полок. Читали развешанные по стенам крылатые выражения, раз-

глядывали публику. Народу собралось немного, преимущественно женщины средних лет и старше. Впереди устроилась живописная пара стилиг: на нем вельветовый пиджак свекольного цвета, джинсы «дудочкой», воинственно взбитый кок, у коротко стриженной девицы с полиэтиленовой сумкой на коленях чудовищных размеров пластмассовые кольца в ушах.

Появление драматурга вызвало в зале легкое замешательство. В проходе показались директор библиотеки в военном кителе и следом, слегка пританцовывая, огненно-рыжий молодой человек с лицом шкодливого подростка. Элегантная импортная куртка с погончиками на плечах, небрежно повязанный на шее шарфик.

— Товарищи, — остановился у деревянной трибуны директор, — позвольте представить вам гостя из Москвы, молодого драматурга Юрия Олеговича Радунского. Пожалуйста, товарищ Радунский, — пригласил жестом, — вам слово.

— Благодарю!

Приезжий схватил в объятия трибунку и, ослепительно улыбаясь, отнес в угол.

— Теперь я ваш! — потер руки. — Лицом к лицу. Для начала можете немного поаплодировать.

Послышались смущенные хлопки.

— А теперь побеседуем.

Он был явно не прост. Подмигнул подсевшей к ним с опозданием Оле. Шутил, комиковал. Стал неожиданно серьезен, стал рассказывать, как начал писать. В двадцать два года сочинил поставленную в Московском театре юного зрителя пьесу «Индийский маршрут».

— С треском провалился. Как Чехов с «Чайкой». Крепился пять лет, написал «Новую главу про любовь». Бац, и стал знаменитым. Вообще, моя жизнь, — сложил руки на груди, — история про удачливого человека. Как говорил папа моей подруги по сцене Жени Симоновой, «вы золотой мальчик». Главное мое удовольствие, может быть, единственное — писать. Для меня воображение реальнее действительности. Мир, о котором я пишу или рассказываю, на самом деле существует, он и есть мой настоящий мир. Помните у классика? — вскинул театральным жестом руку, произнес с чувством: — «Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтоб так по ней страдать»? По выдуманной Гекубе я страдаю больше, чем если бы она существовала на самом деле и была близким мне человеком...

— Над чем вы сейчас работаете? — тряхнула пластмассовыми кольцами стилижная девица.

— О, наконец! — Радунский зажмурился от удовольствия. — Ждал. С томленьем упования. Пишу сейчас... как вас, простите, величать?

— Мадлен.

— Изумительно! Пишу, Мадлен, по-настоящему выстраданную вещь. Хотя невыстраданных вещей у людей моей профессии не бывает. Вообще, у всех, кто занимается творчеством.

Внимательно смотрел на девицу.

— Вы замужем?

Девица в ответ захихикала, спутник расплылся в широкой улыбке.

— Пока нет.

— Ясно, — Радунский подошел вплотную к рядам стульев.

— Пьеса будет называться «Ранние браки». Она о начале семейной жизни молодых людей. Ее зигзагах, сложностях. О том, что нельзя это хрупкое, беззащитное растение трогать грубыми руками...

Юля сжала ему локоть.

— Молодые люди, — продолжал Радунский, — воспринимают брак как совместный турпоход («Умница! Сколько ему сейчас лет?»). — Им кажется, что все хорошее еще впереди. Не задумываясь, они рушат свои первые семьи. Есть к тому же любящие теща и свекровь, каждая из них знает, какой ужасный выбор сделало их чадо. Так что молодым есть куда бежать во время размолвок, есть кому пожаловаться, есть плечо, к которому можно прислониться. Лейтмотив моей новой пьесы, Мадлен, — задержал взгляд на девице, — не трогайте, господа, первых браков. Это браки детей.

— Господи, как грустно, — чей-то женский голос.

— Вовсе нет, мадам, — Радунский посмотрел в ту сторону. — Будет, напротив, веселая вещь. Комедия, быть может, мюзикл. Поставят в Костроме, обязательно приедут на премьеру. Лично вам обещаю контрамарку...

6

Прошло полгода, он защитил диссертацию, стал доцентом, читал в институте курс по истории становления советского театра в национальных республиках. Играл по воскресеньям с Борей в теннис на стадионе «Динамо», ходил с женой в гости, на театральные премьеры, в киношку. Зимой неожиданно пришло почтовое уведомление: получить бандероль. Это были гранки из редакции журнала «Театр» с набранной статьей и припиской заведующего отделом критики: поторопиться с читкой — статья планируется в апрельский номер. Вышла к обещанному сроку, без купюр и правки, со сноской в конце: «Театровед Алексей Цветков из Казани печатается впервые, редакция приглашает специалистов и читателей принять участие в обсуждении, высказаться по затронутой автором теме».

Со статьи в популярном журнале началась его известность. Стали поступать заказы — из редакций местных газет, республиканского Радиокomiteта: написать отклик, рецензию, поделиться мыслями о театральной новинке, выступить с обзором. Стал своим человеком в Русском драмтеатре, подружился с худруком Львом Марковичем Литвиновым, не пропускал ни одной постановки, бывал на читках, прогонах, напечатал в «Театре» большую статью о премьерном спектакле качаловцев — инсценировке по нашумевшей повести Василия Аксенова «Коллеги».

Двинулась неожиданно очередь на квартиру: сыграло роль имя, участие в общественных мероприятиях, сидения в президиумах, знакомства с людьми, могущими повлиять на перемещение в списке очередников. С нереальной пятизначной цифры на реальную трехзначную.

Первое, что они сделали, получив в исполкоме ордер на вселение в двухкомнатную секцию в соцгороде, отправились известить о радостном событии тещу.

— У тебя будет отдельная комната, мама, — обняла мать за плечи Юлия. — С красивым видом. Лес, речка.

— С чего вы взяли, что я собираюсь куда-то переезжать? — последовал ответ. — Мне и здесь хорошо, не буду вас стеснять.

Сказала, как отрезала, никакие уговоры не помогли.

«Ну и ладушки, — подумал он тогда с облегчением. — Будем мучиться в одиночку».

Шло время. Страна двигалась семимильными шагами к светлому будущему. Возводила плотины на сибирских реках, осваивала казахстанскую целину, собирала рекордные урожаи зерновых и хлопка. Народ участвовал в очередной переписи населения, следил за полетом космического корабля «Союз-9» в составе экипажа А. Николаева и В. Се-

вастьянова, голосовал на выборах в Верховный Совет СССР и союзных республик, приветствовал принятые по докладу товарища Леонида Ильича Брежнева исторические решения XXIV съезда КПСС. Газеты писали о томнящейся в американских застенках пламенной коммунистке Анджеле Дэвис, путешествии Тура Хейердала по Атлантическому океану на папирусной лодке «Ра-2», о недостойном поведении академика Сахарова, победе бразильской сборной на чемпионате мира по футболу, о приезде в Москву всенародно любимого индийского актера Раджа Капура и его партнерши по фильму «Бродяга», томной красавицы в голубом сари Наргис.

Возвращаясь как-то с работы, он столкнулся в автобусе с Асей. Похорошела, была модно одета, с крокодиловой сумочкой в руках. Разговорились, он проехал свою остановку, вышел вместе с ней. Шли по тротуару мимо Ленинского сквера, она кивнула на лавочку в начале аллеи:

— Посидим?

Рассказала, что развелась с мужем, встречается с приличным человеком, армянином, тоже разведенцем. Он заведующий базой потребкооперации, состоит в жилищном кооперативе. Они, вероятно, поженятся, когда будет сдан дом...

— Он старше меня, — чертила носком каблука по песку. — Но это, по-моему, не имеет значения.

От нее исходил запах знакомых духов.

— Как у вас, Леша?

— Не жалуюсь. Грызу гранит наук.

— А в личной жизни?

— Тоже порядок.

Неожиданно захотел ее. До безумия! Дотронулся до узкого колена в капроновом чулке.

— Леша, ну что вы...

— Идем! — потянул ее за руку.

Позвонил из ближайшего автомата Боре — тот, к счастью, был дома.

— Что у тебя? — осведомился. — Леша, давай по-быстрому, у меня бумага в проявителе!

— Выручай, Боря!

— Опять? — возмутились на том конце провода. — Ладно, давай так. Я оставлю дверь открытой, сам буду в лаборатории. Полтора часа хватит?

— Хватит, Боренька... — он смотрел сквозь стекло кабинки: Ася ходила по тротуару, смотрела на часы.

Холостяцкая квартира на Федосеевской была конспиративным убежищем друзей и сослуживцев Бори, лишенных возможности уединиться с женщиной. Терпевший неудобства от внезапных вторжений, честивший на чем свет беспардонных бабников фотокор окружной армейской газеты снисходил тем не менее к человеческим слабостям.

С Асей он больше не расставался. Встречались нечасто, ей сложно было надолго исчезать из дома, армянин был ревнив до безумия, устраивал, по ее словам, допросы.

Дома шла рутинная игра в семейную жизнь. С неизменным репертуаром и в прежнем темпоритме. Не строили из себя, слава богу, пылких влюбленных: всему свое время. Он работал ночами в кабинете, часто там и засыпал на раскладном диване, кончилось тем, что они стали спать каждый в своей комнате.

Юлия была в мать, обидчивая, злопамятная. Могла дуться из-за пустяков, неделями не разговаривать. В отличие от жены, он постоянно забывал о дне их свадьбы, и всякий раз она ему об этом напоминала, чисто по-женски. Он приезжал из института пообедать, а в доме вкусно пахло жареной индейкой, на подоконнике ее любимые

игольчатые хризантемы в хрустальной вазе, стол застлан парадной скатертью, расставлена посуда, на видном месте банка шпрот, красная икра, из холодильника извлекается бутылка шампанского («Открой, пожалуйста!»). Сцена за обеденным столом несла сверхзадачу — выразить немой укор, дать почувствовать: моя жизнь тебе безразлична, не надо, пожалуйста, лицемерить, каяться в забывчивости, дарить на другой день духи. Мне это неприятно...

Она с удовольствием обставляла квартиру: гэдээровские гардины, румынская «стенка», за которой простояла больше года в очереди, восточный ковер в гостиной, тоже в порядке очереди, два импортных кресла к журнальному столику.

«Импорт» был символом эпохи, предметом жизненных устремлений людей, мечтавших украсить быт, по-человечески одеться. Охотились за чешской обувью, итальянскими плащами из «болоњи», финскими сапожками, американскими джинсами, монгольскими кожаными пиджаками. Побывавшие за рубежом счастливчики привозили купленные на сэкономленную валюту колготки, женское белье, жвачку в пакетиках, шариковые авторучки, поносимый печатно и устно пенистый напиток бордового цвета в витых бутылочках «Made in USA», отдающий керосином, — кока-колу, который, по уверениям отечественных медиков, содержал крайне опасные для организма человека вещества.

Юлия ушла из института, устроилась инспектором по трудовым вопросам в Республиканский совет профсоюзов. Приличная зарплата, закрытый продовольственный магазин, в котором раз в неделю можно было получить полтора кило мяса, два десятка яиц, сливочное и растительное масло, рис, муку — все по госцене. Неудобной стороной было (для нее, не для него) обязательность ездить с плановыми проверками и по жалобам трудящихся в командировки.

Он ждал с нетерпением этого случая, звонил, проводив ее на вокзал, приятелям: Боре, Арнольду Гану, Гоше: ребята, сегодня вечером у меня! Как обычно...

Мальчишник! Ни с чем не сравнимый праздник мужского братства — никаких баб, одни мужики! Безмятежные часы веселого трепачества, растекания мыслью по древу, улетания в заоблачные выси — в майках и трусах, растянувшись на ковре, под болгарскую трехзвездочную «плиску», шкварчающий горячим жирком шашлычок с балконного мангала, «Жигулевское» пиво от пуза, еле слышную музыку из стереофонических колонок.

О чем только не говорили, не спорили они, каких не высказывали ярких мыслей, абсурдных, чудовищных теорий, как хохотали, катаясь по коврам над слетавшими с языка остротами!

Читавший на кафедре лекции по западному театру Арнольд, увлекшийся в последнее время идеями Гордона Крэга, втолковывал художнику Гоше, что давно пора выкинуть с театральных подмостков обезьянничавших кривляк, актеров, вернуть на сцену марионетку.

— Пойми! — потрясал рукой перед пребывавшим в состоянии нирваны, по-детски улыбавшимся Гошей. — Человек, творение природы, — инородное тело в абстрактной структуре произведения искусства. В данном случае спектакля.

— Инородное? — Гоша пытался поддержать мысль, вскидывая тяжелую голову.

— Именно! — палец Арнольда выстукивал тремоло по худосочной Гошиной груди. — Готов подписаться под каждым словом великой Элеоноры Дузе, говорившей, что для того, чтобы спасти современный театр, его надо сперва разрушить, а актеры и актрисы, отравляющие сценический воздух, делающие искусство невозможным, должны умереть от чумы!

— А че, согласен, — меланхолично прожевывал ломтик лимона Гоша.

В «Театре» печатались главы из его исследования «Историческая пьеса: сцена как интерпретатор истории в монологах и лицах». На тему натолкнул, как часто у него бывало, спектакль, на этот раз «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта, который они с Юлией посмотрели во время поездки в Болгарию.

Мечта поехать за рубеж зрела давно, лежали для этой цели деньги на сберкнижке, но все усилия заполучить желанную путевку успеха не имели: загранпоездки были особой формой поощрения за успехи на производстве и в общественных делах, отбором кандидатов занимались партийные и профсоюзные органы, строго следившие за тем, чтобы не выпустить за пределы страны идейно незрелых, нестойких лиц, способных создать у иностранцев негативный образ советского человека.

Выручил, как обычно, блат. Арнольд, встречавшийся с бухгалтершей местного отделения театрального общества, нагнал его как-то в коридоре.

— Леша, — сообщил полупшепотом, — есть горящие путевки! В Болгарию, с недельным отдыхом на море! Ответ Надюхе надо дать немедленно. Желающих, сам понимаешь. Захвати деньги и рви в театральный фонд. Надюха работает до шести. Там все узнаешь...

Карусель завертелась нешуточная. Оплаченные путевки еще ничего не значили, надо было запастись положительной характеристикой месткома («политически грамотен, морально устойчив, в быту дисциплинирован и скромен»), пройти собеседование в горкоме партии, ответить на вопросы членов отборочной комиссии, выслушать советы и рекомендации по поводу того, как вести себя в загранпоездке, что можно, что нежелательно, чего категорически не следует делать. Состояла комиссия, возглавляемая секретарем горкома КПСС по пропаганде, из стойкой плеяды общественников: ветеранов войны и труда, пенсионеров союзного и республиканского значения. Относились избранные к порученному делу с повышенной ответственностью, спуску любителям зарубежных вояжей не давали, задавали каверзные вопросы, долго и нудно втолковывали прописные истины.

— Как вы относитесь... — сурово глядел на них с Юлией мужчина с орденомской планкой на мятном пиджаке. — Как вы относитесь к недавним событиям в Чехословакии?

— Можно, я скажу? — заторопился он.

— Говорите.

— Мы с женой с самого начала целиком и полностью поддерживали действия нашего правительства по оказанию братской помощи чехословацким трудящимся в защите социалистических завоеваний и ликвидации контрреволюционного мятежа.

— Хорошо, а письмо антисоветчика Солженицына? Съезду писателей?

— Решительно осуждаем!

— Да... — робко поддержала Юлия.

Выкручивали коллективно мозги. Трилогия товарища Леонида Ильича Брежнева: «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

— Читали, — осмелела Юлия, — очень интересно.

— Генеральный секретарь коммунистической партии Чили?

Он задумался на миг.

— Ну? — придвинулась к нему дородная тетка с депутатским значком на груди. — Товарищ... Луис...

— Корвалан! — вспомнил он.

— Правильно! — осветилась нежностью к далекому чилийскому секретарю тетка. — Трудящиеся Чили называют его любовно «товарищ Лучо».

— Песенки хрипуна этого с гитарой слышали? — вопрос секретаря горкома КПСС.

Ясно, о Высоцком. К стыду своему, узнал о шельмуемом в печати авторе-исполнителе позже приятелей, влюбился безоглядно, услышав на подпольном прослушивании у Бори переписанные в домашних условиях на магнитофон, ни на что не похожие песни-монологи: «Кони привередливые», «Охота на волков», «Спасите наши души».

— А, этот самый, из Таганки? — обронил небрежно. — Я, знаете, самодеятельными певцами не интересуюсь. Мы с женой любители песенной классики. Лирической, гражданской («Актер актерыч», — мысленно похвалил себя).

— Один хороший совет... — подвел черту под получасовой пыткой татарин в бархатной тюбетейке, все время что-то писавший в блокноте. — Приедете за границу, пойдете покупать шара-бара. «Ой, какой хороший, у нас такой нет!» Так говорить не надо. Говорите: «Берем на память. Как сувенир».

— Чтоб вам! — плюнул он в сердцах, когда они вышли без сил за двери горкома. — Чучела огородные!

— Лешенька, смотри, — помахала в воздухе вожаделенной бумажкой с рекомендациями Юлия. Запрыгала по-девчоночьи по тротуару, пропела, обернувшись: — Мы едем, едем, едем!

Летели в Москву самолетом. Едва устроились в гостинице, тут же рванули за получением загранпаспортов на Профсоюзную, в отдел иностранного туризма ВЦСПС. Очередная промывка мозгов, наставления, коллективная читка за столом «Правил для выезжающих в капиталистические и развивающиеся страны». Из содержания можно было понять, что знакомство с красивейшей балканской страной, семидневный отдых на черноморском курорте «Золотые пески» для туристов дело второстепенное, цель их поездки — «высоко нести честь и достоинство гражданина СССР, быть постоянно политически бдительным, строго хранить государственную тайну, в умелой форме разъяснять миролюбивую внешнюю политику советского правительства, достижения советского народа в развитии экономики, науки, культуры и других областях коммунистического строительства».

О безмятежном отдыхе за границей надо забыть. «Следует постоянно помнить, — предупреждали „Правила“, — что разведывательные органы капиталистических стран и их агентура стремятся получить от советских граждан интересующие их сведения, скомпрометировать советского человека, когда им это выгодно, вплоть до склонения к измене Родине. Агенты капиталистических разведок действуют часто под видом гидов и переводчиков, врачей и преподавателей, портных, продавцов, шоферов такси, официантов, парикмахеров и другого обслуживающего персонала. Разведывательные органы капиталистических стран стремятся использовать в своих целях и такие слабости отдельных лиц, как склонность к спиртным напиткам, к легким связям с женщинами, азартным играм, приобретению различных вещей и неумение жить по средствам, а также беспечность, болтливость, небрежность и халатность в хранении служебных и личных документов...»

— Может, останемся, а, Галь? — обернулся по окончании читки к сидевшей рядом жене круглолицый парень в полосатой тенниске. — Не выдюжим.

Востроносенькая жена с сережками в ушах залилась в ответ переливчатым смехом.

— Попрошу не отвлекаться, товарищи, — застучал по столу проводивший инструктаж заведомо иностранным туризмом.

Отъезжавшим представили руководительницу группы, инструктора отдела агитации и пропаганды Московского городского комитета партии Антонину Георгиевну Паламарчук. Тошую, под потолок, дылду с лошадиной челюстью, которую он тут же окрестил «Явдохой».

— Мы теперь с вами сплоченная ячейка советского общества, — вразумляла, вышагивая по-солдатски впереди вяло тащившейся по тротуару группы. — По нашему поведению будут судить в целом о стране. Не забывайте об этом, товарищи, — остановилась у светофора. — Кому на метро или в центр — на ту сторону. Не перепутайте завтра вокзалы. Наш Белорусский, поезд тринадцатый, седьмой вагон, платформа номер три. Чао! — изобразила на лице подобие улыбки.

Абсурдистский спектакль «Загранпоездка» распахнул занавес. Была середина июля, палило немилосердно солнце, скорый поезд Москва—Варна с неисправной, как положено, системой охлаждения неся среди изнывавших от зноя родных просторов. По раскачиваемым коридорам гулял горячий суховей, купе напоминали инкубаторы, теплая вода в сортирных кранах пованивала болотной гнильцой.

Проехали виноградную Молдавию, до пограничной станции Чоп было рукой подать. В купе поминутно заглядывала Явдоха, предупреждала: загранпаспорта держать на видном месте, с таможенниками в разговоры не вступать, четко отвечать на вопросы, показывать по первому требованию содержание багажа.

Юля лежала с мигренью, отвернувшись к стенке, он сидел рядом, читал в свежем номере «Театра» новую пьесу Радунского «Жизнь и смерть декабриста», соседи по купе, совхозный фельдшер из-под Винницы Сема (тот самый, пошутивший на инструктаже в ВЦСПС) и молоденькая его жена-хохотушка Галя, играли в карты.

— Через полтора часа граница, — заглянула в дверь с озабоченным лицом Явдоха. — Будьте наготове.

Черт его тогда попутал, решил засунуть лежавшие на столике четыре загранпаспорта за край оконной рамы. Чтоб были на виду. Едва опять присел, Сема, только что обыгравший в подкидного смешливую жену, встал, одернул на плечах потную майку, хлебнул воду из графина.

— Ну и пекло! — потянул вниз створку окна. — Мозги плавятся.

Он зажмурился в ужасе...

— Мамочки! — услышал над головой задушенный вскрик Гали. — Паспорта!

Наступал конец света! Потерянные, ничего не соображая, они сгрудились у раскрытого окна с бьющейся на ветру занавеской, заглядывали по очереди в забитый копотью зазор между створками, куда провалилась выстрадавшая в муках, стоившая немалых денег упорхнувшая мечта из четырех загранпаспортов.

— Боже мой! — причитала с прижатыми к вискам ладонями Юлия. — Боже мой! Что с нами будет!

На Галю напал нервический смех, каталась на полке с поджатыми ногами.

— Не могу! — кричала. — Умру сейчас!

— Тише ты! — оборачивался от окна со зверской физиономией Семен, тыкавший безуспешно перочинным ножиком в щель. — Глубокая, зараза, не достать...

Выхода из положения не было никакого. Маячил впереди арест, отправка под конвоем на родину в зарешеченном вагоне. О дальнейшем было лучше не думать.

— Что? — грозно поднялась навстречу ему и Семену подкреплявшаяся перед важным событием крутым яйцом с вареной картошкой Явдоха. — Паспорта провалились?

— Ага, — подтвердил Семен. — Под пол вроде.

— Пустите! — плюнула в него крупинками желтка Явдоха, устремляясь к двери. — Провокаторы!

Через несколько минут в забитом до отказа купе с открытым окном, мимо которого бежали приграничные пейзажи, проходила экстренная летучка: начальник поезда со значком почетного железнодорожника, Явдоха, обе проводницы, несколько пасса-

жиров с техническим образованием. Заглядывали по очереди в щель, мерили на ширину ладони расстояние от верха до пола.

— Разобрать стенку, — подвел итог летучки начальник поезда. — Давайте, фокусники, — обратил тяжелый взгляд на него и Семена. — Заварили кашу, лишили бригаду премиальных за квартал. У меня для вас лишних ремонтников нет. Берите отвертки у проводницы, и за работу. Не управитесь, — глянул на часы, — за сорок минут, пеняйте на себя...

Проходившие мимо третьего купе пассажиры проскакивали с изумленными лицами мимо. У дверей стояла, шевеля беззвучно губами, голубоглазая женщина в цветном сарафане, изнутри слышался истерический смех, видны были спины полуголых мужчин в трусах с отвертками в руках, разбиравшие вагон. Кто-то потом уверял, что видел собственными глазами: за окном, вровень с поездом, бежал ростом со светофор Сэмюэл Беккет, кричал, сунув голову в купе: «Не запасайтесь пока веревками! Ждите Годо!»

Расскажи ему кто-нибудь потом, что за четверть часа до того, как скорый поезд Москва—Варна затормозит у дебаркадера пограничного Чопа и в вагон войдут румынские таможенники для проверки багажа и документов, двое российских охламонов, умудрившихся упустить загранпаспорта за оконную створку, очумелые от случившегося, грязные как черти, с негнущимися пальцами, сумеют разворотить стенку новенького гдээровского купе, достать паспорта, вернуть худо-бедно стенку на место, напялить брюки и сорочки, отвечать внятно на вопросы щеголеватого офицера в темно-зеленой форме, презентовать ему напоследок бутылку «Столичной» в честь советско-румынской дружбы, — подобное он считал бы не стоящим внимания дорожным трепом. Ну, нереально, ей-богу, ребята, не бывает такого...

7

«Пажжалуста патаграфэ! — знакомый голос неподалеку. — Я здесь! Сереженька здесь!»

Открыв глаза, он смотрит в сторону раздевалок.

Бродячий фотограф-болгарин в шортах и соломенном сомбреро. Шагает по пляжу, ведя за уздечку покрытого цветной попоной молодого верблюда.

— Здравствуйте, Наташа! — кричит в сторону загорающих на утреннем солнышке русских туристов. — Я здесь! Пажжалуста патаграфэ!

— Леш, давай сфотографируемся, — приподнимается с лежака Юлия.

— Не хочется, — он поворачивается на другой бок. — Снимайся сама.

— Всегда у тебя так...

Отряхиваясь от налипшего песка, она идет навстречу фотографу. Тот улыбается ей как старой знакомой, подгоняет верблюда, животное сопротивляется, трясет возмущенно губастой мордой.

У фотографа, именующего себя на русский манер «Сереженька», складная стрелялка в руках, он помогает Юле подняться, протягивает сомбреро.

— Бразилиано! — вскидывает на груди фотоаппарат. — Смотри сюда!

Он наблюдает со своего места, с каким удовольствием позирует перед камерой сидящая на верблюжьем горбу жена, как провожают ее взглядами, ступающую осторожно по горячему песку, загорелые мужчины.

Отель «Гладиола» в ста каких-нибудь метрах от моря, на пляж и обратно ходят в купальниках и резиновых шлепанцах. Обслуживание потрясное, кормят четыре ра-

за в день, через сутки меняют постельное белье. Праздность, обильная еда, морской ультрафиолет делают свое дело. <...> Спят как сурки после обеда, пропускают рекомендованные диетологом вечерние разгрузочные прогулки, опаздывают на проводимый Явдохой обязательный политчас в холле.

На политчасе обсуждают пойманные по «радиомаяку» сообщения с родины, зачитывают передовицы из только что поступившего в газетный киоск свежего номера «Правды», разбирают проступки членов группы, нарушающих режим (ушли в соседний отель, не предупредив, общались на пляже с подозрительными людьми).

— Слушай, пошла она к черту! — не выдержал он в один из вечеров, когда они лежали на веранде под звездами. — У меня трудовой отпуск, «Правду» я прочту, когда мне захочется.

Пропустили один политчас, другой. После третьего прогула Явдоха мягко попеняла, встретив в коридоре:

— Отрываетесь от коллектива, товарищи. У нас вчера был интересный разговор. По поводу фельетона Семена Нариньяни в «Крокодиле». О том, какой неблагодарной бывает молодежь по отношению к старшему поколению, давшему им путевку в жизнь... Да, кстати, Алексей, — тронула за плечо, — у меня к вам просьба. Намечается совместный товарищеский ужин с чехословацкой группой. Вы у нас человек пишущий. Подготовьте для меня, пожалуйста, тост. С учетом недавних событий в Чехословакии. О крепнувшем, несмотря ни на что, единстве, нерушимом братстве наших народов. Ну, не мне вас учить...

О событиях минувшего лета в Чехословакии он, как большинство советских людей, узнал из газет. В пространном заявлении ТАСС говорилось, что партийные и государственные руководители ЧССР обратились к Советскому Союзу и другим государствам Варшавского договора с просьбой оказать братскому чехословацкому народу неотложную помощь, включая помощь вооруженными силами, для защиты социалистического строя и государственности от покушения контрреволюционных элементов, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами. Откликнувшись на призыв, советские войска совместно с воинскими подразделениями Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши вступили на территорию Чехословакии и будут незамедлительно выведены, как только угроза завоеваниям социализма в этой стране и безопасности стран социалистического содружества будет устранена...

— Да ерунда все это, — втолковывал ему Боря, слушавший по ночам с наушниками пробивавшиеся сквозь «глушилки» зарубежные радиоголоса. — Надоела чехам наша собачатина, ясно? Не хотят ходить по струнке. Направо, налево, кругом. Решили строить собственный социализм. С человеческим лицом. А наши к ним на танках. В Праге сооружают баррикады, идут бои, есть убитые.

— А может, все-таки контрреволюция? — пробовал он возразить. — Не могут же просто так ввести войска.

— Леша! Честный русский патриот! — кричал Боря. — Пробудись от галиматый! Про Венгрию забыл? Говорили то же самое: защита завоеваний социализма. А на деле? То-то, брат...

Над тостом для Явдохы он трудиться не стал. Написал, не думая, на вырванном листке из блокнота: «Пусть процветает братская страна Чехословакия! Пусть будет счастлив ее замечательный трудолюбивый народ!»

— И все, Алексей? — разочарованно вертела в руках листок Явдоха. — Я думала, вы придумаете что-нибудь такое, лирическое, душевное. На страничку хотя бы.

— Я театровед, лирическое не по моей части, — сухо ответил он.

— Жаль, — спрятала она листок в карман.

Перед началом товарищеского ужина группа в полном составе собралась в холле. Все принаряженные, благоухают парфюмерией, в руках подарки для дружеского обмена: обернутые в бумагу бюстики маленького и взрослого Ленина, матрешки, палехские кухонные дощечки с видом Кремля. Явдоха, со взбитыми волосами, в тяжелом, как кольчуга, дакроновом платье, тревожно вглядывалась в лица.

— Значки не забыли, товарищи? — справлялась озабоченно. — Не торопитесь сразу дарить. Они нам свои значки, мы им свои. Водку передаем официантам. О так называемой Пражской весне... — закаменела лицом, — ни слова! Категорически!

Дружеский вечер в банкетном зале ресторана «Кривата липа» вспоминался ему потом фрагментами. Топтание в вестибюле возле трюмо, всплывание в зал во главе с Явдохой. Встречное движение выстроившихся вдоль стен нарядно одетых мужчин и женщин. Улыбки, рукопожатия:

— Здравствуйте! Любомир.

— Очень приятно. Катя... Ой, простите, Екатерина!

— Волков Сергей, механик.

— Механик? А я, как это по-русски? Дую в стекло.

— Стеклодув.

— Точно, стеклодув!

— Осмоловская Людмила Алексеевна.

— Сильвестр Горак. Позвольте ручку!

— Семен. А это Галя.

— Рад знакомству. Альберт Дворжак. Вы смеетесь, Галя?

— Это у нее привычка такая, Альберт, не обращайтесь внимания. Смеется по любому поводу.

— Да? Замечательно!

ГОЛОС МЕТРДОТЕЛЯ: «Рассаживайтесь, рассаживайтесь, товарищи! Кому как нравится!»

— Хотите с нами?

Он оборачивается — удар в солнечное сплетение! Сероглазая Афродита в ниспадающей на плечи прозрачной блузке. Алый смеющийся рот, высоко вскинутые брови.

— Да? Хотите?

Протягивает руку с цветными браслетами на запястье:

— Петра. А вас?

— Алексей.

— Вы один, с женой?

— С женой. Она на минуту отлучилась, сейчас подойдет.

— Отлично, Томаш! — машет рукой блондину в летнем костюме, разговаривающему о чем-то возле эстрады с Явдохой. — У нас есть соседи!

Они за столом руководителя чехословацкой группы Томаша Прохазки и его жены.

— Если не возражаете, сядем так, — по-хозяйски распоряжается Томаш, — Петра с Алексеем, я с очаровательной паней Юлией. Будем голосовать? Нет?

— Вы часто так далеко отпускаете от себя супругу? — помогает он усесться рядом Петре.

— Первый раз, — улыбается Томаш. — Но что не сделаешь ради дружбы.

Общий смех. Лед тает.

— Давайте на «ты», товарищи. Что мы, в самом деле, как в Организации Объединенных Наций!

— Для этого надо выпить на брудершафт.

— Какой вопрос. Официант!

— Да, пожалуйста, — набриолиненный официант в белоснежной рубашке с вензелем. — Швепс? — ловко орудует открывалкой. — Минеральная? Кока-кола?

— Сливовицу, если можно. Мы пьем на брудершафт.

— О, понятно!

— Итак...

Он смотрит через стол, как, скрестив руки, цедают из рюмок сливовицу Томаш и Юлия. Тянутся смешно друг к другу, целуются.

— Bravo! — хлопает в ладоши Петра. — А теперь мы...

Он в жаркой испарине, смотрит ей в лицо.

— На «ты», Алексей, — обхватывает она загорелой рукой его руку, они медленно пьют... Ее дыхание рядом, ее глаза, длящийся вечно поцелуй...

Сливовица и последовавшая за ней «Столичная» делают свое дело: за столом теплота, дружеское взаимопонимание. Разговор о кино, о любимых книгах. Петра, оказывается, никогда не читала любимейшего его Алексея Толстого.

— У вас столько Толстых, можно запутаться. Я читала только «Анну Каренину» Льва Толстого. Понравилось, но не очень. Сказать, какая моя любимая книга?

— «Декамерон»?

— Я серьезно, Алексей. «Унесенные ветром». Прочла еще в школе. Всегда хотела быть такой, как героиня романа Скарлетт. Независимой, сильной.

Ю л и я: Был замечательный фильм по этой книге.

П е т р а: Да, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Актеры чудо!

Т о м а ш (*режет в тарелке отбивную*): Мне нравится ваша профессия, Алексей. Театровед — это серьезно. Можете поставить двойку любому режиссеру. Даже этому, из «Современника».

О н: Олегу Ефремову.

Т о м а ш: Да, мы были с Петрой два года назад в Москве, видели его пьесу про декабристов. Очень сильная вещь.

П е т р а: Половину которой ты проспал. А потом спрашивал, в каком веке жили декабристы.

Т о м а ш: Юлия, смотрите: я недаром посадил рядом двух гуманитариев. Моя любимая жена — художник, пишет стихи. Для нее простой инженер, такой, как я, профан в искусстве. Вы кто по профессии, Юлия?

Ю л и я (*в веселом подпитии*): Мы же на «ты» Томаш, пили на брудершафт.

Т о м а ш: О, черт, прости! Кто ты по профессии, моя дорогая?

Ю л и я: По профессии, мой дорогой, я юрист.

Т о м а ш (*хватая початую бутылку «Столичной»*): Пьем за юристов и простых инженеров! Юля, давай поцелуемся!

Ю л и я: Давай, Томаш.

Целуются, смеются.

П е т р а: А что же мы с тобой, гуманитарий?

Впивается страстно губами, Томаш и Юлия аплодируют.

Т о м а ш (*разливает по рюмкам*): Пьем, пьем!

Женщины пригубляют рюмки, мужчины опрокидывают по полной.

Т о м а ш (*подцепив на вилку патиссон*): Как у вас, дорогая Юлия и Алексей, с детишками?

Ю л и я (*вспыхнув*): Пока не очень. Собираемся завести.

То м а ш : То же самое у нас с Петрой. Предлагаю детально обсудить эту тему за столом. Демографическая ситуация в странах социалистического содружества. Как ее решают инженеры и гуманитарии.

Петра : Томаш, смени пластинку.

Г о л о с Я в д о х и (*из глубины зала*): Пусть процветает братская страна Чехословакия! Пусть будет счастлив ее замечательный трудолюбивый народ!

То м а ш (*вставая из-за стола*): Извините, мне надо сказать приветственный спич.

Часть мизансцены в тумане.

Банкетный зал, гул голосов, носятся как угорелые на кухню и обратно официанты, стук отодвигаемых кресел, броуновское движение в проходах по направлению к туалетным комнатам и обратно. На скатертях с сюрреалистическими потеками увядающие от сигаретного дыма розы в целлофановых обертках, флажки в вазочках: «СССР» и «ЧССР». Отзвучали приветственные речи, стихли аплодисменты и крики «ура!» в адрес великана-стеклодува из Богемии, схватившего в объятия и державшего на весу только что произнесшую тост, болтавшую в воздухе ногами Явдоху. Станцевали «паровозиком» вокруг эстрады летку-енку, прыгая с хохотом, в затылок друг другу, затем твист под аккомпанемент пьяного в доску аккордеониста. Нарушаемое короткими всплесками активности застолье теряло запал, входило в тихую гавань душевных разговоров, шепотов по углам, обжиманий, затаенного женского смеха.

Он был пьян, горел на медленном огне, молот чепуху на ухо Петре, чьи ноги в опасной близости под скатертью жили отдельной от нее жизнью. Она вглядывалась с ироничным прищуром ему в лицо, в глазах читалось: «Я все, все о тебе знаю. И даже чуточку больше».

Томаш на диванчике рассказывал Юлии, поминутно целуя ей руки, как красива Прага, в особенности Пражский Град, в особенности весной, какую тяжелую жизнь он, деревенский парень, прожил, через какие прошел испытания, чтобы окончить институт, стать инженером, парторгом цеха, жениться на красавице из Тырнова, пишущей стихи, которая его презирает за карьеризм...

Поздний вечер, веранда ресторана, они с Томашем в плетеных креслах, курят. За распахнутой дверью возглас: «Предлагаю выпить за прекрасных дам!»

То м а ш : Ты коммунист, Алексей?

Он : Нет, беспартийный.

То м а ш : Почему беспартийный? Не коммунист?

Он : Не знаю. Не дорос идейно.

То м а ш (*грозит пальцем*): Перестань. «Не дорос». Не веришь в коммунистические идеалы, да?

Он : Верю. Когда хорошо выпью.

То м а ш : О-о, хорошо сказано! (*наливает из початой бутылки, чокается*). Давай. Скол!

Оба опрокидывают рюмки, закусывают из стоящей у ног соусницы.

То м а ш (*хрумякая маринованным огурцом*): А я молодой коммунист. Делаю карьеру (*меняет выражение лица*).

В дверях Петра.

Петра (*пылая от возмущения*): Томаш, дозт! Вратте зе до хали! (*Томаш, довольно! Вернись в зал! — чеш.*)

Исчезает за дверью.

Они помогают друг другу подняться. Идут, пошатываясь, в зал. <...>

Зал поредел, кучка мужчин чокается, стоя у окна, пьяную Явдоху, порывавшуюся сказать заключительное слово, уводят под руку Семен и умирающая от смеха Галя. Героически пытающийся выглядеть трезвым Томаш пожимает в дверях руки уходящим.

То м а ш : Спасибо, товарищи, хорошего путешествия... Приезжайте в Чехословакию. Мир и дружба! Как договорились: чешские мужчины провожают до отеля прекрасных русских дам, русские мужчины прекрасных женщин Чехословакии!

Коридор гостиницы, светят по стенам плафоны. Он толкает незапертую дверь в номер. Юлия не спит.

— Ну и как? — приподнимается с подушки. — Получилось?

— Не надоело?

Он стягивает рубашку и брюки у гардеробного шкафчика.

— Неужели не вышло? — мстительный смех. — Ну и ну! С твоим-то опытом.

— Нужны подробности? — он достает с полки одеяло, тащит на балкон.

— О, только не это! — картинное затыкание ушей. — Мне достаточно того, что я знаю.

Он лежит без сна на балконе, смотрит на россыпь звезд над головой. Невероятно: ночь напролет проговорил с женщиной! Вместо того чтобы найти поскорей местечко на пляже («Раздевалки, ну!») и терзать без конца. Мучила весь вечер, водила, как ручного крокодила на веревочке, наслаждалась его послушанием, пьяной влюбленностью.

Помахали рукой уходящим в сторону «Гладиолы» Томашу и Юлии. Шли босиком вдоль берега с туфлями в руках, останавливались, пили из горлышка прихваченное со стола «Цимлянское».

— Я не хотела идти на эту встречу, — говорила Петра, — настоял муж. Мысль, что придется болтать о том, как мы, чехи и словаки, любим советский народ, гордимся дружбой с вами, казалась мне отвратительной. После того как ваши вожди задушили Пражскую весну, с любовью между нами покончено.

— Я ничего не понимаю в политике. Не хочу понимать. У джазменов есть понятие: игра в комба, квадрате. Я играю в своем квадрате. Чтобы не потерять основную тему.

— А какая у тебя основная тема?

— Театр.

Сидели на холодном песке, смотрели, как убегает в просторы моря лунная дорожка в перламутровой ряби.

— Нам надо было родиться в одно и то же время, жить на одной улице, учиться в одной школе, — она прислонилась к его плечу. — Ты мой мужчина, я это почувствовала, как только увидела тебя в дверях с букетом цветов. У тебя был такой взгляд...

— Какой?

— Ты будто высматривал меня. Знаешь, так бывает на вокзалах, в аэропортах. Люди, пришедшие встретить своих близких, тянут шеи, становятся на цыпочки, всматриваются в проходы, в которых должны показаться прибывшие.

— Вот ты и прилетела...

Он целовал ей глаза, волосы.

— Не надо, Леша, — она перехватила у себя на колене его руку.

Он возобновил попытку, она резко встала.

— Я же сказала — нет!

Черта с два проявил бы он слабость, ничто бы его не остановило. Но остановило! Отрезвевшего на свежем ветерке, смотревшего с обожанием на странно изменившееся в лунном свете ее лицо с темными провалами глазниц.

— Не сердись, милый, — звучало рядом дивное сопрано. — Я чувствительная, это у меня с детства. Там, в отелях, не спят двое, ждут нашего возвращения. Томаш и твоя жена. Знаю: вы, мужчины, болезненно переживаете отказы. Рыбка сорвалась с крючка. Это бьет по вашему самолюбию...

Они подходили к сиявшему огнями отелю.

— Ты будешь прекрасным моим воспоминанием, — улыбнулась печально. — Давай договоримся. Когда нам обоим станет невыносимо, ты дашь мне знать, и я прилечу к тебе в Казань. На одну ночь. Будем любить друг друга, как в последний час жизни. Согласен?

Махнула рукой, побежала, не оборачиваясь, наверх.

8

«Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят, — звучит в салоне автобуса, — стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша, стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат».

Он подпевает вполголоса, смотрит в окно. Убегающие зеленые холмы, безымянная речка с домиками на пологом берегу, за заборами висающие пачками на стремянках лопухи сухого табака.

«А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги».

Поющая рядом Юлия утирает платочком глаза.

— Замечательный памятник советским воинам, который наш народ любовно называет Алеша, — слышится с переднего места голос Яны, — мы с вами, товарищи, увидим, когда приедем в Пловдив. А пока давайте поаплодируем его тезке, члену нашей группы Алеше в красивых голубых шортах и его жене, которые так прекрасно поют.

Смех, аплодисменты, они с Юлией картинно раскланиваются.

Яна, перегнувшись, говорит что-то сидящей напротив Явдохе, оборачивается.

— Через двадцать-двадцать пять минут, — старается перекричать шум двигателя, — прибываем в древнюю болгарскую столицу Велико Тырново.

Вечерело, «Икарус» с натугой полз между скалистых кряжей. Миновали один поворот, другой, третий, проехали по мосту — пассажиры прильнули к окнам, — впереди, в розовеющем закатном свете, изумленному взгляду открылось нечто совершенно нереальное: возникшая, словно по мановению волшебной палочки, театральная декорация средневекового городка на изумрудных холмах, омываемого с трех сторон извилистой рекой в каменном ложе.

Автобус спускался вниз, декорация укрупнялась, театральные городок с карабкавшимися вверх этажерками, один над другим живописными домиками под красными и коричневыми крышами оживал, наполнялся звуками, по мощным улочкам с лавками и магазинчиками проходили вполне реальные люди, проехала со скрипом нагруженная мешками телега, прокатил на велосипеде, вертя с натугой педали, парень в шляпе с девушкой на заднем сиденье.

Вечером, после ужина в стилизованном под харчевню ресторане отеля, они вышли с Юлией на небольшую площадь, встали, опершись на балюстраду, над пропастью. Темнели на соседнем холме стены крепости, трехглавый собор с колокольной, мигали в подножии огоньками мастерские квартала ремесленников.

— Леша, слышишь?

Минуто они стояли, прислушиваясь. Нестройное пение, звуки бубна и флейты. Со стороны развалин римского акведука двигалась в их сторону процессия.

— Давай посмотри!

Взявшись за руки, они заторопились вниз по каменным ступеням, одолели несколько поворотов, остановились пораженные. По улице, в окружении шумной толпы, двигалась украшенная цветными гирляндами и лентами телега, запряженная волами, на которой восседала на обитом жестью сундуке волоокая дева в венке и монистах.

Цыганская свадьба!

На мгновение ему показалось, что перед ними талантливо разыгрываемая массовка, придуманная для развлечения прибывших в город нескольких туристских групп — настолько все было экзотично, театрально, такая типажность у нарядно одетых парней, загорелых девушек, нетрезвых музыкантов, путавшихся под ногами кудрявых мальчишек. Шедший впереди бородатый великан в синих шароварах и остроконечной войлочной шляпе, как оказалось отец невесты, остановил, увидев их, повелительным жестом процессию. Поднес каждому, поклонившись, по стакану мутной раки, по палочке шашлыка. Запряженные волы с вплетенными в рога бумажными цветами внимательно следили, позвякивая бубенчиками, за тем, как они одолевают под аплодисменты семидесятиградусный убойный самогон, идут к телеге, поздравляют сидящую на сундуке невесту.

Театральный дивертисмент продолжился на другой день представлением бродячего цирка сеньора Умберто в зеленом театре. Все как положено: иллюзионист мистер Сенко во фраке и котелке, зависавшая в воздухе со сложенными руками по мановению волшебной палочки полуголая сонная дива с медными чашечками на груди. Переглядывание, изумление в зрительских рядах при виде наполнявшихся красной жидкостью пустых бокалов. Гробовая тишина под тревожное тремоло барабанов — сочетавший директорство с должностью укротителя диких зверей сеньор Умберто засовывал голову под наблюдением ассистировавших ему жены и дочери в пасть гривастому льву. Ужас, катарсис, грохочущие барабаны разрывают ушные перепонки. Виват, брависсимо! — невредимая голова сеньора Умберта извлекается под радостные крики из львиной пасти...

Листая дома по возвращении блокнот с путевыми записями, перебирая открытки, он вспоминал с легкой грустью оставшуюся по ту сторону театрального занавеса десятидневную одиссею на колесах. Долгие часы в дороге, проносящиеся за окном пейзажи, села, города. Случайные встречи, знакомства. Официантов придорожного бистро, кивавших утвердительно головами (у болгар этот жест означал «нет») в знак того, что не хотят брать денег с советских туристов за минеральную воду и кофе. Русского батюшку отца Иосифа, настоятеля храма Спасителя Христа в деревне Шипка, расчувствовавшегося от встречи с земляками, позволившего им подняться на колокольню и негромко позвонить в колокола. Провожавших с придорожных холмов ленивыми взглядами «Икарус» черных буйволов с ухоженными бородами.

Они побывали в скальном монастыре двенадцатого века в окрестностях Варны, побродили среди катакомб в известковой отвесной скале, где обитали христианские отшельники. Переночевали на Шипкинском перевале. Гостиница с необъятными кроватями и закопченными ставнями, дгорающие угли в камине. Утром стояли на пронизывающем ветру среди могил участников русско-турецкой войны, смотрели на окутанную туманом вершину Столетова с памятником воинам-освободителям и болгарским ополченцам. Заехали в передовой сельскохозяйственный кооператив, осмотрели фермы и огороды, выслушали рассказ специалистов о структуре и эконо-

мике хозяйства, подняли за дружеским столом тосты за советско-болгарскую дружбу. Видели, проезжая, Пловдив, каменного «Алешу» на постаменте в плаще и с автоматом в руке. Остановились ненадолго возле базарчика в Казанлыке, дожидаясь, пока женщины под руководством Яны покупали у местных торговек ароматическое масло из знаменитых казанлыкских роз.

Снова дорога, холмы, перелески, раздавленная автомобильными шинами перезрелая слива на обочинах шоссе. Ночь в национальном парке в окрестностях Софии, красавица столица на живописных склонах массива Витоша.

На знакомство с красавицей сил не оставалось. Отлынули под благовидным предлогом (все та же ужасная мигрень у Юлии) от обязательного посещения мавзолея Георгия Димитрова. После обеда вышли вдвоем прогуляться.

Юлия вела себя сдержанно: «Да», «Нет», «Хорошо», «Не знаю». Роль второго плана. О случившемся на «Золотых песках» ни слова. Компромат, судя по всему, был отложен на потом. Обошли вокруг храма-памятника Александру Невскому на одноименной площади. Красиво. Постояли возле конной статуи императора Александра Второго с табличкой на постаменте «Царю-Освободителю». Любопытно. Национальная художественная галерея? Музей социалистического искусства? Археологический музей? Спасибо, на сегодня достаточно, вечером у нас поход в театр: Яна приобрела для желающих сравнительно недорогие билеты на гастрольный спектакль Московского театра имени Маяковского «Мамаша Кураж и ее дети»...

Сидя в самолетном кресле Ту-154, летевшего из Софии в Москву, он вспоминал прошедший накануне вечер в Национальном театре имени Ивана Вазова. Магия, чудо! — ничего другого не приходило на ум. Прежде всего, от потрясающей игры исполнительницы главной роли Юдифи Глизер, о которой, к стыду, ничего не знал. Оставил попытку с появления на сцене впряженной в повозку женщины в стоптанных башмаках записать что-то в блокнот, забыл о профессии, о том, что понимает толк в механизме театрального действия. Сидел зачарованным зрителем, с открытой душой, как давным-давно, в кукольном театре, когда готов был пожертвовать жизнью, чтобы спасти правдивого зайца. Не было ни малейшего сомнения, что перед ним никакая не актриса театра Маяковского в исторических одеждах и гриме, а реальная, из плоти и крови, маркитантка Анна Фирлинг, по прозвищу Мамаша Кураж, сопровождающая с мелочной лавкой шведское войско. Происходящее на сцене невозможно было назвать привычным понятием: перевоплощение в сценический образ. Был абсолютный уход в иную сферу. Циркулирование живой крови, реальное существование в пространстве «мелового круга» бывалой, циничной торговки, заплатившей кормилице войне нечеловеческую цену — жизнь троих детей. Постановщик, известный артист Максим Штраух, отошел от сложного для зрительского восприятия брехтовского принципа «эпического театра» с его превалирующей над чувствами плакатностью и диктатом разума, сосредоточил внимание на эмоциях живых людей с их пороками и слабостями, дал возможность исполнителям прожить на пределе каждое мгновение, заставить поверить в себя, потрясти.

Врезался в память финал. У ступени деревенского дома, где только что расстреляли из аркебузов немую Катрин, Мамаша Кураж с растрепанной гривой седых волос отсчитывает гульдену крестьянину, согласившемуся похоронить ее дочь.

М а м а ш а К у р а ж : Вот вам деньги на расходы (*впрягается в фургон*). Надеюсь, и одна справлюсь с фургоном. Ничего, вытяну, вещей в нем немного. Надо опять за торговлю браться.

Со свистом, под грохот барабанов проходит еще один полк.

Мамаша Кураж (*трогается с места*): Эй, возьмите меня с собой!

Спектакль потряс, полоснул по живому, вызвал в памяти прокатившуюся недавно смертельным катком по Европе войну. Миллионные ее жертвы, палачей.

Публика не расходилась, аплодировала стоя, летели на сцену цветы. Выходили один за другим на прощениум, кланялись исполнители, постановщик, художник-декоратор. Неподвижно, не шелохнувшись, стояла в центре опустошенная, с осунувшимся лицом маркитантка Анна Фирлинг, смотрела отрешенно в пространство зала, где летели в вышине души ее убитых детей.

9

Осенью умерла генеральша. Прожила чуть больше года после операции (рак груди), таяла на глазах. Измученная Юлия ездила каждый день после работы в слободу, возвращалась поздно вечером, уходила без слов к себе в спальню.

За умирающей согласилась ухаживать Кувалдиха. Кормила с ложечки, купала, мняла белье, таскала из аптеки баллоны с кислородом, колола обезболивающее. От денег отказалась, попросила отдать после смерти генеральши оставшуюся мебелишку и пожитки.

— А то и балок куплю, коли не возражаете.

Позвонила в один из дней Юлии на работу:

— Приезжай, кончается вроде.

Они сидели у постели тещи — высохший полутруп с провалившимся ртом неожиданно заволновался, сделал попытку привстать.

— Что тебе, мама? — наклонилась над подушкой Юлия. — Пить?

— Кто эта женщина? — едва различимый шепот в ответ. — Я ее не знаю...

— Где, мама?.. — Юлия гладила мать по лбу. — Там никого нет...

— Женщина, — шепот умирающей, — смотрит...

Обессиленные, они задремали ночью, сидя на кухне. Он очнулся первым, привстал с табуретки. Мутный рассвет за окном. В соседней комнате странная, неживая тишина.

Шагнул за порог, щелкнул выключателем. Генеральше лежала, раскинув руки на скомканной постели, смотрела остекленело в потолок.

Юлия боялась подойти к матери. Стояла, отвернувшись к стене, замотала головой, когда приехавший врач «Скорой», засвидетельствовавший факт смерти, попросил ее подойти к постели и подтвердить, что покойная (врач держал перед глазами паспорт тещи) действительно гражданка Серегина Зинаида Николаевна, русская, тысяча девятьсот третьего года рождения, беспартийная, прописанная по адресу...

— Разрешите, я, — шагнул он к изголовью кровати. — У жены не в порядке с нервами...

Хлопоты легли на его плечи. Нашел, проплутав больше часа по городу, артель по изготовлению гробов и предметов похоронного обряда. Заведующий объяснил: покойную надо сначала привезти из мертвецкой, обмерить. Гроб сколотят в течение суток, со стройматериалами напряженка, на всякий случай лучше оставить аванс.

В больницу, куда «скорая» увезла тещу, они поехали с Кувалдихой на нанятой полуторке. Предъявили в регистратуре документы.

— Дойдете до конца аллеи и направо, — дежурная протянула из окошечка пропуск. — Мертвецкая сразу за кочегаркой.

В похожий на товарный склад подвал они спускались по крутым ступеням в сопровождении санитаря. Шагнули через оцинкованную дверь в дохнувшее ледяным холодом и смрадом полутемное помещение.

— Смотрите, где ваша, — санитар в застиранном мятом халате закурил папиросу. — Недавние ближе к окну.

Тещу нашли не сразу.

Кувалдиха вскинула на руки труп. Шагала по-солдатски вдоль аллеи в сторону нижних ворот, где стояла полуторка. Сидела на расстеленной в кузове дерюге, придерживала подпрыгивающую на ухабах, безразличную ко всему на белом свете соседку с синюшным лицом. Взяла «по семейным обстоятельствам» отгул в райисполкоме, была по молчаливому их согласию распорядительницей траурной церемонии. Вводила по очереди шедших проститься с покойной соседей, стояла рядом с выкупанной, чисто одетой генеральшей с перевязанными крест-накрест руками, отгоняла мухобойкой мух. Вернула приехавшим артельщикам после прикидки привезенный гроб: велик, ноги покойной не достают до задней стенки.

— Ты чего, мать? — полезли те на нее. — Обратно вертать?

— О приметах слышали, голуби? — рявкнула член партии послевоенного призыва. — Просторный гроб — для нового покойника! Пока не исправите, денег не дам! И в газету пропишу!

Торговалась с шофером катафалка, цыкнула на небритых, с похмелья, могильщиков:

— Как договорились! По десятке каждому и бутылка водки.

Руководила поминками, осталась с дочерью Недбайло Клавкой привести в порядок комнату и перемыть посуду. Пошла их проводить, села неожиданно на скамейку в палисадничке с зажженной папиросой, запричитала, горько, надрывно:

— Ой ты, душа моя Николавна! На кого ты, душа моя, нас покинула!

— Идем! — испуганно тащила его к выходу Юлия.

— Какова горюшка ты мне, Николавна, да прибавила! — слышалось за спиной.

10

Мальчишник на этот раз проводили у Бори. Поводом послужил, во-первых, купленный на воскресном базаре взамен проданного до этого «запорожца» почти новый «Москвич-412», в котором компания прокатилась с хохотом по двору, во-вторых, намечаемая Борина женитьба на профессорской дочке, работавшей стоматологом в правительственной поликлинике, куда Боря попал с больным зубом благодаря связям Арнольда.

Перезрелая профессорская дочка, по словам Бори, возлежала, пломбируя зуб, пылающими сиськами у него на груди, жаловалась на скуку, оживилась, узнав, что он фотохудожник, напросилась в гости, посмотреть его работы.

— Спросила, не еврей ли я, случайно.

— Ну?

— Ответил, что, случайно, еврей. Оценила, баба с юмором. И титьки, в общем, вполне.

— В хозяйстве сгодится, — хохотнул Гоша.

Потенциальную Борину невесту звали Изольда Келестиновна Хмельницкая-Иоффе. Папа — профессор мединститута, мама — председатель комиссии народного контроля при городском комитете партии. Двухэтажный дом в Заречье, сад, новенькая «Волга» в гараже.

— Никаких сомнений, женись, — откупоривал бутылку Арнольд. — И фамилию профессорскую возьми. Представляешь: у входа на персональную выставку афиша: фотохудожник Борис Хмельницкий-Иоффе. Звучит. Не то что Митрохин. Никакого сравнения.

— Стоит подумать, — Боря придиричиво обозревал содержимое стола.

— И думать нечего. Книппер-Чехова не думала.

Выпили, закусили.

— Дом получишь в наследство, — Арнольд откинулся в кресло, полуприкрыл глаза. — Со львами у входа. На гранитной ступеньке «сальве» цветными камешками.

— Это еще что за хреновина? — воззрился на приятеля Гоша.

— Господи, с кем я сижу за столом! — у Арнольда вскинутые торчком брови. — Не знающие латыни невежды. О, горе мне!.. Дом со львами, ребята, это, я вам доложу, — продолжал ораторствовать. — Вот я, допустим. Живу вроде в нормальных условиях. Три комнаты в пятиэтажке, лоджия. А в мечтах собственный дом. С коридорами, переходами, закоулочками, таинственными уголками. Антресоли, библиотека. В старом комоде с облупившейся краской найдешь неожиданно завернутый в пергамент пухлый альбом с черно-белыми фотографиями и открытками, будешь объяснять детворе: это бабушкина свекровь, игравшая по вечерам в синема тапершей, это двоюродный дядя отца, голубой гусар, стрелявшийся из-за женщины в Тифлисе, это, честно говоря, не помню кто, вроде бы мамин воздыхатель, семинарист, продолжавший любить ее, вышедшую замуж за другого, до конца дней, посещавший ее могилу, оставлявший на плите букетик ее любимых игольчатых хризантем.

— Ну трепло, — восхищенно крутил головой Гоша. — Люблю слушать. Не поймешь о чем, но красиво.

— Внемли и постигай, живописец! — Арнольд разливал по рюмкам. — Дом, Гошенька, гавань среди бушующих волн враждебного мира. Хранитель памяти, счастливых и печальных событий, приездов гостей, свадеб, похорон. Вообрази: старая липа в конце двора, зацветающая позже других деревьев. Волнующий ее медовый аромат, перелетающие со сладких соцветий, отяжелевшие от щедрых взяток осы. Седой ворон на заборе, равнодушно глядящий на суету вокруг. Паучишко в углу, обходимый влажной тряпкой во время уборок, подтягивающий по-рыбацки к голодному брюшку серебряное кружево нитей, в которых гудит в предсмертной молитве запутавшаяся, переставшая сопротивляться муха. Поздние ужины на веранде, рой мошкары вокруг углового фонаря, строгий голос бабушки на пороге детской: «Это еще что такое! Спать, спать, завтра рано в школу!»

— Тургенев, стихотворения в прозе, — отзывался он. — Тебе, дураку, повести и романы писать, а не Гордоном Крэгом голову морочить.

— А что, возьму и напишу!

Голоса наперебой:

— Напиши, родненький!

— «Дом с мезонином»!

— «Дом на набережной»!

— «Домби и сын»!

Смех, звон посуды, бульканье влаги.

Борин возглас:

— За тех, кто в море!

Борю Арнольд называл «больная совесть наша». Премии на международных выставках, «капуста» в хрустящих кредитках, которую привозил с летних фотонабегов в отдаленные села и аулы, где снимал в течение светового дня в профиль и анфас передовиков труда для досок почета, приехавших на побывку солдат, многодетные семьи по отдельности и вместе, памятники на кладбищах. Грудастая Изольда, двухэтажный

профессорский особняк, новенькая «Волга», дорогая аппаратура из комиссионки. Живи, кайфуй. Нет, постоянно взволнован, критикует, негодует. Выслали Аксенова, чинят препятствия выезду евреев на историческую родину, не могут ни хрена наладить выпуск нормальной фотобумаги и пленки.

Поехали опробовать новый спиннинг Арнольда и заодно порыбачить на старый затон. Безлюдье, свежий воздух. Два пол-литра на посланной скатерке, хлеб, консервы. Бабочки летают, кузнечики, отдыхай, человек, дыши полной грудью! Нет же! После первой стопки:

— Какой, на хрен, спиннинг, рыбы давно в Волге нет. Когда вы последний раз стерлядку паровую пробовали, а? То-то же. Угробили осетровых. Волжскую ГЭС построили, реку плотиной загородили. Рыба не может добраться до нерестилищ. Уроды!

Помолчали, взяли по второй. Можно поговорить на подходящую тему. О футболе, о бабах, в конце концов.

— Вам нормально в этом болоте? — Боря цепляет вилкой судака в томате, смотрит с отвращением. — Тебе, Леша?

— В каком смысле? — отзывается он.

— Да в любом. Жизненном.

— Мне нормально. Я и без стерлядки себя неплохо чувствую.

— Хорошо, скажи тогда, пожалуйста...

— Пожалуйста...

— Нет, ты не финти! Прямо говори!..

— Прямо? Ты же не слушаешь ничьих доводов!

Отдых на природе называется. Разговор на повышенных тонах, неделю после этого не видятся.

Юлия как бы между прочим за столом:

— Опять не поделили чего-то с Борей?

Он в сердцах:

— Мы не поделили с ним родину!

Пришло из Москвы на бланке президиума ВТО персональное приглашение на теоретическую конференцию «Театр и современность». Четыре дня в столице, возможность встряхнуться, побыть среди своих, узнать о новостях. Ехал в мягком вагоне (оплата в оба конца за счет организации), устроился в одноместном номере гостиницы «Минск»: десять минут пешком до Центрального Дома актера, где проходили пленарные заседания и работа секций. Прошел регистрацию, набрал на информационном столике кучу брошюр и проспектов, получил, расписавшись, два бесплатных билета: один в Большой, на балет «Спартак» («здорово, давно мечтал!»), другой на «Турандот» в Театр Вахтангова. Пробежал бегло тезисы выступлений, записался, подумав, в секцию Аникста «Играем Шекспира» и в другую, на тему «Есть ли будущее у телевизионного театра?» руководимую критиком и драматургом Александром Свободным, чьи публикации в «Театре» соседствовали нередко с его собственными.

Большой зал на втором этаже с окнами на площадь Маяковского, обязательный (на полтора часа) основной доклад председателя правления Михаила Царева «В долгу перед народом». Мука смертная! В креслах листали брошюры, кашляли, зевали, переговаривались шепотом, глядели в потолок. Слегка косивший, с серебряным хохолком на лбу, великолепный Чацкий из фильма-спектакля «Горе от ума» уныло мямлил с трибуны прописные истины, пил воду, вытирал платком вспотевшее лицо.

— ...Позвольте заверить еще раз от лица всех участников нынешней конференции...

Тучный сосед по креслу привстал с места.

— Все, коллега, выходим! — подтолкнул плечом.

Оживший зал загудел, задвигал креслами, устремился радостно к выходу.

Выйдя из туалета, он пристроился в очередь к буфетному прилавку, взял бутерброд с колбасой, бутылку «Жигулевского», присел за столик.

Вокруг курили, переговаривались, слышался смех. Прогуливались по коридору (он вертел по сторонам головой) знаменитости, корифеи. Прошли в двух шагах веселоглазый Михаил Жаров, державший под локоть всесоюзного красавца Евгения Самойлова. Остановились неподалеку со стаканами в руках Мария Миронова и Александр Менакер, о чем-то оживленно говорили.

— Здравствуйте, земляк! — дребезжащий тенорок. — Рад видеть. Как пиво?

Белокуров! Шалые глаза с прищуром, благоухает коньячком. Он поднялся с места.

— Здравствуйте, Владимир Вячеславович! — подвинул стул. — Присаживайтесь.

— Нет, нет, бегу, дорогой! У меня съемки в Одессе. Опаздываю на поезд. Будете еще в Москве, звоните, помогу с билетами. Все, улетел! — помахал на ходу руками.

Белокуровым он восхищался. Личность, талант от Бога. Познакомился со знаменитым исполнителем роли Валерия Чкалова в одноименном фильме во время гастролей МХАТа в Казани, был на знаковой постановке театра «Мертвые души» с последними могиками старой школы, работавшими еще со Станиславским: Алексеем Грибовым (Собакевич), Борисом Ливановым (Ноздрев), одной из великих «театральных старух» Анастасией Зуевой, игравшей Коробочку.

Белокуров-Чичиков в созвездии мхатовских кудесников был изумителен, неповторим. Не просто узнаваем. «Не красавец, — по Гоголю, — но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод». Манеры: обходительность, вкрадчивый голос, умение нравиться — все это было, играло, лепило от мизансцены к мизансцене образ, пока — о чудо театра! — в атмосфере зрительного зала не стал задувать все сильнее гоголевский, от «Вия», ветерок чертовщины: реальное смешалось с ирреальным, а на бритом, сладко улыбающемся лице главного персонажа поэмы в костюме коричневых и красноватых цветов с искрой, «какого не носила вся губерния», промелькнула неожиданно гримаска представителя потустороннего мира, человека греха, искусителя, словно бы выпавшего из приснившегося «третьего дня» Коробочке страшного сна.

Он взял тогда по окончании спектакля короткое интервью у Белокурова в гримерной. Тот сидел в кресле у зеркала, мазал лицо вазелином. Распахнутая на груди сорочка, встрепанные волосы, чичиковский смятый парик с хохолком на столике. Не остыл от роли, взглядывал с веселым прищуром.

— Не первый год замужем, — откликнулся на вопрос о работе над ролью. — Жизнь повидал, накопил кой-чего про запас. Помните русскую поговорку: «Старый конь борозды не испортит»? Это про меня. Шоры надень, пройду по борозде вслепую... Как вас по батюшке, простите? — припудривал бархоткой лицо.

— Юрьевич, — отозвался он.

— Что если нам с вами, Юрьевич, — Белокуров отворил дверцу гримерного шкафчика, извлек бутылку, стакан, — что если нам чуточку того? Вздогнуть. Грузинский, «Греми», — налил на треть. — Давайте, вы первый, — протянул стакан. — За Николая свет Васильевича.

Он видел потом Белокурова во многих ролях, и в театре, и в кино. Старый конь (ему было к тому времени далеко за шестьдесят) пахал без огрехов: что ни спектакль, кинофильм — яркий образ, положительные отклики в печати. Народный артист СССР,

два ордена Трудового Красного Знамени, Сталинская премия второй степени за исполнение роли С. А. Чаплыгина в фильме «Жуковский». Преподавал в ГИТИСе, снимался на телевидении, записывался на радио, выступал на эстраде. Увел от мужа во время съемок фильма «Долгий путь» исполнительницу главной роли Кюнну Игнатову, бешено ревновал молодую, бывшую на тридцать лет моложе жену, ставил режиссерам условие: сниматься будет, если Кюнне дадут роль в картине. Был не последним среди охочих заложить за воротник собратьев по профессии,пил регулярно, артистично: «не пьян, но водкою разит». Мхатовский шутник Борис Ливанов приклеил однажды, улучив момент, под табличкой «Народный артист СССР, лауреат Государственной премии, профессор Владимир Вячеславович Белокуров» на двери гримборной приятеля листок: «Ежедневный прием от 500 до 700 граммов». Стены театра, говорят, содрогались в тот день от гомерического хохота.

Научная часть конференции была замечательной. Благодаря в первую очередь руководителю шекспировского семинара Аниксту. Слушая в уютном зале главного специалиста по Шекспиру, он думал: именно таким должен быть ученый-театровед, вообще любой исследователь. Литературы ли, театра, живописи, неважно! Энциклопедист, умница, знает о предмете решительно все и еще чуточку сверх того, и это «сверх того»: предположения, догадки, находки, открытия — и есть главное. Смысл работы, ее привлекательность. А какой язык, как формулирует мысль! Седовласый, с черными кустистыми бровями, безупречно одет.

— Уильям Шекспир, — расхаживал вдоль кафедры, — был человек театра. Свои драмы он предназначал не для читателей его собственного времени или тем более грядущих веков, а для зрителей театра «Глобус». Шумной толпы лондонского простонародья, от суда которого зависела судьба его комедий, трагедий и драматических хроник. Успех или провал «Гамлета», «Короля Лира», «Бури». Драма в шекспировскую эпоху только начинала формироваться как собственно литературный род. Произведения драматических авторов традиционно считались принадлежащими театру, только ему одному. Пьесы не воспринимали вне сценического представления. Шекспир видел в пьесах единственный материал для сцены и не стремился издавать их. Они часто попадали в печать помимо, а то и против его воли. Нередко тексты пьес попросту похищали, чтобы опубликовать их без дозволения трупп, которым они принадлежали. Так вышло, например, с «Гамлетом». Подкупленный издателем или конкурентами актер шекспировской труппы, игравший роль стражника Марцелла и еще несколько маленьких ролей, по памяти записал текст трагедии, и она была издана пиратским, как мы сейчас говорим, образом. Такой же была участь многих драматургов английского Возрождения. Но даже когда пьесы публиковались законно, это вызывало сопротивление сочинителей, не желавших, чтобы их произведения получали жизнь за пределами подмостков. Младший современник Шекспира Джон Марстон жаловался, что сцены, которые пишут для того, чтобы их произносили, вынуждают печатать для чтения...

В зале тишина, глухой шум проезжающих машин за окнами. Аникст отпивает воду из стакана.

— Заходите, товарищи, — приглашает толпящихся у входа участников конференции, сбежавших из других семинаров, чтобы послушать знаменитого литературоведа и теоретика западноевропейского театра. Ждет, пока вошедшие устраиваются вдоль стен.

— Актерское мастерство, — продолжает, — об этом Шекспир знал не понаслышке. Жизнь, проведенная на подмостках, научила его безошибочному чувству театральной

природы драматического сочинения. Структура его пьес определялась устройством театра. Поэтику шекспировской драмы нельзя понять вне системы условностей елизаветинской сцены. Сочиняя пьесу, Шекспир, в сущности, создавал театральное представление. Он в точности знал, как будет выглядеть на сцене «Глобуса» каждый момент действия, кто и как будет играть в пьесе, приспосабливал роли к свойствам дарования и внешности актеров. Поэтому нам не нужно удивляться, когда Гертруда в финале «Гамлета» называет принца тучным и одышливым: Ричард Бербедаж, для которого была написана роль Гамлета, был в тысяча шестьсот первом году, когда играли пьесу, господином весьма плотной комплекции. Заметьте, кстати, что главный герой трагедий Шекспира от пьесы к пьесе становится старше. Юный Ромео, затем тридцатилетний Гамлет, затем зрелые воины Отелло и Макбет, затем старец Лир. Герой стареет потому, что старше становится премьер труппы, он же главный ее пайщик...

Во время дискуссии зашел разговор об авторстве свода пьес, приписываемых Шекспиру, незатихающем споре страдфордianцев и нестрадфордianцев. Мог ли создать величайшие творения мировой драматургии выходец из простонародья, сын неграмотных лавочников? Автор, у которого так и не обнаружили ни одного экземпляра пьесы или сонета, написанных от руки, после которого не осталось ни одного подлинного портрета? Старшая дочь которого в двадцать семь лет не умела читать и писать. Оставивший завещание, в котором делается оговорка о подержанной кровати и большой позолоченной вазе и ни словом не говорится, кому завещается самое ценное его достояние — рукописи.

Аникст улыбался, слушая вопросы.

— Как, по-вашему, — спросил неожиданно, — «Илиаду» действительно написал Гомер?

Зал на мгновение затих, чей-то смехок в креслах.

— Я серьезно. Троя, как известно, пала в тысяча двести двадцать втором году до нашей эры, а Гомер жил много позже, в восьмом веке до нашей эры, был слепым, письменного изложения Троянской войны в его время не существовало. Кто-то, следовательно, устно должен был поведать ему об извивах и перипетиях грандиознейшего события древности, а он сочинить и удержать в памяти текст, который занял впоследствии, когда два величайших его творения были напечатаны, сотни страниц, более миллиона типографских знаков. В это можно поверить, скажите? Вы в это верите? Я — да! Объяснение всех этих парадоксов одно — гениальность сочинителя! И ничего больше. «Илиаду» и «Одиссею» написал Гомер. А «Гамлета» Шекспир. И — точка! — под громкие аплодисменты...

Несколько раз он видел мельком Радунского. Вылезавшего на тротуар из машины у центрального входа, бежавшего по коридору, покупавшего что-то в газетном киоске. В обеденный перерыв они закусывали в ресторане с Александром Петровичем Свободным, с которым он познакомился на семинаре. Ели наваристую селянку, говорили о недавно поставленной в «Современнике» пьесе Свободина «Народовольцы», о горячо обсуждаемой новости — уходе после серии разгромных статей с поста главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского. В ресторане было шумно — входили и занимали места, расплачивались с официантами, обнимались в проходе. Они курили за десертом, когда в дверях показалась рыжая шевелюра Радунского. Поискав кого-то глазами, вскричав: «От народа не скроешься!», тот устремился к столу у окна, за которым обедали Анатолий Эфрос и его сценическая муза Ольга Яковлева. Расцеловался с обоими, что-то стал говорить, склонившись над Эфросом (тот смотрел на него с тревогой), шепнул на ухо Яковлевой (актриса сделала вид, что падает в обморок), вскричал патетично: «Разрази меня гром, если это не так!», устремился к выходу.

— Лищедей! — посмеивался Свободин. — Не наигрался в детстве. Случись родиться в другие времена, гремел бы с афинских площадей, обаял красноречием толпу.

— А ведь талант, Александр Петрович.

— Талант замечательный. Дай срок, заткнет всех нас за пояс. Это он только со стороны такой, шалун-мальчишка. А хи-итренький.

11

Дома его ждал сюрприз: Юлия сообщила, что беременна. Смотрела вопросительно. Он не знал, что ответить, присел на диван.

— Я уже решила.

— Что именно?

— «Что именно». Рожать. Ты, конечно, против?

— С чего ты взяла?

— С того самого.

Пошла в спальню, хлопнула дверь.

Очередная война на истощение: перестаем разговаривать, ночуем у подруги. Настроение хуже некуда, дела валяются из рук. Сидел тупо у телевизора, накуривался до одури. Пил по утрам прокисший кефир, вырезал аккуратно ножом съедобные места из куска заплесневелого сыра. Обедал в соседней закуской: салат из огурцов-мутантов, тошнотворная мерзость с плавающими в коричневой жиже кусочками мяса, сизый студень под названием кисель.

О желании иметь ребенка разговора между ними не заходило. <...>

Близко общаться с детьми ему не приходилось. Арнольд с женой, тоже доктором наук, были бездетны, Боря только-только женился, тихо спивавшийся Гоша выплачивал алименты на троих детей, мальчика и двух девочек, рожденных от трех работавших у него в разное время натурщиц. Проходя вечерами по двору мимо огороженной канавкой детской площадки, на которой играли в футбол пацаны, он кивал в сторону сидевших под навесом женщин с колясочками, стоял минуту-другую, наблюдая, как спускают на бечевке с балкона на голову задремавшего уличного забулдыги дохлую мышь бандюги-дошколята Грызловы из тринадцатой квартиры, разрисовывавшие периодически углем стенки подъезда. Все это было постороннее, отвлеченный фон наподобие городского шума с магистрали. Шагнешь за порог квартиры, захлопнешь обитую дерматином дверь: тишина, ты в своем удобном, комфортном, привычном мире.

Ему к тому времени было тридцать три, Юлии тридцать девять. Ни разу за время их связи ему не приходило в голову поинтересоваться возрастом любовницы. Юлия выглядела молодо, моложе своих подруг, моложе, как ему казалось, его самого. Даже теперь, на пороге сорокалетия, ей нельзя было дать ее лет. То, что он женился на женщине старше себя, он узнал только во время регистрации в загсе. Увидел год ее рождения в раскрытом паспорте на столе сотрудницы, оформлявшей документы, поморщился: ничего себе новость! У сидевшей рядом Юлии было выражение студентки, пойманной на экзамене со шпаргалкой. Теребила замочек перламутрового кошелька на коленях, смотрела в сторону. Помятая, уставшая.

Неудобную тему о возрасте оба потом избегали, для друзей и знакомых (так было негласно решено) они были ровесники, предстоящие роды преподнесли как взвешенное, хорошо обдуманное решение. Юлия ходила на обследования, сдавала анализы. Внешних признаков никаких: стройная фигура, обтянутый животик. Разве что несколько темноватых пятен на лице, которые она усиленно припудривала.

Он накупил в научном отделе «Книжного мира» на Баумана кучу популярных брошюр по вопросам материнства и детства, читал, ставил на полях восклицательные знаки. Опасность для женщин, рожающих в немолодом возрасте, действительно была, на этом сходились все авторы, вероятность аномалий у рожденных ими детей была на порядок выше, чем у молодых.

Он написал матери: отговори жену от авантюры! Приехавшая спустя короткое время мать встала неожиданно на сторону невестки: правильно, умница, давно пора. Бабы в деревнях и за пятьдесят лет рожают. Крепенькая, здоровенькая, родишь, как из пушки.

Пас, девочки, развел он руками, поступайте как знаете. Только чтоб потом не кусать локти...

Думая о том времени, переживаниях, страхах за жену, за здоровье будущего ребенка, вспомнил с улыбкой: сам в какой-то момент почувствовал себя роженицей. «Зашевелилось что-то внутри, — рассказывал Боре. — Подташнивать стало по утрам. Клянусь!»

Был период возврата прежних чувств к жене. Бегал на базар, покупал домашнее сливочное масло, яйца, кислое молоко, рыбу, свежие овощи с грядки.

— Сиди, я сам, — говорил, когда Юлия делала попытку протереть пыль, вымыть полы.

— Лешенька, мне надо двигаться! — возражала она, смеясь. — Вспомни, что пишут в твоих брошюрах. Гимнастика, плавание, гулять каждый день. А то я жиром заплыву.

Приближалось время родов, что-то в ней неожиданно сломалось. Ушла в себя. Забьется в угол, молчит часами. Спросил о чем-то, замахала руками:

— Уйди, уйди, пожалуйста! Не мучь меня!

Вскочила среди ночи (он лежал рядом, нащупывал лихорадочно кнопку выключателя).

— Я боюсь! — закричала. — Позови маму!

— Хорошо, Юленька, — гладил он ей волосы, — утром я дам телеграмму.

— Какую телеграмму! — рвалась она из рук. — Мою маму! Мою!

Днем кормил ее с ложечки овощным супом, она сидела в рубашке на постели — осунувшаяся, с потрескавшимися губами. Протянул, предварительно подув, очередную порцию, она внезапно его оттолкнула.

«Ждите, сейчас приедем, — ответили, когда он позвонил в „Скорую“. — Приготовьте все для госпитализации. Паспорт, минеральную воду, домашние тапочки».

Обшарпанное строение за забором на улице Льва Толстого: роддом номер три. Регистратура, оформление.

— Оставьте сумку, гражданин! — подошедшая к окошечку старшая медсестра с побитым оспой лицом пробежала глазами содержимое папки-скоросшивателя, взяла под руку Юлию. — Идемте, больная...

Смотрел, как они идут по полутемному коридору, заворачивают за угол. Едва вернулся домой, сел за машинку с начатой рукописью, телефонный звонок.

— Квартира Цветковых? — возмущенный голос в трубке. — Говорят из роддома. Приезжайте немедленно!

Он похолодел:

— Что случилось? Что-то с женой?

— Сбежала ваша жена.

— То есть как сбежала?

— Так и сбежала. Ногами. Как люди бегают. Приезжайте, выясните все на месте. Мы уже милицию вызвали.

Ее нашли недалеко от дома, на автобусной остановке. Корчилась в схватках, кричала, валяясь на тротуаре. Случайные прохожие пробовали вызвать «скорую», бро-

сали в телефон-автомат «двушки», автомат заглатывал монеты, давал отбой. Привез ее в роддом спешивший куда-то по вызову, остановленный посреди дороги людьми водитель автомастерской. Несколько прохожих забрались в крытый кузов, уложили обезумевшую от болей женщину в замызганном халате на какую-то ветошь, держали за руки.

Он встретил ее у ворот, бежал по ступенькам за санитарями, тащившими ее на носилках в приемный покой.

— В операционную! — приказала встретившая их на пороге старшая медсестра. Обернулась в его сторону: перекошенное лицо, вот-вот укусит.

— Почему вы здесь? — рявкнула. — Немедленно выйдите!.. Привезли хулиганку! — кричала вслед. — Мы будем писать на вас жалобу!

Он просидел на скамейке всю ночь. Утром соседка по Юлиной палате замахала ему из окна, бросила в приотворенную форточку карандашную записулку: «У вас девочка, все в порядке».

Стоя в замусоренном палисаднике с пожухлой травой, он облегченно, счастливо заплакал.

«Образцово-показательный отец», — шутил над ним Боря. Ездит двумя троллейбусами в пункт детского питания райздрави, сдает на кухне мытые бутылочки, стоит в очереди, везет домой авоську ацидофилина и детской смеси. Катает по утрам за домом, куда еще не добралось солнышко, коляску с младенцем, заглядывает озбоченно под козырек, щупает: не мокро ли внутри, покачивает плачущую малышку на коленях. Тот самый Алексей Цветков. Невозмутимый, лишенный сентиментальности, с внимательным, цепким взглядом. Купает с женой дорогое чадо в ванночке, измерив предварительно градусником температуру воды, делает клизмочки, когда ребенок мается животиком, лечит потничку на попке настоем марганцовки и ромашки. Изменился до неузнаваемости. И все благодаря равнодушно глядящей куда-то мимо него, державшего ее на руках, спеленатой в кружевной подарочный «пакет» лысенькой трехкилограммовой марсианке с головкой-тыквочкой и разноцветными глазками, пускающей периодически в пространство живописные пузыри.

Историю с бегством Юлии предали забвению — в роддоме и не такое случалось. Выдали больничную выписку, принимавший роды врач-акушер со старшей медсестрой и обитателями палаты съели по куску киевского торта, купленного им из-под полы в центральном гастрономе, пожелали здоровья и счастья новорожденной. Боря домчал их за рулем «Волги» домой, где марсианку ждала в спальне персональная выгородка за ширмочкой с застеленной кроваткой, над которой висел намалеванный им плакатик: «Здравствуй, моя девочка!»

Потекли будни не очень молодых родителей. Освоение процедуры отрыгивания. По-о-гла-аживаем после кормления круговыми движениями спинку — хлоп между лопаточек. Ура, наша радость! Черета прививок. Против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, спустя какое-то время — от кори, краснухи, свинки.

Переживания: не растут зубки. Пяточки вроде бы без выемки, не плоскостопие ли? Простудилась, кашляет, как быть? Тонзиллит. Плачет без видимой причины, отчаянно, на крик. Колика? Недоедание?

В годовалом возрасте эпопея с поиском няни. Рекомендации знакомых, чтение невразумительных рукописных наклеек на стенах домов. Выход на представительниц маргинальной секты бытовых мучительниц, остроумно высмеянных Аркадием Райкиным в известной телевизионной миниатюре. Изматывающие переговоры, увещевания,

согласное кивание головой в ответ на чудовищные условия. Как ушат воды в конце встречи: «Нет, не подойдет».

Выручил, как бывало не раз, Арнольд. Ушла на пенсию давняя его знакомая, библиотечкара Института истории и археологии, нянчит детей. Удобно: живет в их микрорайоне, однокомнатная квартира, пять минут ходьбы.

Библиотечкара Клавдия Тимофеевна произвела при встрече хорошее впечатление. Интеллигентная, в доме книги. Провела в столовую: на ковре среди разбросанных игрушек лазят двое малышей в ползунках. Заулыбались вошедшим. Кариночка и Валерик. Очаровашки.

— Возьму, пожалуй, еще одного, площадь позволяет, — Клавдия Тимофеевна достала из пачки папиросу «Беломора», закурила, пошла на кухню. — Курю, как видите, в форточку, — встала у окна. — Завтра можете привезти ребенка.

Выйдя на лестничную площадку, они обнялись: ура, живем! Не готовит еду? Ерунда, будем приносить свою. Даже лучше: знаешь наверняка, чем питается ребенок. Варили, вернувшись после работы, бульончики, каши, мясные фарши, натирали теркой фруктовые смеси. Все стерильное, баночки и бутылочки мытые-перемытые, трижды ошпаренные кипятком. Лилечку забирали по очереди в семь вечера, гуляли час-полтора в соседнем сквере. Как-то в один из дней он рано освободился, зашел в знакомый подъезд, поднялся по лестнице, собрался позвонить: что за фокусы — дверь не заперта! Шагнул за порог в прихожую, уставленную колясками.

— Клавдия Тимофеевна! — позвал.

Тишина.

Заглянул на кухню: библиотечкара спала, сидя на табуретке. На застланном клеенкой столе бутылка портвейна, стакан, переполненная окурками пепельница.

Взволнованный, он рванул в гостиную: никого. Похолодел от мысли: «Уползли на улицу! Украли цыгане!» Побежал было к выходу, остановился от приглушенного детского лепета за приотворенной дверцей чуланчика в конце коридора.

Увиденное в полутемном, заваленном хламом закутке не поддавалось описанию. На цементном полу, среди насыпанной в углу картошки и репчатого лука лазали с вымазанными физиономиями, грызли хищно редкими зубенками заготовленные на зиму овощи Кариночка, Валерик и радостно улыбнувшееся в его сторону ненаглядное чадо.

Парадокс: все обошлось как нельзя лучше, никаких последствий! Ни ожидаемой дизентерии, ни сальмонеллеза, ни других страшных вещей. Простого поноса не было. Весела и здорова малышка.

Всякий раз потом, готовя загодя еду ребенку, они выразительно переглядывались.

— Сырая картошка, Леша! — не выдерживала первой Юлия.

Валилась на стул, махала в приступе смеха руками.

— А мы кипятком! В салфеточки заворачиваем! Ой, не могу!

Позвонил Боря: срочно надо собраться — неладно с Гошей. Запер на замок квартиру, передал какому-то мазилю мастерскую на Большой Красной, уехал в деревню.

Сидели за столом, курили, думали, как быть.

— Деревня? Что-то новое.

— Кризис. У художников бывает.

— Как бы не горячка.

— Чего попусту гадать? — подал он голос. — Поедем, разберемся на месте... Что за деревня?

— Вроде бы Пестрецы. Этот мазила к нему уже ездил. Вozил масло и кисти.

— На горячку не похоже, — пошел одеваться Боря. — Едем, ребята. Это недалеко, час езды. В сторону водохранилища.

День был ни к черту. Моросил дождь, дорога — сплошное месиво. «Волга» буксовала, норовила съехать в кювет, Боря за рулем тихо матерился. К окраинным избушкам деревни на берегу извилистой речки подъезжали в ливень и туман. Поплутали по безлюдным улочкам, увидели вывеску «Сельмаг». Закусывавшая за прилавком молоденькая продавщица-татарка, услышав про художника из города, вышла с ними на крыльцо, показала в сторону церквушки у подножия холма:

— За ограду Святой Троицы заедете и направо. Там всего один дом. У гончара Василия живет.

Засмеялась:

— Непьющий художник. Чудеса!

К дому гончара подъезжали в молчании. Одинокое строение с сараем возле оврага, калитка, двор, хлещет из водостока в металлическое корытце у крыльца вода.

Постучали.

— Вам кого? — появился на пороге мужичок в галифе и майке. — А, Георгия Николаевича? Работает, — сообщил уважительно, — просил не тревожить. Проходите в дом. Обувку только помойте, — показал на корытце. — Тряпочка вот... — снял с оградки и протянул кусок мокрой мешковины.

Прошли гуськом через темную прихожую, вошли в горницу. Чисто, уютно. Беленая печь до потолка с лежанкой, стол под цветастой клеенкой, на стенах фотографии в рамках, на подоконнике герань в горшках.

— Василий, будем знакомы, — по очереди жал руки хозяин. — Почетный мастер-гончар. — Пошел за занавеску, вынес глиняный жбанчик. — Вот, кваску медового отдайте, — разлил по стаканам. — Свежий, только забродил.

Отхлебывали сладковатый квасок, переглядывались:

«Работает, не беспокоить». Черт-те что.

Хозяин делился мнением о постояльце. Святой человек: не пьет, не курит. На храм пожертвовал, службу выстаивает по утрам. Батюшка, отец Паисий, так и сказал прихожанам: святой человек, берите пример, погрязшие во грехах!

— Дела, — озабоченно заходил по горнице Арнольд.

— Может, ошиблись, не тот художник? — предположил Боря.

— Тот, кто же еще. Что-то мне, ребята, не по себе... — Арнольд озирался по сторонам. — А вы сами, Василий, — обратился к хозяину, — того, водочку приемлете?

— Да приемлю, граждане! — с чувством отозвался почетный гончар. — Как в нашем деле без водочки? В мастерской холод лютый, глина, вода. А нельзя, святой человек рядом. Смотрит жалеючи: грех, брат Василий, воздержись. Вторую неделю квас проклятый пью. В животе урчит, каждый час до ветра бегаю...

В прихожей в эту минуту раздалися шаги — Арнольд уверял впоследствии, что видел в дверном проеме сияние. Через порог шагнул в холщовых штанах и заляпанном краской переднике бледный отрок с кроткой улыбкой, отдаленно напоминавший Гошу, следом юркнул у него между ног взволнованный красавец петух в ярком оперении.

— Милые вы мои! — протягивал руки гостям художник. — Арнольд Моисеевич, дорогой! Боренька! Лешенька славный! Бог мне вас послал...

Дело оказалось сложнее, чем они думали. За полдником с макаронами и квашеной капустой Гоша изложил новое свое понимание живописи и путь, которым отныне намерен следовать.

— Кто я есть, ребята? — говорил печально. — Без балды? Копиист. Лезу из кожи вон, чтобы у меня на холсте дерево было похоже на дерево, голая баба на голую бабу. Для чего, скажите? Пойди лучше в лес, смотри на живое дерево, в постели на голую бабу.

Погладил по спинке нервно перебиравшего шпорами петуха, бросил макаронину. Петух торопливо застучал клювом, разбросал вокруг ошметки, заглотал, уставился, скосив башку, на благодетеля.

— Ненавижу себя, Арнольд Моисеевич. Сжег бы все, что написал. И по ветру развеял

— Слушай, друг, — не выдержал Боря, — ты тут в деревне, случайно, Кьеркегора не штудировал?

— Кого? — не понял тот.

— Какая муха тебя укусила! — прорвало Арнольда. — Живописец от Бога! Фигура- тист, каких поискать! С кустодиевским взглядом на мир. Мямлит не пойми что! У тебя же краски на холстах поют. Четыре работы в Республиканском музее искусств, одна в Третьяковке. А ты нам тут экзистенциалистскую балду разводишь. Маразм какой- то! Давай показывай, чем ты тут занимаешься. Отшельник хренов!

— Идемте, ребята.

Перекрестившись в сторону иконки-поставца на тумбочке, Гоша пошел к двери, следом, трясая малиновыми сережками, озабоченный петух, за ними остальные.

Миновали сени, вошли, озираясь, в пахнувший овечьим пометом прируб с мут- ным окном, по которому стекали дождевые змейки. Ящик с красками на лавке, кисти в ведерочке, мольберт на треноге. Прямоугольная, в рост человека доска. С чем-то полыхающим, пляшущим, хохочущим, рыдающим, ерничающим, молящимся. Ско- пище масок, полуобнаженные мужские и женские фигуры, одна с лицом продащи- цы-татарки из сельпо. Ослиная морда с ощеренными зубами, опрокинутые фонарные столбы вдоль тротуара, магазинная вывеска над аспидно-зеленой будкой: «Жди от- стоя», петух в тесной очереди с трехлитровой банкой под мышкой. И все это лишь от- ражение в мастерски написанном трюмо с ажурным орнаментом и вдребезги разбитым зеркалом с расходящимися в стороны лучиками треснувшей амальгамы. Ощущение непередаваемое: с одной стороны, картина-«обманка», боязно дотронуться (порежешь руки!), с другой — абстракция, хаос: распад вселенной, шабаш похотливых чудовищ в экзотических джунглях, глумление над жертвами, крики о помощи, потеря ориен- тиров, неверие в возможность спасения, скорый конец — но нет! — витает над все- ленским безумием лучик надежды: ангел-спаситель с просветленным чудным лицом, простерший руки к тонущей родной Атлантиде человечества...

Шуршали в углу мыши, стучал по крыше дождь, расхаживал по-хозяйски из кон- ца в конец мастерской сошедший ненадолго с доски подкормиться экзистенциаль- ный петух.

— Название придумал? — нарушил молчание Арнольд.

— «Театр», Арнольд Моисеевич.

Гоша подошел к картине, мазнул пальцем в одном месте, в другом.

— Помните, вы рассказывали про эту самую... как ее?

— Элеонору Дузе.

— Ага, про нее. Про людское поголовное притворство. На сцене, в жизни, где хо- чешь Люди вправду заигрались, не видят ни хрена вокруг, не думают. Веселятся, в гре- хах погрязли. А пропасть — вот она, в двух шагах.

— Этот, летящий. Удержит, по-твоему, нас на краю?

— Не знаю, Арнольд Моисеевич. Он хоть и ангел, но и сам вроде играет роль. Как все мы.

— Василий, — повернулся к высунувшемуся в дверь мастерской хозяину Арнольд. — Это самое. Небольшая просьба, если не трудно...

— Да готово все давно, мил человек! — возликовал почетный гончар. — Милости прошу к столу...

Проснулись на другой день близко к полудню. В окошках муть, стук дождя за стеной, в головах монотонное непереносимое перемалывание мозгов.

— С пробуждением, граждане! — бодрый оклик хозяина. — Подзаправиться не грех...
Георгий Николаич в мастерской. Просили не беспокоить. Опохмелился спозаранку, и за работу. Святой человек.

12

Мололи жернова жизни, бежали дни. Росла дочь: умненькая, находчивая, за словом в карман не лезет, вся в папу. Училась с ленцой, пропадала вечерами у подруг, вела дневник, который запирала на ключ в прикроватной тумбочке: личная жизнь — мое достояние, посторонним вход воспрещен. Притащила с улицы слепого щенка: бездомная мать-дворняга умерла при родах, выжил только этот полудохляк. Поили пописывающего сироту с болтавшей на розовом пузике пуповиной молоком из пипетки, укладывали на ночь на подстилочку в спальне. Подстилочка найденыша, названного Рикки, не устраивала, спавший у себя в кабинете Цветков просыпался среди ночи от жалобного завывания под диваном-кроватью: «А-а, а-а!» Брал теплый шерстяной комочек в постель, укладывал в ногах, песик успокаивался, затихал, но утром неизменно обнаруживался уткнувшимся мордочкой ему в щеку, сладко посапывающим во сне.

Жилось терпимо: оба неплохо зарабатывали, оставалось кое-что на сберкнижке. Каждое лето поездка на отдых в дома творчества ВТО: в Ялту, Мисхор, в Щелково под Москвой. Не отказывали себе в питании, домашняя техника новейших марок: зиловский холодильник, пылесос, полуавтоматическая «Аурика» вместо терзавшей в клочья белье «Вятки», в гостиной цветной «Рубин-401» с широким экраном, радиолы «Ригонда». Прилично одевались: у него два чешских костюма, один повседневный, другой на выход, Юлия покупала дорогие отрезы в комиссионке, шила платья на дому, у театральной портнихи, дочь-семиклассница щеголяла в школе в джинсовой паре: не какое-нибудь самострочное фуфло — «Ливайс» с фирменным лейблом на юбочке.

Тринадцатилетняя Лялька, как звали они ее между собой, играла в доме главную роль. Отлично эту роль усвоила и мастерски пользовалась. Вовлеченная волей обстоятельств в родительские склоки, принимала сторону то одной, то другой стороны, извлекая всякий раз при этом пользу для себя.

Юлия посвящала ее в отцовские измены, истинные и мнимые. Готовясь выяснить с ним в очередной раз отношения, ждала всякий раз возвращения дочери. Хватала нервно за руки, кричала в его сторону:

— Полюбуйся на любимого отца! Спит с массажисткой из спортивной поликлиники! Ни стыда, ни совести!

Лялька вела себя по-разному. Выразительно морщилась, говорила:

— Мальчики-девочки, вам не надоело? Смените пластинку!

Шла на кухню, кричала оттуда:

— Пожрать в доме бедному ребенку что-нибудь найдется?

Была родной, близкой, смешной. Забиралась в домашнем халатике к нему на диван, клала голову на колени:

— Расскажи что-нибудь. Про дядю Борю. Правда, что он лупит свою Изольду?

Приступы дочерней любви совпадали часто с желанием что-либо заполучить. Ручные часики («Полкласса носит, одна я как сирота»), приемник «Спидолу», итальянский купальник, как у Каринки («В коммиссионке на Ленина еще висят. Папк, ты же премию за книжку отхватил. Не жмись!»), согласие отпустить в субботу в однодневный поход на байдарках по Каме, против которого возражает мать. Что-то еще требующее его вмешательства.

И — крутой поворот. Пролетает мимо, вернувшись из школы: шмыг к матери. Сидят в креслах, листают увлеченно свежий номер «Журнала мод» с Мариной Влади на обложке в коротком платье выше колен.

— Мам, давай отхохлим, — слышится из спальни. — Оденемся в мини-юбки. Во всем мире давно ходят.

— С ума сошла!

Вчера была папина дочь, сегодня мамина.

Он возвращался поздно вечером после прогона «Губернатора провинции» братьев Тур в Русском драмтеатре, заглядывал в гостиную. Лялька за столом, делает уроки. Нагибался, собираясь поцеловать в макушку, — она отшатывалась, толкала руками:

— Отойди! От тебя пахнем свиарником!

Расстроенный, шел к себе, слышал за спиной:

— Возвращайся к своей массажистке! Навсегда!

Черт его попутал с этой массажисткой. Растянул на теннисном корте голеностоп, Арнольд позвонил знакомому главврачу спортивной поликлиники в соцгороде, тот: «Пусть приезжает, поможем». Назначили курс массажа, все тип-топ. В последний день заболела занимавшаяся ногой Нина, он попал к другой массажистке, Вале. Веселая, крепенькая, капельки пота на лбу. Массировала голеностоп, втирала мазь, натянула эластичный чулочек. «Встаньте! Походите! Не болит? Чудненько!» Мыла руки над раковиной и как бы между прочим:

— Проводили бы даму. У нас на Сухой речке хулиганье — ужас просто!

— Чего там, провожу, конечно, — он в ответ.

— Спасибо за прекрасный вечер, — поцеловала на пороге, прощаясь.

Кому от этого жарко или холодно? Было, не было. Эпизод, миг. Так нет, какая-то сволочь позвонила Юлии на работу, сообщила в подробностях о связи Алексея Юрьевича с массажисткой спортполиклиники. Теперь бейся об стену, объясняй, клянись. Встретил бы гадину, убил, не задумываясь.

— Думаю о Гошином ангеле, — говорил Арнольд. — Обратили внимание? — глотнул из кружки. — Он его предельно очеловечил. Крылья едва обозначены, домотканый балахон до пят, славянские черты лица. Не низверженный Всевышним на землю за связь с сатаной сподвижник, как в Библии или у Мильтона, напротив, посланец неба, снаряженный с благой целью — помочь заблудшему человечеству, вывести его к свету. И все на уровне интуиции, подкорки. А? Гений, гений...

Пили в воскресный день пиво в «стекляшке» на территории Кремля, шутили, спорили.

В промерзшем насквозь помещении с опилками на полу было шумно, накурено. Распахивалась временами заледенелая дверь, через порог шагали, впуская снежную поземку, новые посетители.

— Анекдот о Василии Ивановиче хотите? — посмеивался Боря.

— Давай.

— Чапаев ездил поступать в военную академию. Петька ему: «Василий Иванович, ну как? Все сдал?» Чапаев: «Нет, не все, Петька. Кровь сдал, мочу сдал, а математику не сдал».

Посмеялись.

— Еще по кружечке?

— Естественно.

— Галимзян, три кружки!

— Подогреть?

— Не надо!

Текла беседа. Мотыль, «Звезда пленительного счастья». Киношедевр, с какой стороны ни посмотри. Актеры, музыка. Сцены наверняка строились и монтировались по партитуре Шварца... «Бульдозерная выставка». Олжас Сулейменов. Книжку о туркизмах в «Слове о полку Игореве» вроде бы запретили, академик Рыбаков выступил против.

— Как вам наш дорогой Леонид Ильич? — Боря с усмешкой. — Маршал Советского Союза!

— Маршал так маршал, — отзывался он, грызя соленый сухарик. — Ну нравится человеку. Вам жалко? Лишь бы не было войны, как любила повторять моя бабушка. <...>

— Галимзян, еще три кружки!

— Вот ты, Леша, у нас спец, — как всегда, с подначкой Боря. — Объясни темным людям, что творится в театре? Что ни пьеса, варят сталь, заседает партком, Ленин пишет завещание партии. Бытовщина, зубы ломит!

Он в ответ:

— Ну зачем, не все так мрачно. Арбузов жив, Вампилова ставят. У нас в Казани, кстати, идет его отличная вещь «Прошлым летом в Чулимске», советую посмотреть. Живые люди, страсти кипят. Радунский новую вещь написал. О декабристах.

— А-а, твой кумир.

— Кто тут о театре? — голос за спиной.

Мать твою! Этот, как его, Васильщиков (Или Красильщиков?). Из Русского драмтеатра. Амплуа положительного героя. Ходит по пятам, житья не дает: хоть парочку строк об его творчестве. Выпивоха, по роже видно.

— Не помешаю? — покачиваясь.

— Милости просим.

Все трое дружно закуривают.

— Место актера в кабаке, — с наигранной интонацией. — Выпить, закусить... — Красильщиков (или все же Васильщиков?) озирает замусоренную стойку со шкурками сухого леща. — Поговорить, душу излить...

— Галимзян, еще кружку!

— Готово, прошу!

— Вот вы, уважаемый Алексей Юрьевич, — положительный герой пьет из кружки, морщится, — видели меня в «Прошлым летом в Чулимске», так? В роли бухгалтера Мечеткина.

— Видел. Вас тоже.

— Вот! — Васильщиков (скорее всего, так) выразительно поднимает палец. — «Вас тоже». Слышали, уважаемые? Какой отсюда следует сделать вывод? А вывод следует сделать такой. Уважаемому критику Цветкову актер Гречишников («ну, слава богу!») несимпатичен.

Гречишников отпивает половину кружки, вытирает рукавом пальто губы.

— Убог, мерзок!

- Ну чего вы так? — он морщится. — Ничего похожего. Играете достаточно сносно.
- А в рецензии ни полсловечка, — взъерошил волосы Гречишников. — Не удостоили.
- Смотрите, удостою — не поздоровится.
- Скосил глаза на приятелей: отчаливаем...
- Галимзян, счет, пожалуйста!

Шли по набережной, подняв воротники. Над замерзшим затоном с впаянными в лед судами стоял туман, мутно проглядывал над дальним лесом солнечный белесый диск.

— Актер-актерычи! — с чувством говорил он. — Ни черта со времен Островского не изменились. На подмостках властители дум, а в жизни мелочны, завистливы, глупы как пробки.

- А я чего говорю, — соглашался Арнольд. — Куклами заменить.
- Опять ты со своими куклами.

Ехал в микрорайон троллейбусом. За окном сугробы снега, ледяные сосульки на карнизах домов. Шел от остановки.

- Папка! — услышал.

Навстречу катили на лыжах Юлия с дочкой: обе в спортивных костюмах, вязаных шапочках. Раскрасневшиеся, радостные.

— Папк, бери лыжи и к нам... — у Ляльки прерывистое дыхание, пар изо рта. — С горок покатаемся!

- Хорошо, я сейчас.

— Кофе долей, — протянула ему Юлия миниатюрный китайский термос. — В кофейнике на плите. Сахару только добавь.

Он смотрел на нее: красивая до чего баба, не дашь пятьдесят три.

- Ты чего? — усмехнулась она.

— Влюбился! — кричала Лялька. — По глазам видно.

Он ехал в лифте на шестой этаж, улыбался. На душе было радостно, тепло.

13

В Коктебель с Лялькой его привела литфондовская путевка — подарок приятелей к сорокапятилетию. С женой к тому времени отношения окончательно испортились, и перетягиваемая непримиримыми сторонами, как в «Кавказском меловом круге» Брехта, дочь оставалась единственным связующим звеном развалившейся, по сути, семьи.

Исчезнуть на время из дома было благом. Начало июля, два безмятежных месяца у ласкового моря с любимым чадом, покой, вечерний теннис с победительницей Уимблдонского юношеского турнира, ходящий вокруг да около Радунский, ищущий пути для знакомства, интрижка с увлекающейся йогой экзотической поэтессой из Калмыкии Гиляной Дунгэ.

На узкоглазую поэтессу он обратил внимание не сразу. Мелькала в литфондовской толпе степнячка в цветастом платье до щиколоток, водила за руку диковатого мальчонку, следом тащились, переговариваясь по-своему, старомодно одетые старуха и старик с тростью. Появлялась степнячка с мальчишкой-волчонком на пляже в смелом купальнике — черноморский загар был бессилен против желтизны ее кожи. Тащила брыкавшегося бутуза по галечнику, окунала с головой в воду — мальчишка отплевывался, орал как резаный на весь пляж. Пришла как-то вечером на теннисный корт, публика ахнула: ярко-алый хитон, серебряное монисто на шее, босая!

В тот день он проиграл Дмитриевой с разгромным счетом. С трудом взял один гейм в трехсетной партии. Был раздражен, быстро собрал ракетки, махнул рукой болельщикам, ушел к себе.

— Папк, ну чего ты? — успокаивала Лялька. — Как маленький. Ну, проиграл. Выиграешь завтра.

Он выпил пива из холодильника: бутылку, другую. Жевал рассеянно в столовой за ужином, уловил внимательный взгляд степнячки. Та сидела за дальним столиком в нише с сыном и стариками, держала в руках раскрытую книгу.

— Ты иди, я погуляю немного, — сказал, выходя из столовой, дочери.

Шагал по скупой освещенной аллее, скорее почувствовал, чем увидел сидящую на скамье женщину. Это была она. Прошел бы, не остановившись, не дополнил коктейльская ночь серебристо-розовой постели на полускрытый в тени акации абрис восточного женского лица. Вспыли в памяти картины из любимых в юности романов Яна: огни степных становищ, дымки над юртами, посвист ветра в камышах. Ощеренные в беге низкорослые кони со стелющимися на ветру гривами, всадники в замасленных халатах с перекинутыми через седла невольницами из недружественных улусов...

— Вы поэт? Прозаик? — прозвучал со скамейки голос.

— Ни то, ни другое, — подошел к ней. — Добрый вечер. Театральный критик.

— Театральные критики курят? — она подвинулась. — Садитесь.

— И курят, и пьют, — он присел рядом. — Некоторые женщинами увлекаются.

«Будет продолжение», — мелькнуло в мыслях.

— Некоторые — это, конечно, не вы.

— Почему же. Бывает, что и я.

Она звонко рассмеялась.

— Какие у вас сигареты?

Он протянул ей пачку.

— А, «Плиска». Мои любимые.

Он чиркнул спичкой.

— Прячусь от свекра и свекрови, — она глубоко затынулась. — Не разрешают курить. И вообще. Следят.

Затоптала каблуком сигарету.

— Хотите послушать стихи?

— Да, конечно, — поторопился он с ответом («Терпение, Цветков»).

— Короткое, два четверостишия. Только без комментариев, хорошо? Послушайте, и все.

— Слушаю и повинуюсь.

— На склоне лет, в закатный час, — начала она, — спадут внезапно шоры с глаз, и встанешь ты в смятенье. Где ж чудо, что дарило свет? Его иль не было, иль нет? Лишь пустота и тени...

Голос был чистый, грудной, она тщательно округляла согласные...

— На склоне лет, в закатный час, спадут внезапно шоры с глаз, и брызнет свет горячий, — она смотрела куда-то мимо него в пространство. — Растают тучи, словно дым, и ты поймешь, что жил слепым, но что уходишь зрячим...

Глянула исподлобья.

— Вам ясно, что у нас будет роман?

Он обнял ее за плечи, они стали целоваться.

— Гиляна! — позвали из глубины аллеи. — Гиляна!

— Все, убегаю, — сжала она ему руку. — Увидимся...

Побыть наедине не удавалось. У него в комнате глазастый страж, получивший наверняка инструкцию от маменьки следить за беспутным отцом, у Гиляны охрана из свекра и свекрови, помнивших времена, когда заблудшую жену волокла по проселку на веревке несшаяся вскачь упряжка лошадей.

Ограничивались минутными встречами: в столовой, на пляже, на корте после игры. Перед тем как попрощаться, она совала ему записку. Писала, что хочет осознать истинную свою природу, добиться единения ума, тела и души. «Отец философии йоги Патанджали, — читал, — учит обуздывать волнения, присущие уму. Но как это сделать, дорогой, когда ты рядом, в моей ауре?»

Первой почувствовала неладное Лялька.

— У тебя странное лицо.

— Какое именно?

— Другое.

Не спускала глаз.

— Ты куда?

— Прогуляться.

— Я с тобой.

Лялька ладно, Радунский! Засуетился: минуточку, что это у нас такое творится? Провинциал, не пойми кто, уводит из-под носа желтолицую Чио-Чио-сан из восемнадцатой комнаты. Непорядок, девочки-мальчики, выходим на тропу войны. Он обольщает слабый пол посредством ракетки, мяча и икроножных мышц, а мы, мальчики и девочки, слушайте и не говорите, что не слышали, будем завоевывать свечением таланта, умом, обаянием. Голосом и взором, как писал поэт...

«Ревнуйте, Лешенька, — читал он в очередной записке. — Радунский подарил мне сборник своих пьес. Знаете, как надписал? „Вы загадка, очень хочется разгадать“».

Мужская половина дома творчества приподнялась с лежачих. Гляди, братва, баба-то, баба! Как это мы, олухи царя небесного, не разглядели? Одна, без мужа. Подъем, мужики, промедление смерти подобно...

На центральной аллее после ужина оживленная компания вокруг скамьи, на которой дымит сигаретой нектати свалившаяся в семейное по преимуществу коктейбельское тюленье стадо экзотичная Гиляна Дунгэ с кошачьей улыбкой на губах.

Женщины, проходя мимо:

— Видели?

— Ужас!

— Куриная слепота, у них это бывает...

— Опять? — возмущенно вопрошала Лялька. — Прогулочки, закоулочки?

— Ну чего ты, в самом деле, — обнимал он ее за плечи. — Дурашка. Это же дом творчества, люди общаются друг с другом. Ничего такого нет, уверяю тебя. Она поэтесса, читает мне стихи, просит оценить.

— Поэтесса? — изобразить подобным образом ужас от услышанного могло только любимое чадо.

— Представь себе. И очень неплохая.

— Все, мне нечем дышать, я иду на воздух!

Устроила на другой день скандал.

— Заврался! — кричала. — Ни слова правды! О вас все вокруг говорят!

— Не слушай глупцов.

— Она же желтая! Глаза уски, кусает лягуски!

— Замолчи! — топал он ногами.

— Сам замолчи! Изменщик!

Гиляна пошла ва-банк. Появилась утром на пляже с сынишкой, увидела его с Лялькой на привычном месте, замахала рукой. Подошла, бросила рядом махровый халат. Открытый купальник, крашенные ногти на ногах.

— Доброе утро! Как вода?.. Джангарчик, — поцеловала выглядывавшего из-за плеча голоштанного волчонка, — поищи маме камешки. С дырочками, как вчера...

Глянула на лежавшую на надувном матрасе Ляльку.

— Вы Лиля, так? Папа говорил...

Та смерила ее ледяным взглядом.

— Что вам еще говорили про меня?

Пошла, не оборачиваясь, к воде, нырнула, поплыла.

— Свекор со свекровью не дают житья, — говорила с тоской Гиляна. — Где была, почему задержалась? Грозят написать мужу... Я плохая дочь Патанджали, милый, у меня эгоистические желания, я не могу их смирить...

Шаставший по галечнику голозадый волчонок, за которым он следил, неожиданно споткнулся, упал, громко завыл. Добежав, он схватил его под мышки, тот, продолжая орать, больно цапнул его за палец.

— Я схожу с ума, Леша, — смотрела она на него с мольбой. — Придумай что-нибудь!

Голова шла кругом. Остановил в коридоре телевизионщика Валеру:

— Можно к вам на минуту?

— Милости прошу, всегда рад!

Не получалось сказать начистоту, ходил вокруг да около. Мужская планида, черт ее дери. Есть женщина, нет хаты. Есть хата, нет женщины.

— Алексей Юрьич! — возопил Валера. — Ну, будет вам! Ну, понятное же дело! Кому-кому, а вам! Нет проблем. Погуляю, в Судак смотаюсь. Там у меня приятель в пансионате, давно зовет. Скажите только когда...

Лялька мыла в субботу голову в общей душевой. Он предупредил Валеру, чиркнул записку Гиляне: в субботу, после полдника. Седьмая комната главного корпуса, дверь будет не заперта.

— Ключ под половиком, — шепнул, дожидаясь его после утренней разминки на корте, по-дорожному одетый Валера с вещмешком на плече. — Будете уходить, откроете форточку. Все, отчаливаю, — пожал руку. — Удачи!

Он потом сравнивал: лучшей женщины у него до этого не было.

Через три дня она уехала. Он играл на корте с Дмитриевой, пришло много народу. Увидел краешком глаза, производя подачу: по аллее, к стоявшему у ворот такси, несет чемодан и сумку молодой азиат в чесучовом костюме и шляпе, следом Гиляна за руку с сынишкой и плетущиеся старики. Взвыл мотор, Аня мягко отбила укороченным ударом мяч, он побежал к сетке, понял, что не успевает, остановился, со скамеек аплодировали. Гул взбравшейся к верхнему поселку машины затихал, на главной аллее затеплились фонари, царапнуло отчетливо раз и другой в мембране репродуктора на столбе, грянул, понесся в тысячу первый раз над вечеряющим побережьем — таа-тата-та-та-та-таа — «Полонез» Огиньского.

— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, — дергала за мизинец Лялька. — А если будешь драться, я буду кусаться!

— Я тебя сейчас так кусну, поросенок, — делал он зверское лицо, — своих не узнаешь!

— Ой, испугалась!

Он приходил в себя: мир с дочерью, кончились косые взгляды и ухмылки на пляже и в столовой. Встревожившаяся было, обязанная следить за поведением отдыхающих администрация, по-видимому, успокоилась: случай среди творческих людей не столь уж редкий и в принципе не вопиющий, сигнализировать руководству необязательно. Все опять как прежде: перекачивает лениво по галечнику черноморская волна, на лежаках вдоль пляжа загорелые тела, шагают сверху прибывшие из Севасто-

поля туристы в войлочных и соломенных шляпах, совершающие пеший поход по карадагской экологической тропе. Теннис, разговоры с Валерой, вежливо прикладывающийся к шляпе Радунский. И время от времени, без повода, мимолетной тенью, женщина с лицом из восточной гравюры, проскальзывающая змейкой в приотворенную дверь...

Культурорганизатор Зоя объявила за завтраком: в среду поездка автобусом в Старый Крым, желающие могут записываться.

Лялька на весь зал:

— Едем, ура! Там Грин жил!

Выехали рано утром, по холодку, час с лишним тряслись по бездорожью в нутно ревевшем, плевавшемся из-под капота кипятком ЛИАЗе на сползавших из-под задниц сиденьях.

После пыльного Коктебеля зеленый городок в отрогах крымских гор показался уютным, милым. Вышли, разминая затекшие ноги, на центральной площади, пошли за Зоей между потемневших от времени одноэтажных домиков из известняка. Каменные чаши фонтанов по дороге, высохшие, по словам Зои, с началом разработок каменных карьеров на склонах горы Агармыш, уничтоживших питавшие город водные ключи. Музей этнографии с верстовым столбом екатерининских времен в прохладном дворике. Мечеть хана Узбека, караван-сарай, «Дорога Грина» в конце Партизанской улицы, гриновский музей.

Разочарованная Лялька бродила, зевая, по комнатам, разглядывала стол под льняной скатеркой, за которым работал автор «Алых парусов», фотографии на стенах. Ничего особенного: стол как стол, фотографии как фотографии.

— Гуляем по городу! — объявила Зоя. — Автобус на центральной площади, отъезд в четыре тридцать. Опоздавшие добираются самостоятельно.

Взявшись за руки, они зашагали по тенистой улочке. Тишина, ни души вокруг: сонное царство.

— Вылезет сейчас из-под земли хан Узбек, — пугала Лялька, — как закричит: «Айда, шалтай-балтай, в гости! Кушать, пить!»

— Пожевать бы, в принципе, не помешало, — заметил он. — Как ты?

— Всегда готова!

Спросили у прохожего с полной авоськой помидоров в руках насчет столовой.

— С этим у нас плохо, — отозвался тот. — На базарчик пойдите, вон туда, — показал. — Чебуреки купите с рук, мацони, брынзу.

Базарчик был под стать городку: три навеса, пять торговых за прилавком. Купили у тетки в цветастом платке по стакану мацони и теплые чебуреки, которые она завернула в промасленный пакет из листка школьной тетрадки, сели неподалеку на плоский валун.

— Приятного аппетита, — возник рядом экзотичный босяк. Лет двадцати, худой, как глиста. Рваные джинсы, нечесанные волосы до плеч, ленточка на лбу, браслет из кожаных полосок на запястьях.

— О, что я говорила! — вскричала Лялька. — Хан Узбек! Сейчас в гости будет звать...

— Поделитесь, граждане, чем можете, — произнес тот.

— Чебуреки будете?

Он с интересом разглядывал живописного попрошайку.

— Лучше бабки.

— Ага, понятно, — полез он в бумажник. — Сколько вас устроит?

— Трешка будет нормально.

— Трешка? — возмутилась Лялька. — Умный какой нашелся! Папк, гони его подальше!

Парень дружелюбно улыбался:

— Клевая.

— Вали, вали! — шипела Лялька.

Нищий все больше его занимал. Весь точно на шарнирах, того гляди, свернется пополам.

— Вы садитесь, — протянул ему зелененькую. — Как вас по имени?

— Сэм. В ксиве записан Семеном.

Покосился на оставшиеся чебуреки.

— Не остыли?

Выбрал один, жадно куснул:

— Круто.

За куревом поведал о себе. Москвич. Предки гуманитарии, мать кандидат наук. Учился на историка.

— Битва на Куликовом поле, выстрел «Авроры», апрельские тезисы Ленина. Во-о! — провел ладонью по горлу. — Облом конкретно. Свалил в Сибирь, на БАМ. Едем мы, друзья, в дальние края. Подъем, отбой. Надоело. С геологами полгода походил, теодолит таскал. Вернулся домой. Предки достают: диплом не за горами, берись за ум. Мы тогда с хиппарями на «Пушке» тусовались. Френд один, Мэтью: «Едем, говорит, в Старый Крым, там крымские хиппари коммуну замесили на лето». Подтянулись конкретно: кайф! Зависаем по полной...

Поднялся, обтер об штаны замасленную ладонь.

— Хотите, покажу наш привал? Тут недалеко, на раскопках. Туристов водим, которым интересно. За мани. По три шестьдесят семь с рыла...

— Ляка, сходим? — повернулся он к дочери.

— Забыл? — глянула она на часы. — На автобус опоздаем!

— Да ладно, на попутке доберемся. Интересно же!

Становище хиппи среди археологических раскопок, куда привел их Сэм, напоминало лагерь потерпевших кораблекрушение: укрытые ветками акации лагуны из металлического хлама, остатки мебели, тряпичный хлам, на протянутой между остатками дорических колонн веревке сушится белье.

— Ну и запах у вас, — сморщила нос Лялька.

— Тут же хезак туристский, — пояснил Сэм. — Сортир построить не дотумкали. Ну, народ кладет, естественно, где придется, на остатки цивилизации... Эй, — закричал, — есть кто живой, выходи! Гости прибыли.

Из ближайшей хижины выползли друг за дружкой кое-как прикрытые цветным тряпьем наголо стриженный парень и цыганистая девица. Заулыбались. Девица, протягивая руку:

— Кэтрин.

Парень:

— Мэтью. Рок-гитара.

— Давай что-нибудь для раскрутки, Мэтью, — обронил Сэм.

— Момент!

Парень вернулся к хижине, извлек видавшую виды гитару на ремне, нацепил, ударил по струнам, заголосил самозабвенно:

Нет у меня врагов,
Нет у меня долгов,
Я ничего не хочу
И ни за что не плачу!

Девица трясла бедрами и подтанцовывала в такт.

— Семь тридцать четыре за экскурсию, дамы и господа!

Дома, над рабочим столом, у него висела фотография: он с Лялькой в обнимку с Сэмом, Мэтью и общей их герлой Кэтрин на фоне античных развалин. На заднем плане закатное небо, подобие палатки. Фотовспышки в его «Зените-С» не было, явившийся после побирушек на складе горпотребкооперации с грудой просроченных консервов томный женственный Грэг, которому он сунул в руки взведенный фотоаппарат, перед тем как отбежать к группе, сплеховал, по всей видимости, — кадр вышел темноватым и слегка опрокинутым. И Боря, возившийся с привозимыми им из поездок негативами в подвальчике лаборатории, чтобы довести их до кондиции, возмущавшийся редкой неспособностью взрослого мужика, доктора искусствоведения, поставить нужную экспозицию и выдержку, вытянул все же, употребив при проявке и печатании все свое мастерство, провальный снимок до нормального вида.

Он улыбался, глядя на фотографию: одно из ярких крымских впечатлений!

О неопрятных молодых людях с длинными волосами, бездельниках и выпивохах, знал до этого немного. В газетах, по радио и телевидению сообщали время от времени о случаях с отщепенцами, взявшими у западной молодежи, протестовавшей против вьетнамской войны и придумавшей лозунг: «Занимайтесь любовью, а не войной», самое худшее. Кичатся своей аполитичностью, презирают созидательный труд, нечистоплотны в быту.

В коммуне из семи хиппарей, прикочевавших на лето в Старый Крым, всего этого было в избытке. Образ их жизни, изнеженность, пристрастие к чужим идеалам: песням, языку — вызывали у него отторжение.

— Скажи, Сэм, — требовал ответа за ужином у костра у недоучившегося историка. — Ты, конечно, что-то читал по русской истории.

— Карамзина читал.

— И что?

— Клево.

— Да брось ты, черт возьми, свое клево! — негодовал он. — Судьба твоего народа для тебя что-нибудь значит? Жертвы, пролитая кровь? Предки, как вы выражаетесь? В последней войне? Чем, по-твоему, Есенин хуже Джона Леннона?

— Леша, друг, давай о чем-нибудь другом, а! — наливал ему в стакан Сэм. — Ну, не догоняю я! Не канают мозги твою колбасню! Обвал!

Слушавший внимательно их полемику Мэтью вскакивал на ноги.

— Минуту! — кричал. — За неимением ансамбля исполнять я буду сам!

Хватал с пола гитару:

— Мы и по частушкам месим.

Бил зверски по струнам, запевал:

Уезжали мы на БАМ
С чемоданом кожаным,
А вернулись домой
С х.. отмороженным!

Хохот, бульканье в стаканы, Лялькин возмущенный голос:

— Эй, поосторожней с руками, по зубам схлопочешь!

Черт их знает: инфантильные, поверхностные, распутные. А милые.

Уехали из лагеря только на другое утро.

— Давай, сестра, — подсаживал Ляльку на перекрестке в едущий в Коктебель мо-
локовоз Сэм. — Будет в лом, приезжай. Без балды. Вот адресок, — совал в руку бумаж-
ку. — Примем. Ол ю нид из лав!

— Поняла, что он сказал? — спрашивал он дочь, трясаясь в кабине.

— Поняла, — в голосе Ляльки звучала грусть. — Все, что тебе нужно, это любовь...

14

Дмитриева уехала на Уимблдонский теннисный турнир вести радиорепортажи, Лялька замкнулась («Скучаю по маме»). Бродила по пляжу, собирала цветные камеш-
ки, вечерами долго писала в дневнике. Валера сообщил, что закончил повесть, про-
сил посмотреть, оценить. Сочинение было ученическим, подражало городской прозе
Юрия Трифонова, он искал обтекаемые формулировки, чтобы не обидеть.

— В целом интересно, есть сильные места, следует, однако, более четко обозначить
характеры, в частности молодого архитектора... как его?

— Соломончук, — подсказывал Валера.

— Да, Соломончук. Нужны характерные черты, запоминающиеся поступки. Чего
в нем больше: любви к профессии, желания видеть свой город более современным
или стремления продвинуться по службе, сделать карьеру, понравиться этой самой...

— Любаше, — напоминал Валера.

— Да, этой эгоистичной молодой особе, соблазняющей одновременно его и заве-
дующего отделом.

— Я списал ее с одной знакомой, — признался Валера.

— Заметно. Характер в целом живой...

С отъездом Дмитриевой публики на корте поубавилось, играл он теперь с лаборан-
том соседнего дельфинария Никитой, носившим значок перворазрядника на тенниске.
Партнером Никита был неплохим, выиграл у него пару раз по буллитам, был страш-
но доволен, жал горячо руку. В один из вечеров, когда он поджидал запаздывавшего
партнера, на соседней запущенной площадке — поднимите мне веки! — появился во все-
оружии Радунский. Форма, кеды, кепочка, все адидасовское, импортная сумка (не ди-
намовская) с торчащими ручками ракеток.

Он потирал руки: пробил час икс, маэстро дал слабину.

— Зачем ему это? — перебрасывался с ним у сетки перед началом встречи Никита. —
Играл бы в преферанс, что ли...

Он не отвечал. Никита был турист, альпинист, самостоятельный бард, имел какой-то
цветной пояс по тхеквондо и никогда, судя по всему, не читал Радунского, не видел
его пьес.

А тот, что называется, осатанел. Они уже закончили партию, стояли у выхода, раз-
говаривая со знакомыми, — на соседней площадке рыжеволосый коротышка в сбитой
набок кепке отчаянно, как Дон Кихот с мельницами, сражался с бетонной стенкой,
отбрасывавшей в его сторону данлоповские мячи.

Радунский стал приходить на площадку ежедневно. Утром и вечером. Обгоревший,
с облупленным носом. Фланирование по набережной, морские прогулки с кобылка-
ми из шахтерского пансионата — все безжалостно было отринуто во имя неодолимой
страсти к спортивной игре избранных, о которой упоминал еще Шекспир в истори-
ческой хронике «Генрих V», которой увлекались императоры, короли, фаворитки,
за которую болела избранная публика.

Наблюдать за танталовыми муками кумира было тяжело, он в конце концов не вы-
держал. «С меня не убудет, — сказал себе, — если я сделаю пару шагов ему навстречу. Ведь

надо и его понять. В сущности, кто я для него? Лох, безвестный провинциальный гражданин Башмачкин. Что ж ему теперь, Юрию Радунскому, из-за того только, что не научился в свое время играть в теннис, шапку передо мной ломать? Поклоны бить? Скатертью расстилаться? Во имя чего, помилуйте? Тенниса, господи! Который и олимпийским видом спорта стал гораздо позже хоккея на траве, о чем разговор? Его по телевизору невозможно смотреть! Не смотрится, хоть убей!»

Так примерно рассуждал он в минуту посетившей его минутной слабости. Слабость, однако, прошла, а бес лукавый, который до поры до времени помалкивал, хотя, разумеется, не дремал, направил неожиданно мысли в противоположную сторону. «Позвольте, позвольте, — развел он мысленно руками. — Это почему, собственно, я должен потакать ценой унижения чьей бы то ни было мании величия? Да хоть самого Радунского! Нет, брат, уволь. Если уж в самом деле что-то под кадык приперло, жизнь не мила и водка что вода, не мелочись. Выкручивайся, не коси глаза на суфлера. Спарринг-партнеры, как Алексей Цветков, на улице не валяются».

Дорефлексировался в конце концов.

— Вы знаете, — с обворожительной улыбкой обратился к нему Радунский на следующее утро в столовой. — Вчера разговаривал по телефону с женой («Воронина!» — прошелестело в мозгах у переставших жевать соседей). Она спросила: нашел ли я себе спарринг-партнера по теннису? Я сказал: увы, хорошие партнеры на улице не валяются (тут в мозгах зашелестело у него). Даже в Коктебеле. Вы замечательно играете, мне до вас как до луны...

Радунский! Ему! Вставшему в позу! О горе мне!

Ответил без промедления: готов тренировать, если тот пожелает, в любое время суток. Что и выполнял неукоснительно до самого отъезда из Коктебеля.

Увидел его опять через полгода, в Москве. Закончилась томительная конференция деятелей театра, кино, музыки и изобразительного искусства, на которой, слава богу, ему не надо было выступать, отшумела прощальная дружеская попойка с коллегами в «Арагви», в кармане лежал на завтрашний вечер обратный билет на самолет. В четвертом часу, пообедав в ресторане, он выбрался из гостиницы, чтобы побродить в одиночестве после вчерашней метели по заваленному сугробами, чудно преображенному, присмирившему городу. Шел, подняв воротник дубленки, вниз от Пушкинской площади в сторону Манежа, обходил скребущих тротуар дворников, смотрел на светившиеся сквозь корку наледи магазинные витрины. Зашел на углу Охотного Ряда в знакомый магазинчик «Сыры», купил полголовки любимого домашними (включая Рикки) сыра «Рокфор». Вышел с упакованной покупкой за порог — взгляд задержался на растянутом поперек фронтона Театра имени Ермоловой на той стороне улицы транспаранте: «Премьера!!!! Юрий Радунский. БЕГ ТРУСЦОЙ, ИЛИ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 1982 года».

Это был сюрприз: новая пьеса Радунского! В бесцветном, малопосещаемом столичном театре. Он почувствовал привычное сердцебиение.

«Пойти посмотреть что и как».

Странности того московского дня начались тотчас же, едва он проделал десяток шагов по направлению к переходу.

— Интересуетесь насчет свободного билетика? — преградила путь подмороженная личность в длинном пальто и с наминавшей противогаз холщовой сумкой через плечо. — Есть партер и амфитеатр.

Он глянул на часы: половина шестого. Присутствие на дальних подступах к театру в столь ранний час спекулянтов говорило о многом.

Справился о цене: вчетверо выше номинала! Обстановка по всем признакам тянула на культурное событие, к которому он мог оказаться причастным.

«Познакомлюсь с театром, — подумал, — увижу новую работу Радунского, напишу рецензию».

Большинство безотказно работавших в подобных случаях отмычек на этот раз отсутствовало: театр на той стороне улицы был не его, писать о нем не приходилось, на дворе была суббота, нерабочий день, позвонить нужным людям, тому же Валере, ставшему зампредом председателя Госкомитета по телевидению, не было возможности.

Препятствия, как известно, обостряют искуc. Обойдя стороной скостившего цену барыгу, он пошел, наклонив голову, как в бой, сквозь крутившую снежные арабески поземку. Одолевая переход, обратил внимание: с заваленных снегом ступенек Центрального телеграфа на той стороне бросилась навстречу, картинно раскинув руки, девица в цветастой шали. Повисла на шее, радостно закричала, молотя новенькими бурками в галошах:

— Пашка, чума! Каким ветром? Где пропадал? Дай закурить...

Пыхнула дымком.

— Слышал про Маринку? Правда, жуть? — округлила глаза. — У тебя билет? Контрамарка? Мы с Галкой будем пробиваться через служебку, она подойдет к семи. У нее новый хахаль, декоратор-оформитель. Грек или армянин, не поймешь, обещал провести. Дуб, Паша, не поверишь. О Цветаевой не слышал, ага. Феномен!

Шла рядом, аккуратно стряхивая варежкой снег с его дубленки, говорила без умолку: о тусовке в Сокольниках, об Эфросе, который, по сведениям Галки, вот-вот расстанется с Яковлевой, о Таганке, Любимове, Высоцком, о том, что этот дуб-декоратор подваливает и к ней и что в истории с Маринкой он сыграл не последнюю роль.

Цветков никогда в жизни ее не видел, не имел ни о ней, ни о Галке с Маринкой, ни о тусовке в Сокольниках ни малейшего представления и все же терпеливо слушал, не перебивал, не пробовал сказать, что она обозналась — было не до этого: Пашка так Пашка.

По дороге стали попадаться первые настырные ловцы билетного счастья. Срывались с места, неслись, опережая друг дружку, к проходящим. Сквозь надвинутую на уши меховую шапку застучало-забубнило-закудахтало в барабанные перепонки:

— ...лишнего билетика...

— ...лишнего...

— ...простите, лишнего...

— ...билетика...

Он чувствовал прилив знакомой энергии: был среди своих. Двигался в толпе к месту поклонения богу сцены Дионису, за порогом которого театралов ожидал добродушный на вид, а в душе злобный, ненавидевший пустоголовых фанатиков дракон — КАССА.

Что с драконом на этот раз будет непросто, Цветков понял сразу. Но лишь оказавшись в забитом до предела, гудевшем голосами кассовом вестибюле театра, осознал, какой высоты и прочности китайскую стену предстоит одолеть. Невероятно: тишайший еще вчера театрик, наполнявший третью часть зала путем индивидуального отстрела зрительских душ, успел обзавестись ампирного стиля медной дощечкой, прибитой над окошечком кассы с категоричной, как смертный приговор, надписью: «БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!» А! Как эти ермоловские ребята разом зачванились, встали в третью позицию, руками развести! «Гранд-опера»! «Ковент-Гарден»! «Ла Скала»!

Он прислонился к стене вестибюля, огляделся. Какой-то прыщавый тип с синей повязкой на рукаве, хамская молодая морда, ходил деловито-озабоченно в толпе, со-

бирал списки от организаций и социальных групп для вручения администратору. Наблюдая за ним, Цветков вздохнул: шаткость его положения усугублялась, кроме всего прочего, еще и тем, что он, в сущности, никого не представлял. Герой-одиночка. Полез в боковой карман дубленки, извлек членский билет ВТО. «А. Ю. Цветков, театральный критик». Звучало не очень...

Что-то в этот миг его подтолкнуло. Глянул в сторону распахнувшейся в который раз входной двери, впустившей на этот раз в заполненный людьми вестибюль (он обмер) ожившего Гошиного ангела в заснеженном рединготе, с пелериной, за которой тот прятал, должно быть, от любопытных глаз сложенные маленькие крылья. Ангел искал кого-то взглядом, он понял: его! Замахал рукой: «Я здесь!» Тот заулыбался, пошел-полетел навстречу, лавируя в толпе. Приблизился, встал рядом. Тот самый, с Гошиной темперы!

— Вы актер, я угадал? — спросил участливо. Убрал ладонью мокрую прядь волос с дивного лица северной, новгородской лепки. — Вас, наверное, тоже здесь никто не знает, как и меня? Будем держаться вместе, хорошо? — Сине-голубые глаза улыбались ободряюще и доверчиво. — Что-нибудь придумаем, не волнуйтесь, — звучал юношески-чистый, негромкий голос. — У вас ведь есть какой-то план, да? — Он перешел незаметно на знакомый монолог. — Действуйте, действуйте! До начала спектакля еще целый час. Я вас найду, не теряйте меня из виду...

Их оттирала друг от друга внезапно ожившая, загалдевшая с удвоенной силой толпа, уловившая шорохи и смутное движение за обоими окошками: билетным и администратора. Надвигалась главная потеха...

В отличие от большинства провинциалов, мечтавших побывать в столичных театрах, наивно полагавших, что театральные билеты приобретаются, как они считали, в театральных кассах, у билетеров, Цветков отлично знал, что приобретаются они понимающими людьми совсем в других местах. По так называемым («тсс!») СПИСКАМ. В отделе культуры ЦК КПСС, возглавляемом товарищем Шауро, в параллельном отделе Совмина, в профсоюзе работников культуры и госучреждений, отделах литературы и искусства центральных газет, в кабинетах Всесоюзного радио и Центрального телевидения, редакциях театральных журналов, в Мосгорисполкоме, Сандуновских банях. Все, что остается после распределений, раздач нужным людям, знакомым парикмахершам, продавцам ГУМа и Елисеевского гастронома, можно действительно купить в кассе. Поправка: не купить. Добыть, завоевать. Нечеловеческими усилиями, дьявольской хитростью, зубами и кулаками. Как в тот вечер битвы народов, участником которой он оказался в забитом людьми вестибюле Ермоловского театра, за два часа до премьерного спектакля по новой пьесе Юрия Радунского.

Когда бурлившая у глухо задраенных окошечек волна народного нетерпения достигла девятого вала, из приотворившейся наполовину дверцы служебного входа выпростался бочком давешний наглый самозванец с нарукавной повязкой, объявивший по поручению администрации, что в связи с аншлагом и отсутствием резервных мест будут рассмотрены просьбы только инвалидов войны по предъявлении соответствующего документа. Остальных граждан просят не создавать ненужной давки.

Самозванный жулик-координатор, у которого, судя по роже, с билетами было улажено, возвращал обескураженным гражданам рукописные списки. Народ глухо роптал, но не расходился. У окошечка администратора тем временем выстраивались, переругиваясь между собой, хорошо сохранившиеся деловитые инвалиды войны. Засветилось изнутри и через паузу отворилось посреди изразцовой, обклеенной афишами стенки круглое дупло билетной кассы с солидной, в тонких золотых очках билетершей-

белкой в глубине, озабоченно пересчитывавшей за столиком билетные блоки. Вежливо расталкивая толпу и разжигая в ней вековую ненависть к торгашам, устремились поодиночке к кассе вполголоса называвшие личные пароли белые люди, ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА.

— От Василь Василича, — слышалось.

— Госхран...

— На имя Базавлук, четыре.

— Я от Веры... ой, от Веры Павловны, простите!

— Сулаквелидзе. Зураб и Вахтанг...

Отваливали, совершив челночный рейд «администратор — касса», инвалиды войны, зажав в руках трехрублевые билеты в последний ряд второго яруса. Крупный, с надменным лицом римского патриция, администратор работал в жесткой, предельно рациональной манере, просители отлетали от него как ошпаренные.

Улучив момент, Цветков просунул голову в окошко.

— Критик?

Администратор бегло пробежал взглядом по прищипленной к стенке, испещренной значками и стрелками бумаге.

— В ВТО, — произнес, — мы направили тридцать два билета, обращайтесь туда. Следующий, пожалуйста!

Можно было перевести дух: премьера удалялась от него незнакомкой, не удостоившей взгляда в ответ на приподнятую шляпу. Стоя у колонны, он смотрел, как редет смирившаяся с неизбежным толпа соискателей. Малая часть, на что-то еще надеясь, жалась по стенам, наблюдала за нарядно одетой публикой, весело валившей к дверям в гардероб.

Продефилировал, уже без нарукавной повязки, в обществе папы, мамы и интеллигентного вида бабушки наглый молодой координатор. Прошли ошастливленные героическими предками дети и внуки инвалидов войны. Промелькнуло несколько запомнившихся уличных ловцов билетного счастья. Прошел, кивнув головой, в обществе слегка увядшей дамы знакомый столичный критик, объяснявший, жестикулируя, спутнице просчеты и слабые места предстоящего спектакля. Среди двигавшихся мимо счастливых он узрел новую знакомую в цветастой шали, уже не в бурках с галошами, а в туфельках на каблукках, выразительно показывавшую на идущего рядом плохо выбритого кавказца, который держал манерно под руку телястую не по годам девицу с наивными васильковыми глазками и алым ротиком, по всей видимости, Галку.

— Паша, до встречи! — прокричала цыганистая знакомая. — Мы в третьей левой ложе!

В это мгновение он увидел Радунского. Держал все время в голове мысль, что коктебельский теннисный ученик явится в последнюю минуту, обрадуется, поведет в директорскую ложу, усадит на отличное место, скажет, убегая: «Увидимся на банкете. Я вас приглашаю!» Выглядело несколько театрально, но жизнь, в конце концов, театр, разве не так?

Оплошал в результате, чудовищно, постыдно! Засмотрелся на редкое по выразительности появление виновника торжества. Радунский возник на фоне прямоугольника распахнувшейся наружной двери, напоминавшего театральный задник, по темно-синему бархату которого сыпал не московский обыденный — вовсе нет! — густой и пушистый снег из пушкинской «Метели». И сам премьер, напудренный, взволнованный, порывистый, в элегантно темном пальто-реглан нараспашку и широкополой шляпе с низкой тульей и широкими полями, тоже был не из нашего, прозаичного и скуп-

ного, — из романтического девятнадцатого века. С колокольным звоном церквей, захмелевшими седоками в санях под меховыми полостями, мазуркой и котильоном в освещенных свечными люстрами гостиных, флиртах, тайными записками из рук в руки, карточным вистом, дуэлями. Из нашего скучного и прозаического века были, пожалуй, только две двухметровые жилистые манекенщицы с витринными неживыми улыбками, гигантши рядом с его фигуркой стареющего подростка, которых он стремительно тащил под несуществующие груди к служебному входу.

Они прошли в полутора метрах от него, он не мог вымолвить ни слова. Комичным, нелепым казалось произнести в подобной обстановке что-то вроде: «Юрий Олегович, привет! Как жизнь? А я, видите ли...» Фальшиво, жалко!

В обезлюдевшем вестибюле прозвучал первый звонок. Надо было идти в гостиницу, собираться в дорогу. Он не был подавлен, напротив: испытывал странное состояние наполненности пережитым, точно побывал на каком-то другом, не менее интересном спектакле. Перед глазамиплыли мужские и женские лица, звучали обрывки фраз, веселый смех, слышалась музыка, кажется, из «Севильского цирюльника». Почти не удивился, когда скрипнула едва приметная дверца служебного входа и в проеме возник, без пальто и шляпы, снова Радунский. Судя по всему, ожидал кого-то. Сделал несколько быстрых шагов по направлению к парадной двери, повернул назад.

Они стояли лицом к лицу.

— Юрий, помните... — произнес он.

— А, это вы?

Радунский потянул носом в направлении целлофанового пакета с «Рокфором», который он держал под мышкой. Недовольное лицо, желание уйти.

— Извините, — озираясь по сторонам. — Мне надо...

— Хотел побывать на вашей премьере, — вставил он.

— Нет, нет! — нервно взвизгнул тот. — Ни хрена не получится! Виноват!

Ринулся к служебному входу, обернулся напоследок в сторону парадной двери, прежде чем исчезнуть.

Ему стало невероятно весело. Как это он замечательно выразился, маг и кудесник русского литературного языка! «Ни хрена не получится». Браво, маэстро, брависсимо!

Двинулся к входным дверям, когда услышал за спиной:

— Погодите! Куда же вы?

Это был не Радунский. Так быстро заgrimироваться под Ангела с Гошиной темпери он бы не сумел. Сильные нежные руки тащили его мимо ничего не замечавших билетеров к гардеробным стойкам.

— Не сердитесь, у меня сегодня много дел, — виновато улыбнулся тот после того, как общими усилиями им удалось уговорить гардеробщицу принять разивший отхожим местом пакет с «Рокфором», который та задвинула, негодуя, под обувную ячейку. — Я убегаю, хорошо? — сине-голубые глаза блестели искрой сумасшедшинки. — Поищите себе место где-нибудь в литерной ложе... Прощайте!

Обо всем позаботился. Как иначе можно было объяснить, что в набитом под потолок зрительном зале ни на что не надеявшийся безбилетник, рыскавший взглядом по заполненным рядам, обнаружил, сел и не был изгнан перед последним звонком отсутствовавшим хозяином на единственное свободное кресло в первом ряду литерной ложи. Впритык к вытертому локтями бархатному барьерчику, на который удобно было облокотиться, когда уставала спина. Мелочь, разумеется, но буквально в двух шагах был театральный буфет. Когда в антракте он решил перекусить, то шагнул едва ли не сразу из ложи в буфетную в числе первых. Взял, не стоя ни минуты в очереди, бутыл-

лочку божественного «Двойного золотого» и четыре аккуратных бутербродика из свежей булочки, два с черной икрой и два с красной. Стоял спокойненько за столиком, цедил в растяжку пиво, жевал бутербродики с падавшими на губу икринками, которые ловко слизывал языком, наблюдал с близкого расстояния за мгновенно набежавшей километровой очередью.

Что касается премьеры, она была великолепной. Шквальной, обвальной. Встряхнула, захватила с первой сцены уставших от ожидания, перенервничавших людей. Два заговорщика: ставящий одну за другой пьесы в театрах страны, пробивной и детски беспомощный Радунский, избалованный, возносимый до небес поклонниками, ожесточившийся непониманием театральных начальников, снятием один за другим спектаклей, и малоизвестный режиссер «Современника» Валерий Фокин, принявший, к удивлению коллег, руководство труппой хромавшего на обе ноги некассового театра, рискнувший поставить во многом эпатажную, на грани скандала пьесу, взорвали в один вечер театральную Москву.

В салоне ночного самолета он заново переживал поведенную драматургом и постановщиком историю. Людей, подобных центральному персонажу пьесы Михалеву, встречал в жизни, с некоторыми был знаком, общался. Хищник-супермен с набитым кошельком, хозяин жизни. Крепко сбитый, твердо стоящий на ногах. Кичится деревенским прошлым, тем, что всего добился сам, «вот этими мозолистыми руками». Жены с руководящим папашей, дорогой машины, импортного барахла, непыльной работенки за рубежом. Циник, анекдотист, увлекающийся бегом трусцой, совращающий между делом вполне созревшую для этого, близкую по крови современную девушку без комплексов Катю, не считающуюся ни с кем и ни с чем, пробившуюся в мир михалевых ценой ненавистного, постылого замужества, смеющуюся открыто над обманываемым мужем, презиравшую его.

Фокин нашел великолепный прием, придавший пьесе яркую образность и театральность: большую часть сценического времени герои бежали трусцой, в этом было и модное увлечение, и фирменный знак социальной группы михалевых и иже с ними, и сверхзадача спектакля. Новоявленные хищники бежали в никуда, действие временами замедляло ход, бегущие останавливались, оказываясь лицом к лицу со зрителем, и тут на первый план выходило великолепное литературное мастерство Радунского: хлесткие, отточенные, как бритва, диалоги, реплики, сентенции. Циничная, с атрофированной моралью четверка персонажей, включая слабого и бесхарактерного мужа Кати, пускалась во все тяжкие, говорила о вещах, которые люди редко позволяют себе даже в постели, вызвала бурную реакцию зала...

Публика замирала от реплик Инги. Когда героям спектакля, казалось, вынесен был окончательный приговор зала: один черт, не изменитесь, будете жить, как жили — со сцены слышался стон. Мольба не до конца убитой человеческой личности. Чувственной, пылкой, изломанной. Презиравшая, подобно Кате, мужа, изменявшая ему Инга мечется в тоске, бунтует против окружения и тут же ему подчиняется. Но что-то подсказывало зрителю, и это было победой исполнительницы Татьяны Дорониной: не все потеряно. Живет израненная женская душа, жаждет чистоты, лучик надежды еще не погас...

Якобинец Фокин придумал яркий финал. Четверо исполнителей: Виктор Павлов, Татьяна Доронина, Олег Меньшиков, Татьяна Догилева не выходили по окончании спектакля, как принято, на поклон к рампе — продолжали бег трусцой между рядов. Принимали на ходу цветы, бросали зрителям.

Стоя у барьерчика, аплодируя, он увидел во время очередного пробега в двух шагах от себя разгоряченное, в капельках пота, лицо Дорониной. Она выхватила из прижатого к груди букета цветок на высоком стебле, бросила в сторону ложи — он поймал на лету: это была фиолетовая калла...

Трогал пальцами в салоне ночного самолета лежавший на столике рядом с блокнотом и ручкой полувядавший цветок, думал о спектакле, о дочери, о Юлии, по которой, как ни странно, соскучился, несмотря на очередной ледниковый период в отношениях. Об Асе, о массажистке, с которой время от времени встречался, о решившем эмигрировать Боре. Посапывал рядом сосед в вельветовой куртке, ронял голову ему на колени. Спать не хотелось. Вспомнился Коктебель, писательский Дом творчества, Радунский в соломенной шляпе-канотье с шелушащимся носом, феодосийские хиппи.

Он поправил абажурчик ночника над изголовьем, снял колпачок с ручки.

«Еще одна пьеса Радунского на сцене, — писал в блокнот. — Не обличительная во все, как назовут ее, возможно, в рецензиях. Лейтмотив драмы — сто пятая страница про любовь. Обманутая, опошленная, брошенная в грязь. В жизни многие из нас часто бегут трусцой за тем, что только обозначается этим словом, по сути, им не являясь. Обольщаются, обманывают себя. А настоящая любовь, быть может, в это время в двух шагах, пробует догнать, выдыхается, отстаёт, машет беспомощно рукой. И первые на финише у километрового столбика, кажущиеся себе, как Михалев, победителями, мы оказываемся, по сути, проигравшими...»

Сергей МАККЕ

КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ

15 ИЮНЯ 451 ГОДА

Битва на Каталаунских полях (Битва народов) — сражение, в котором римляне в союзе с вестготами временно остановили нашествие коалиции гуннов и германцев, стало крупнейшим и одним из последних в истории Западной Римской империи перед ее распадом.

ДИАЛОГ ДВУХ ЛЕГИОНЕРОВ

В битве пало 165 тысяч воинов с обеих сторон... Хотя исход битвы был неясен, гунны под руководством Аттилы были вынуждены удалиться из Галлии.

Неужто, дружок,
Мы опять проиграли!
И в наших пенатах все ныне не так,
В небе над нами царица печали.
В следах и делах отпечатался мрак.

Поверь, мой дружок, все идет по спирали.
На новом витке нам откроется путь.
Аэды споют, и увидим мы дали,
Если, конечно, гадалки не врут.

Все будет ок, справедливость повсюду,
И нынешний враг станет в будущем друг.
Поверь, мой дружок, в неизбежность чуда,
Как верит солдат, что его не убьют.

Сергей Макке родился в 1955 году в Ленинграде. Физик-теоретик по образованию. Поэт и создатель музеев по призванию. Автор поэтических циклов «Мартовские иды» и «Письма из римской провинции», опубликованных в последние годы. Новый исторический цикл посвящен событиям эпохи Великого переселения народов и во многом основан на материалах созданной в 2024 году постоянной экспозиции в Краеведческом музее города Таганрога «Дворец Альфераки».

Прилета не ждешь от баллисты повторно,
Ударит стрела точно в бронежилет.
И нет ведь врагов, чтобы были нам ровня,
И жить нам осталось немерено лет.

Вот так, мой дружок, обязательно сдюжим.
Под небом в алмазах густую сирень
Увидим потом, ну а ныне мы служим.
Затянем потуже кольчуги ремень.

КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ

Когда тела погибших упали, их души
продолжили сражаться в течение трех
дней и трех ночей. Мертвые бились
с не меньшим ожесточением и муже-
ством, чем когда они были живые. Ви-
дели призраки воинов и слышали гром-
кое клацанье от их оружия.

Философ Дамасский

Лишь грязь в полях и кровь у друга
И невозможен диалог
В пределах замкнутого круга
Где с дьяволом воюет Бог

Железом метят лоб у татя
Как в память привнесенных бед
На генерале, на солдате
Войны неизгладимый след

На мне горит, мой жребий ясен
Пусть я все выдюжил и смог
Не спрятать память о солдате
Хоть он и выполнял свой долг

Нам не засыпать горы пепла
Смерть на ладонях — наша быль
Куда идем? Судьба ослепла
И наш безумен поводырь

Лес рубят, щепки выше сосен
Билет порубочный фальшив
Весны все нет, есть грязь и осень
И патриарх не так красив

Мы нарубили дров с лихвою
Наш воз застрял в чужом краю
Тела погибших волки роют
А битва душ идет в раю

НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Через год после битвы на Каталаунских
полях Атилы вновь пошел на Рим.

Здесь жить стало сложно, а умирать очень противно.
Правда, убитая ложью, мимикрирует под объективность.
Дней наших старых берег подмыт течением быстрым.
Боюсь, что река Терек смоем античные мысли.
Или с другим названием придет половодье смуты?
Кочевник обложит данью имперских развалин халупы.
Вода поменяет свежесть на вкус огневого металла.
Ногою на нашу безбрежность граница новая стала.
Забудем язык предков, как гунны заговорим или готы,
Без прутьев крепкая клетка смешает у гимнов ноты.
Забудем стихи и книги, в гимназиумах будут казармы.
А кто после бойни выжил — тех будут лупить жандармы.
За мотивы римские песен — веревку намылят мылом.
Оккупант беззастенчиво весел — ведь мы стали глубоким тылом.
В нем нет места латинскому слову, а точнее, античной мысли.
Мы к этому не готовы, мы не с этим когда-то вышли.
Говорили — не наше дело, мы цезаря не выбирали.
На воске писали смело, подписей не вставляли.
Мы спокойно жили, как в сказке, жизнь свою прожигали.
Кольчуги, кирасы и каски на плебеев вокруг надевали.
Все шло своей чередой патрицианских буден.
Но вот на костях с кровью сварен смертельный студень,
В котором жить невозможно, а умирать противно.
Сказки убиваются ложью, с полей каталаунских картиной.

ФИЛОСОФ

Он днем зажег фонарь и пошел по улицам.
На вопросы, что он делает, следовал ответ: «Ищу человека».

Я боюсь узких лестниц, где нет и глотка кислорода
Мне на тесных пролетах становится нечем дышать
Опасаясь толпы, ведь в скопление простого народа
Крик: «Свободы глоток» — остальным будет очень мешать

Я боюсь помещений, где окна забиты наружу
Только узкая дверь, коридор, уводящий во мглу
Дом большой на углу обещает входящим лишь стужу
Или полной мошкой короткую летом жару

Подменяя слова, произвольно мешая цитаты
Создаю полотно, непонятное даже друзьям
На кресте трое суток бессудно властями распятом
За слова, что разрушен вскоре будет наш нынешний храм

Мне висеть одному, на забаву простому народу
Всех прощая вокруг, никого и ни в чем не виня
Был один среди многих, кто вам говорил про свободу
Кто ходил с фонарем среди яркого светлого дня

Уходя в темноту, коридором дороги последней
Каждый вдох кислорода — и победа, и дикая боль
Я пока ведь дышу, и не надо заказа обедней
Не сыграл до конца мне от Бога данную роль

КРИК

Повесть

1/128

В квартиру едва пробивался луч света, но было четыре часа дня или около того — время, когда школьники возвращаются домой. Напротив дивана стоял пыльный телевизор: когда родители уходили, они всегда напоминали маленькому Ване, что на задней, обращенной в углубление стенке телевизора есть специальная красная лампочка, которая загорается, если телевизор работает больше двадцати минут. Маленький Ваня боялся включать телевизор, но однажды — ведь заняться было все равно нечем — он как-то исхитрился развернуть массивный черный ящик и просунуть голову в проем. В темноте он не мог рассмотреть, что там — на задней панели ящика, а фонарика под рукой не было. В углу выделялся специальный разъем, в который был воткнут тяжелый кабель, по которому и текли все его любимые передачи: «Звездный час», дог-шоу «Я и моя собака», мультсериал «Охотники за привидениями», «Подводная одиссея команды Кусто». За дыркой для кабеля панель становилась гладкой — никаких углублений, рычагов, кнопок. Лампочки не было, думал Ваня, затаив дыхание, пытаясь сдвинуть тяжелый ящик и поставить его так, как он стоял до ухода родителей. Нужно было не забыть поправить видеомагнитофон — чтобы стоял ровно, прямо на телевизоре: если он чуть выдвинется справа или слева, это могло привести к таким последствиям, о которых Ване не хотелось даже думать. «Нет никакой там лампочки», — полыхала на его щеках обида.

Теперь он пялился на телевизор и вспоминал ту лампочку, чтобы хоть как-то отвлечься, думать хотя бы о чем-то. О чем-то другом, не о том, что происходило сейчас. Слева звонил телефон — красный аппарат с круглым диском на журнальном столике, накрытом цветастой клеенкой. Ваня вглядывался в каждый сантиметр клеенки, пытаясь найти в ней что-то, что выручит его — да не когда-то, а прямо сейчас. Спасет. Но клеенка не спасала, а телефон все звонил и звонил: дзыннннннн, звонил телефон, дзыннннннн. Ване казалось, что трубка слегка подпрыгивала. Он вслушивался в каждый звук, надеясь найти в этом звуке доказательство жизни — доказательство того, что в мире есть что-то другое, кроме того, что происходит сейчас. Вот сейчас он снимет трубку, завяжется разговор, он передаст трубку и побежит в свою комнату, где хоть ненадолго отдохнет — там его ждет югославский конструктор, из которого он де-

Георгий Панкратов родился в Санкт-Петербурге в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Публикации: «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Юность» и проч. Автор нескольких книг прозы и одной документальной. Участник длинного списка премии «Большая книга» (2020, 2022). Лауреат премии им. Гоголя (2023) и конкурса рассказа им. Короленко (2022). Победитель Первой Всероссийской литературной мастерской Ассоциации союзов писателей и издателей (2022).

лает троллейбусы, у него уже целый троллейбусный парк. А может, прочтет фантастику, а может, повезет и незаметно выскользнет во двор. Тогда все то, что произойдет неизбежно, случится хотя бы позже. Позже на какие-то часы.

— Подними трубку, — сказала Мать. Ваня всем телом рванулся к аппарату, но не успел его достигнуть, как его словно оглушили: — Меня нет.

Ваня решил выиграть время и сделал вид, что не понимает.

— То есть нет?

Мать сидела на стуле напротив, между телевизором и дверью в его комнату, преграждая путь.

— Скажи, что меня нет дома. Я перезвоню позже.

Мальчик снял трубку и осторожно поднес к уху, сдавленно сказал:

— Алло.

На другом конце раздался оживленный громкий голос. Мальчик снова посмотрел на Мать. Она недовольно пыхтела.

— Марина Михайловна, здравствуйте, — чеканя каждое слово, произнес Ваня.

Он вдруг подумал, что вот же он — вернейший способ спастись: просто прокричать в трубку соседке: «Вот же она, здесь! Спасите меня! Спасите меня, пожалуйста!» Но ни одно слово не получалось, напротив, от одной лишь мысли его сковало ужасом: он представил, как Мать взлетит со стула, взовьется над ним коршуном, выхватит трубку и расколошматит о стену. Сколько там будет идти Марина Михайловна и будет ли идти вообще, а ему уже настанет труба.

— Марина Михайловна, ее нет дома, — как можно спокойнее сказал мальчик. — Что-нибудь передать?

Ване хотелось, чтобы соседка говорила как можно дольше, говорила все что угодно — и ее голос казался в тот момент самым прекрасным звуком на земле. Но Марина Михайловна лишь пробурчала что-то, и в трубке раздалась гудка. Мальчик какое-то время делал вид, что продолжает слушать, но потом стало ясно, что и эта возможность исчерпала себя: он аккуратно положил трубку и повернулся к Матери.

— Продолжим, — сказала Мать. — Зачем ты соврал?

— Я не хотел, — отозвался мальчик. — Честно, я неспециально.

— Но по факту ведь ты соврал. Какая разница, хотел ты или не хотел? — ее голос повышался с каждым словом, и вот он уже гремел, рокотал по квартире. — Ты можешь это понять? Ты это понимаешь?

Ваня сглотнул слюну. Мать смотрела на него, качала головой.

— Не зря тебя Ваней называли, ты Ваня и есть! Стоишь тут, мямлишь что-то! Выпрямись, когда с тобой мать разговаривает! Как Ванечка-дурачок!

— Вы и называли, — тихо сказал мальчик.

— Вы и называли, — передразнила Мать, сморщив губы. — Не мы, а отец твой бесхребетный, неизвестно где все время пропадает. Он и назвал. А я мучаюсь. Всю жизнь так: он что-то делает, я страдаю. И этот такой же растет. Да, этот?

— Да, — повторил Ваня.

Мать резко схватила стул и придвинулась к нему.

— Почему ты сказал матери, что получил пятерку, а на самом деле получил четверку?

Мальчик закрыл глаза. Он вспомнил солнечное утро. Вот их собрали у городского фонтана — так же, как он, нарядно одетых детишек: мальчики в толстых синих брюках, пиджаках, девочки — в коричневых платьицах. Перед ними учительница: ослепительная улыбка, блестящие солнцезащитные очки.

— Ребята, сегодня первое сентября, а это праздник, День знаний, поэтому мы будем больше играть, чем учиться... Давайте знакомиться друг с другом.

Вот они бегут среди каштанов, вот дурачатся, кидаясь осенними листьями друг в друга, вот хохочут, услышав чью-то смешную фамилию. А вот — стоят возле забора, за которым высится здание — корпус их будущей школы.

— Сегодня не будет уроков, — щебечет молодая учительница. — В привычном понимании, когда все такие серьезные, сидят за партой, выходят к доске. Но я проведу вас по школе и покажу, где тут у нас что находится, ну а потом мы поиграем в урок. Лады?

Все захлопали в ладоши, кто-то закричал «Ура». Дети ринулись в парадные двери школы. Ване запомнились большие фонари на стенах коридора, просторный актовый зал, где кто-то играл на пианино, столовка с пюрешным запахом и румяная толстая повариха. Потом учительница собрала их во дворе, где дети расселись кто на чем: на лавочках, спортивных турниках, автомобильных шинах, пнях.

— А еще в школах ставят оценки, — таинственно сказала она. — Пятерка и четверка — хорошие оценки, это значит, что вы молодцы, а тройка и двойка — плохие. Значит, надо учиться лучше. Оценки ставят в журнал, это такая большая специальная книжка учителя, а потом, вычислив среднее из ваших оценок за четверть, учитель ставит оценку за четверть...

— А поставьте нам оценку, — крикнул кто-то из детей. — Интересно же!

— Да, да, — загалдели вокруг. — Ну поставьте.

— Оценки ставят за работы, — сказала учительница, сняв очки, и Ваня вдруг заметил, какие у нее усталые глаза. Они были совсем не так радостны, как ее голос. И оттого учительница понравилась ему еще больше. — За классные. Или за домашние. А сегодня мы просто знакомимся. Ну, ничего! Поставлю я вам оценки. Только они будут шуточные и никуда не пойдут. Договорились?

— Да, — зашумели дети.

— Петя, — обратилась она к какому-то мальчику. — Скажи мне, а сколько часов в сутках?

— Двенадцать, — уверенно сказал Петя, но тут же поправился: — Нет, двадцать четыре.

— Правильно, Петя, двадцать четыре, — похвалила учительница. — Поставлю тебе пятерку. Даша! А угадай загадку! Течет-течет, не вытечет, бежит-бежит, не выбежит — что это, а?

— Река, — смущенно ответила девочка. — Я знала.

— Правильно, Даша! Тебе твердая пятерка.

Вперед вышел толстый мальчик.

— А знаете самый короткий анекдот?

— Нет, и какой же?

— Коммунизм, — выпалил мальчик.

— Так, а тебе, Егорка, ставлю двойку! За хулиганство, — сказала учительница, но все равно посмеялась. — Ну а тебя как зовут, мальчик?

— Ваня.

— Ваня, Ваня... Ванечка ты мой. Что же для тебя придумать? А, вот что. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Повтори-ка, а? Скороговорка.

— Корабли лавировали-равило, — запнулся Ваня и почувствовал раздражение: ну такое простое задание, а не получается! — Лавировали-валировали... Сейчас, сейчас соберусь, секунду.

Но учительница отчего-то не стала ждать.

— Ладно, ставлю тебе, Ваня, четверку за старание. И вправду, скороговорка сложная. Дети! Наступила пора прощаться. Буду вас ждать завтра...

Ваня шел домой довольный: он получил первую в своей жизни оценку. И эта оценка была — хорошая.

Едва придя домой, он стал взахлеб рассказывать о том, как прошел день, как познакомили их со школой и как давали разные задания.

— Я получил пятерку, — сказал Ваня.

— Ах ты ж молодец, — Мать гладила его по затылку, угощала компотом. Воспоминания школьного дня не давали покоя мальчику, и он возвращался к ним снова и снова, прокручивал в памяти. Так прошло несколько часов, пока он вдруг не вспомнил, что ему поставили четыре. Вспомнил он это случайно, продолжая хвастаться ярким днем:

— И тогда она мне говорит: ну да, скороговорка сложная. Но ты все-таки старался, и неплохо. Поставлю тебе четыре.

— Подожди, как четыре? — голос Матери похолодел. — Ты же сказал мне — пять.

— Ну да, или пять. Может, пять, — Ваня задумался. — Но по-моему, четыре. В общем, хорошая оценка. Мне поставили хорошую оценку.

Мать нагнулась над ним, скрутила тряпку в руке.

— Так какую? — спросила она.

— Четыре, — твердо сказал мальчик. — Да, я помню, она сказала четыре.

— Ты первую оценку в школе получил четыре? — ледяным голосом сказала Мать.

Когда его били ремнем, Ваня смотрел на тот же телевизор. Пустой экран, который так радовал командой Кусто и «Охотниками», в этот раз лишь предательски отражал то, что происходило в комнате. Полная, крупная Мать зажала его между мощных ног, словно в тисках, наклонив и согнув так, что голая попа мальчика нависала над старым диваном, зажав заодно и руки, так, чтобы торчала только голова. Ремень из новеньких брюк Ваня должен был вытащить сам, аккуратно сложить их, повесить на спинку стула и лишь затем подойти к дивану.

— Нельзя обманывать мать, — громыхал, перемежая удары, голос. — Я должна знать всю правду, и только правду. Я тебя родила, я твоя мать, ясно?! И обманывать меня нельзя. Всегда и везде, при любых обстоятельствах, я должна знать только правду. Ты должен быть честным, сын!

Ване было очень больно, и все же он думал, что Мария Михайловна, которая жила в квартире снизу, наверняка все слышит и знает, что Мать обманула ее — никуда она не ушла. Да еще и заставила врать мальчика.

1/64

Учительниц сменилось много. Мать, как справедливо она отмечала, действительно оставалась одна. Из всех школьных предметов Ваня сперва невзлюбил физкультуру, но к третьему классу его отношение изменилось.

Несколько месяцев в огромном спортивном зале вместе со всем классом он тренировал кувырки на мате. Это упражнение никак не давалось мальчику. Сделав кувырок, он должен был увидеть потолок спортзала, который казался бесконечно высоким и внушал непреодолимый страх.

— Давай, ну давай! — раззадоривал его физрук, сухой мужчина в возрасте. — Ничего там страшного нет, вот увидишь!

Физрук помогал со всеми упражнениями классу, поддерживал детей, так что в конечном счете не оставалось никого, кто не справлялся бы с любыми упражнениями. Когда даже девочки несколько раз кувыркнулись и получили оценки, по классу поползли смешки. Ваня понял: ситуация накалялась, но как он ни старался, не мог преодолеть страх. Физрук призадумался:

— Ладно. После уроков можешь прийти?

Мальчик кивнул. Отзанимавшись, он взял сменку — футболку и спортивные штаны — и отправился в спортзал. Там почти никого не было, только занимались старшие мальчишки. Ваня посмотрел на них косо.

— Им до тебя никакого дела, — сказал физрук. — Никто на тебя не смотрит. Здесь только ты и я, идеальное время. Давай преодолей свой страх!

Мальчик смотрел на потолок спортзала и вдруг твердо решил: не буду. Не буду смотреть туда. Зажмурюсь. Я должен, должен это сделать сегодня. Сегодня или никогда.

— Молодец! Молодец! — физрук чуть ли не танцевал над ним. — У тебя получилось! А ты говорил! А ну давай еще попробуй.

Теперь кувырок шел за кувырком — Ваня не просто делал упражнение, а наслаждался им, наслаждался тем, как легко давалось то, что вызывало страх так долго, наслаждался своей победой, собой.

С тем же чувством он шел домой — не шел, а бежал вприпрыжку, парил над привычной дорогой, за три года въевшейся в память до самого мелкого камешка. Он не вошел — впорхнул в квартиру. Но сказать ничего не успел.

— Надо поговорить, — сказала Мать. В груди мальчика вспыхнул холод: он знал, что с этих слов никогда не начиналось ничего хорошего. Он молча прошел в комнату.

— Что это?

В руке у матери была газета, Ваня сразу узнал ее — в отличие от обычных газет, которые клали в почтовый ящик, в этой было много рисунков и разнообразных шрифтов. Этим она и привлекла его на полке Союзпечати. Газета адресовалась молодежи.

— Я тебя спрашиваю, что это. Отвечай, когда тебя спрашивает мать.

— Газета, — сдавленно ответил Ваня.

— Это не газета, — Мать изобразила, будто плюет на страницы. — Это дерьмо собачье. Плюнуть и растереть.

— Я не знаю, — ответил мальчик. — Я не читал еще.

— И не будешь, — она раскрыла газету, листая страницы и делая вид, что останавливается на статьях. — «Фенечка» — так может называться нормальная газета? Одни придурки сюда пишут, другие продают. Это ж для дебилов! Ты что, хочешь быть дебилем, а?

— Нет.

— Так а зачем ты это покупаешь? Это для даунов, для умственно отсталых. Я для того горбачусь на рынке, продаю все эти шмотки, чтобы ты покупал такие газеты? Я тебя спрашиваю, не молчи.

— Мы собрали бутылки, — тихо сказал мальчик. — На турбазе, их много там.

— Не перечь матери! Чтобы больше никогда не покупал такие газеты, ясно?

— Я не знал, что там. Мне просто интересно, какие бывают газеты. Я хотел посмотреть. Это не значит...

Мать свернула газету в трубку и хлопнула по дивану.

— Просто скажи: я так больше не буду, и все! Все! Все! Ясно? Я. Так. Больше. Не. Буду.

— Я так больше не буду, — выпалил мальчик.

— Сменная одежда твоя где? Стирать пора.

Ваня остолбенел. Если до этого ему было просто некомфортно, то услышав этот вопрос Матери, он пришел в настоящий ужас. Только сейчас он понял, что вернулся домой без сменки — оставил ее в спортзале.

— Где, я тебя спрашиваю? Ну что ты молчишь? Что смотришь как баран на новые ворота?

Но мальчик уже не чувствовал, что может сказать хоть что-то. Ему хотелось провалиться сквозь землю, испариться, исчезнуть, не жить. Впрочем, что такое не жить? Этого он не знал. Словно сквозь дрему он слушал ругательства Матери, метавшейся

по коридору в поисках пакета со спортивной одеждой, пока ее разъяренное лицо не возникло перед ним. Ваня инстинктивно отпрянул.

— Собирайся, — коротко сказала Мать.

В школе почти никого не было. Вопреки ожиданиям, в спортзале сменки не оказалось. Физрук уже ушел, и спросить было некого. Сердце мальчика сжалось от ужаса.

— Отвечай! Отвечай! — ревела над ним Мать в школьном коридоре. — Где она может быть? Где?

Ваня отчетливо помнил, что, кроме спортзала, оставить сменку нигде не мог. Он больше нигде не заходил — переодевшись, прямо отсюда пошел домой. Но под натиском Матери мальчик стал сомневаться во всем — в голове вдруг родилась картина, как он, счастливый, несется домой и закидывает сменку в мусорный бачок. Который уже хватает ковш, закидывает в специальную машину и увозит в неизвестном направлении. Наверное, стоит сказать так.

— Ой, здравствуйте, Анна Яковлевна, — Мать неожиданно расплылась в улыбке. Ваня увидел классную руководительницу и обрадовался: при чужих людях Мать никогда не будет орать. От сердца отлегло, и он заулыбался.

— Как ваши дела?

— Да нормально, вот уже собралась уходить. Уроки-то все кончились. А вы, наверное, пришли за сменкой, да?

Ваня почувствовал, как бешено колотится сердце.

— Вообще, да, — улыбнулась Мать. — А вы откуда знаете?

— Так она в классе. Пойдемте, отдам. Мне мальчишки старшие занесли. Ваш, говорят, в спортзале оставил.

— Такой он рассеянный у меня стал, непутевый, — Мать развела руками. — Все забывает, теряет.

— Ну, вы не ругайте его, — примирительно сказала учительница. — Мальчик учится хорошо. С физкультурой вот были проблемы, но...

— Да физкультура — это ж разве предмет? — улыбнулась Мать.

Учительница предложила чаю, и они долго беседовали о том, что происходит в школе, в городе, стране. Между Ваней и Матерью лежал мешок со сменкой, и мальчик периодически с ужасом поглядывал на него. Он уже знал, что ничего хорошего его не ждет, и чем милее Мать с учительницей, тем больший ужас ожидает его после их прощания. Оставалось только надеяться, что они проговорят как можно дольше. Когда учительница рассказала, что мальчик хорошо пишет сочинения, Мать даже пару раз погладила его по голове.

— А у вас в классе много ругаются? — вдруг спросила она учительницу.

— Ну бывает по-всякому. Дети из разных семей, понимаете. Есть хулиганы, есть которые без родителей.

Ваня поймал себя на мысли, что часто завидовал последним. Без родителей — как же это здорово! Можно жить и делать что хочешь, думать как хочешь, никого и ничего не боясь. Впрочем, отца он не боялся, да и вообще видел его редко. Сегодня отец должен был зайти, и мальчик молился, чтобы это случилось раньше, чем они с Матерью вернутся домой.

— А то он такой, услышал слово, и ну его повторять! Сел с отцом в шашки играть и как скажет ему: Я твою дамку сейчас... Ну, вы понимаете. Слово такое, оно не матерное...

— Да, понимаю, — смутилась учительница.

Мальчик отлично помнил тот вечер. Он никогда не ругался, хотя и знал некоторые слова. А Витька, главный заводила в классе, научил его слову «трахать». Он и сам часто употреблял его — подходил и к мальчикам, и к девочкам на переменах и говорил

им: «Шас я тебя как трахну». Звучало угрожающе, но как-то безопасно, что ли. Не то что другие слова, которые даже Витька употреблял крайне редко.

Играя с отцом в шашки, он уже почти проигрывал — как вдруг заметил отличный ход: отец проморгал его, видимо, спеша поставить дамку.

— Сейчас я твою дамку и трахну! — торжествующе произнес мальчик, но больше ничего сделать не успел. Мать подошла и, схватив шашечную доску, ударила Ваню по голове.

— За что? — опешил мальчик.

— Трахнул? Ты сказал трахнул? Ты хоть знаешь, что это значит?

Ваня задумался: а вправду — и что это за слово такое, трахнул? Ну, победил, выиграл. Так за что же на него теперь орут?

— Посмотри, посмотри, бестолочь, — обращалась она к отцу. — Посмотри, кого ты воспитал. Третий класс! Теперь он у нас трахает!

Остаток дня мальчик провел в углу, стоя на коленях на гречневой крупе. Было неудобно, больно, стыдно — но, главное, непонятно. «Наказание должно быть справедливым, — думал Ваня. — Наказание должно быть справедливым».

— Вот я сейчас задушу тебя, и это будет справедливо! Как же вы мне надоели — и ты, и отец твой. Недоумки! — Мать толкнула Ваню на диван. Ее лицо было красным, расвирепевшим, и мальчик быстро понял, что совет учительницы сильно не ругать его так и не помог. Испуганная кошка подскочила, проснувшись, прыгнула с дивана и убежала в дальнюю комнату.

— Тварь! — орала Мать. — Кошку еще поранишь! Осторожно, это же животное! Ты, олух царя небесного!

Она достала штаны из пакета, несколько раз ударила ими мальчика.

— Ты до каких пор будешь над матерью издеваться! А, до каких пор, до каких пор! Кровопийца, всю кровь у меня выпил.

Внезапно Ваня ощутил, как что-то стягивается вокруг его шеи, ему становится больно и тяжело дышать. Он слышал слово смерть раньше, но не понимал, что оно означает. Не думал о ней и сейчас, но ему стало очень страшно. Он уже не слышал, что орет Мать над ним, да и вообще все звуки словно исчезли. В какой-то момент он просто начал хрипеть.

— Что ты делаешь? Ты же убьешь его!

Ваня упал на пол и сквозь слезы увидел, как отец, обхватив Мать, оттаскивает ее.

— И поделом! И поделом ему, сволочи! Слышишь ты, сволочь!!!

1/32

Когда Ваня думал впоследствии, что же произошло, он так и не смог найти объяснения. Как будто помутился разум. Но когда он ходил в туалет, всегда было скучно — занятия отвратительнее он и придумать не мог, а брать с собой книжку или газету было категорически нельзя — Мать запрещала: «В нашем доме так не принято». Обычно он рассматривал трещины на потолке, паутину в углу, но в доме недавно убрались, и паутины не было. Зато появилась банка с коричневой краской прямо возле унитаза — банка была открыта, и из нее торчала кисточка. Ваня присмотрелся: плинтус был ярче обычного, а значит, вот она зачем, банка: отец подкрашивал плинтус. Над свеженьким плинтусом начинался скучный кафель с серыми прослойками между прямоугольными кусками.

Мать говорила с подругой по телефону, до Вани доносились обрывки фраз.

— Ты слышала, что дочь Хуана-Карлоса все-таки вышла замуж за этого спортсмена?

Пока обсуждали Хуана-Карлоса, можно было расслабиться — обычно это длилось долго. Вначале мальчик думал, что это герой какого-то латиноамериканского сериала, которые он и сам иногда посматривал вместе с Матерью, но потом узнал, что это король Испании. Мать переживала за Хуана-Карлоса и его королевскую семью и регулярно следила за новостями.

Ваня впился взглядом в промежутки между кафелем и вдруг, повинувшись непонятному инстинкту, достал кисточку и несколько раз провел по линии. Та окрасилась в светло-коричневый цвет. Испугавшись, мальчик отбросил кисточку в банку. Казалось, что прошла какая-то секунда, но голос Матери в комнате изменился, стал грубее, жестче.

— Еще он стихотворение написал, я нашла недавно, — Ваня понял, что речь уже не о Хуане-Карлосе. — Он там пишет, что мы отщепенцы, отбросы общества, да, представляешь? Кто? Мы с отцом, кто еще, мы, которые для него все делаем.

Ваня ощутил знакомый холодок — Впрочем, не слишком сильный, потому что Мать говорила по телефону. Свернутую в несколько раз бумажку со стихотворением он хранил на самой верхней полке, в книжке Гектора Мало «Без семьи». Вдохновившись этой книжкой, он и написал тот стих, представив, будто он мальчик, вынужденный скитаться и замерзающий на жутком морозе, — совсем как персонаж той книжки. Зачем он написал тот стих? Да просто захотелось, было настроение. Ему отчего-то нравилось это занятие — писать стихи.

«Но это же не про вас, это фантазия, — подумал мальчик и едва ли не впервые понял, что ощущает злость — на стих, на себя и, главное, на Мать, — Ведь можно ж было догадаться».

Он и не заметил, как Мать появилась в туалете. Ваня уже встал и теперь долго мыл руки, умывался. Он стал срочно думать, чем бы отвлечь Мать, какой завести разговор, и вспомнил, что недавно родители ставили мышеловку под ванной.

— Так вы мышь поймали? — невпопад выпалил Ваня.

И тотчас понял, что поздно.

— А это что? — Мать нагнулась над кафелем, разглядывая коричневую полосу. — Что это такое, я тебя спрашиваю? Это ты сделал?

Мальчик почувствовал, как внутри у него все рухнуло — кажется, про такое говорят «душа уходит в пятки». «Господи, какой же я дурак. Зачем я это сделал? Чем я думал?» — мысленно спрашивал он себя и не понимал. Сам навлек на себя гнев, сам создал катастрофу — из ничего, на пустом месте. Разве же так было можно? И как объяснить — не Матери, а самому себе: зачем он действительно это сделал? А ведь предстояло еще и Матери.

— Это что? — Мать уже была близка к крику. Оставалось совсем чуть-чуть. — Какашки? Ты измазал какашками стену? Ты что, совсем идиот?

Ваня опустил глаза в пол и молчал. Он представлял, будто сидит в тихом сквере, на лавочке. Он один, вокруг него никого нет. И тишина, только дует ветер. Щебечут птицы. Мать черной тучей нависала над ним, он закрыл глаза и зажмурился. Нет, он не ждал удара — Мать если и била его, то только ремнем. Но как часто он думал, что лучше бы била, лучше бы случилось что угодно, хоть бы он провалился в ад на сковородку с кипящим маслом, только бы не этот надрывный, дикий, истошный крик. Только не он, Господи! «Иже еси на небеси, да святится имя твое», — вспоминал он слова молитвы. — «Как и прощаем мы должником нашим». Должником? Почему должником? Почему не должникам, как было бы просто и понятно? Ваня знал слова молитвы наизусть: Мать водила его в церковь, на длинные и изнурительные службы, а самой страшной была ночная — но как Ваня мечтал теперь оказаться даже на ней. Только бы не крик! Не крик!

Лицо Матери сжалось в страшную гримасу.

— А ну отвечай! Какашки? Какашки, да?

За всю свою маленькую жизнь Ваня запомнил: нет ничего страшнее, чем говорить правду Матери. Ври, придумывай, выкручивайся, юли — только не говори правду. Никогда! Мальчик не знал, как это поможет ему сейчас, но, набрав воздуха, твердо сказал:

— Да. Я измазал стену какашками.

Ему стало противно. Мать торжествующе распрямилась.

— То есть ты хочешь сказать, что в здравом уме, будучи нормальным человеком, ты взял и измазал какашками стену?

Мальчик потупил взгляд. «Хочешь сказать». Что это значило — хочешь сказать? Он ничего не хотел говорить, это было понятно, он был вынужден говорить.

— Я уже ответил.

— Ответишь еще раз, — взревела Мать. — Сколько надо, столько и ответишь! Родила идиота! Боже мой! Родила на этот свет идиота! Господи!

Она несколько раз ударила себя в грудь и разрыдалась.

— Отмывай, — приказала она. — Вон там в углу тряпка, бери и отмывай. Чтобы я пришла, и ничего этого не было.

Мать направилась в комнату, причитая и охая, а Ваня смочил тряпку и молча стоял, смотря на нее. Тряпка казалась ему спасительницей, он цеплялся за нее не только взглядом, а всей своей маленькой напуганной душой. Он мечтал о чуде и мысленно просил тряпку совершить это чудо.

— Пожалуйста, — сказал он тихо.

Но Ваня, конечно, знал, что не ототрется. Краска плотно въелась, и даже чуть-чуть оттереть было невозможно. Мальчик раз за разом мочил тряпку, подносил ее к стене и тер — просто чтобы проходило время. Быть может, время, если не тряпка, поможет ему. А если не время, то, наверное, и ничего.

Помнил Ваня и о том, что это не последнее испытание, которое ему предстояло за день. Сегодня в школе ему поставили за сочинение необычную оценку — пять с четырьмя плюсами. Сочинение было простым, на вольную тему: написать о своей жизни, о том, как проводишь время, чем интересуешься, что любишь. Что-то вроде знакомства с учениками — ведь у него снова появились новые учителя. Роковая ошибка была в том, что, вернувшись из школы, он уже успел похвастаться. Теперь, в новых обстоятельствах, это было совсем зря. Он не любил в себе хвастовство — но, с другой стороны, кому как не родителям рассказывать об успехах. Тем более отец был дома. Правда, сейчас это не очень помогало — отец читал газету и пил чай. Отозвавшись на стенания матери, он вяло зашел в туалет, сразу понял, в чем дело, и вышел.

— Вот не будет матери, будешь вспоминать и плакать, — доносилось до Вани из комнаты. — Будешь проклинать себя, что не любил ее, не жалел, что делал все для того, чтоб она сохла раньше времени. Только уже будет поздно! Локти будешь кусать.

Через час пустых попыток оттереть краску в туалет снова зашел отец.

— Пойдем, — сказал он. — Мама что-то спросить хочет.

Ужас новой волной подступил к горлу, но Ваня старался не выдать паники.

— Сейчас руки помою.

— Пойдем, — настойчиво повторил отец. — Мама ждет.

Ваня почувствовал, как задрожали ноги и руки. Не помня себя, он вошел в комнату. С надеждой взглянул на отца, но отец отвернулся. Ваня знал: убить его отец не даст, но все остальное — пожалуйста. Рассчитывать было не на что.

— Ничего не хочешь объяснить? — спросила Мать.

— Я оттираю, — потупив взгляд, сказал мальчик.

— Мы к этому еще вернемся. Отец сказал, что там на самом деле. Ну?

Ваня смотрел на нее и не понимал, что «ну?». И только потом заметил, что на журнальном столике разложено несколько карточек. Они были цветными, в центре каждой карточки была цифра, а периметр обведен в толстую рамку. Цифры были отпечатаны на карточках — они предназначались для какой-то игры, которую Ваня не помнил, а вот раскрасил карточки он сам — цветными текстовыми делителями. Рамки нарисовал тоже — толстым черным маркером.

— Зачем? — Мать поймала его взгляд. — Что все это значит?

— Это... Это... — залепетал Ваня.

— Слушай, не придуривайся уже, ответь на вопрос нормально, — оторвался от газеты отец.

— Да я...

Ваня оторопел. Для него было настолько неожиданно, что Мать найдет карточки — это было так давно, что он уже и забыл про них, а тем более что станет спрашивать про них. Мальчик решил зацепиться за этот аргумент как за спасительный.

— Это было давно, — сказал он.

Но Мать только всплеснула руками и заорала:

— Давно? Какая разница, когда это было? Я тебя спрашиваю зачем, не когда. Ты понимаешь разницу? А если бы ты человека убил, и это было давно, ты бы тоже сказал, да? Давно — не имеет значения!

Ваня подумал, в каком возрасте он мог бы убить человека, чтобы это было давно, и неожиданно улыбнулся. Это привело Мать в ярость.

— Ты что, смеешься, когда Мать с тобой разговаривает? Я что-то говорю смешное? Или ты над Матерью смеешься, а, гаденыш? Отец! Оторвись ты от своей газеты! Посмотри, какого гаденыша мы с тобой воспитали. Не гаденыша — гадину!

— Мне было просто скучно, — сказал Ваня. — Я не знал, чем заняться, и вот...

— Что вот? — победно заорала Мать. — Что вот? Что ты сделал, а? Я слушаю!

— Раскрасил эти карточки.

— Что это значит? Девятка у тебя красным, пятерка желтым. Почему это, зачем? Отец, я не могу с ним.

— Это ничего не значит, — тихо сказал мальчик. — Это просто так.

— Не дури мне голову, ничего не может быть просто так. У всего есть смысл. Какой смысл здесь, зачем это? Господи, за что, кого мы воспитали! Когда человеку скучно, он читает книжку, телевизор смотрит, радио. Ты понимаешь это, а?

— Да, понимаю, — Ваня знал, что лучше не перечить.

— Нормальный человек не раскрашивает карточки просто так. Если ты так будешь делать, нормальный человек из тебя не вырастет.

— Я больше не буду, честно, — сказал Ваня.

— Еще бы, — бросила Мать. — Конечно, не будешь. Эти карточки я у тебя заберу, и ты их больше не увидишь.

Мальчик пожал плечами.

— Это еще не все, — довольно сказала Мать и повернулась к отцу. — Ну чего ты сидишь, может быть, ты скажешь?

— Так ведь у тебя был какой-то вопрос, ты и спрашивай, — удивленно отозвался отец. — У меня вопросов не было.

— Ну понятно, — вздохнула Мать. — Вечно мне все одной надо. Как будто это мой сын.

— Вообще-то, твой.

— Не паясничай, — презрительно ответила Мать. — Паяц нашелся. Мы прочитали твоё сочинение.

Мать резко обернулась к Ване.

— Кричу я, значит, много, да? А когда мать много кричит, кошка потом приходит и тебя успокаивает, лечит. Так ты же писал, да?

— Там не только это, — глухо сказал мальчик.

— Что там еще, меня не интересует. Зачем ты это вообще пишешь? Зачем учительнице знать, что я кричу? А? Ты же не пишешь, почему я кричу, кто меня доводит. Какой хитренький, а! Посмотрите!

— Прости, пожалуйста, — сказал мальчик.

— Так если бы! — продолжила Мать. — А зачем писать, сколько вы ждете электричку? Когда ты с бабушкой ездил на дачу. У тебя вот целый абзац — про электричку. Как вы ее ждете, какие рельсы, платформа. Красная строка — и снова, пожалуйста, про электричку! У тебя полсочинения про электричку. У тебя вообще все дома, я хочу спросить?

— Не знаю, — промямлил мальчик. — Так получилось.

— Так получилось у него. Электрички, потом троллейбусы! Ты и рисуешь троллейбусы. Тебе в школе задали нарисовать муравья, а ты взял и нарисовал троллейбус!

— Мне поставили пятерку, мам.

— Да плевать, что тебе поставили! — взвилась Мать. — Что ты мне талдычишь, как болванчик: поставили, поставили! Рисование не предмет. И литература твоя не предмет! Человека из тебя это не сделает. При чем тут муравей и при чем троллейбус? Ты мне можешь ответить! Я же вижу, что ты делаешь из конструктора? Троллейбусы. Я говорила с тетей Ирой, она считает, что ты у нас странный мальчик. Да кого ни спроси, все вокруг говорят, что ты странный. Все нормальные люди.

Ваня молчал, пристыженный.

— А зачем цифры раскрасил-то? Цифры? Пятый класс, скоро шестой! Мы в этом возрасте в походы уже ходили, а ты цифры раскрашиваешь! Ну ответь мне, я мать, я люблю тебя. Я должна знать. Что с тобой не так?

Мальчик собрался с мыслями, через силу сказал:

— Только не кричи, пожалуйста!

Мать развела руками.

— Ты мне, сопля зеленая, еще указывать будешь, как тебя воспитывать! Вот когда свои дети будут, им и будешь указывать, что им делать. Не мне, ясно? Если кричу, значит, жизнь такая, довели, значит, ясно! Один вон сидит, газеты читает, другой рисует троллейбусы. За что меня Бог наказал-то? Подойди поближе, ну же, подойди.

— Зачем? — спросил мальчик.

— Мать говорит подойди, значит, подойди, ясно?

Ваня сделал два тяжелых шага.

— Запомни, — Мать приблизилась к нему, подняла палец. — Я хочу все знать, что ты делаешь, чем ты дышишь, куда ходишь, чем живешь! Все, понимаешь, все, ясно?

— Ясно, — сдавленно ответил Ваня и зажмурился.

— Твоя жизнь — это моя жизнь! Я тебя ррродила! — гремел голос матери. — Ррррродила! Я твоя мать, кровная! Ближе тебя у меня никого нет, и ближе меня — у тебя. Нет и никогда не будет. Заруби на носу у себя это, чтоб от зубов отскакивало! Я — твоя мать, ясно?

— Ты моя мать, — повторил Ваня.

давно он, второкурсник, встречал после пар свою девушку, которая училась на год младше, — и они беззаботно и весело проводили время: гуляли, ходили на выставки и концерты, пили дешевое, но такое вкусное вино и пиво. Он видел в ней себя, всю жизнь, весь ее смысл.

— Тебе всего-то и надо для счастья, чтобы тебя любили, — сказал однажды приятель, и Ваня подумал: а что, пожалуй, это действительно так. Мир влюбленности открылся ему позже, чем сверстникам, которые уже с девятого класса школы мучили, гуляли, ходили вместе, как это смешно называли некоторые из них. Тогда Ваня чувствовал острое одиночество, теперь же ему казалось, что он всех их обошел: его любовь и глубже, и острее, и серьезнее, а главное — надежнее. Он был уверен, что уж если такое случилось, оно не может быть не навсегда. Ослепленный собственным чувством, он и не заметил, как менялись их отношения, как тонул, стремительно вбирая в себя воды, корабль их чувства, а он все стоял на палубе и любовался закатом, который был так невыносимо красив.

Он понял все только теперь, словно вода залила весь трюм моментально, словно и не было капель на потолке, струй, бежавших по стенам, набиравшего силы течения, сбивающего с ног. Нет, для него все было безоблачно, и вдруг, совершенно внезапно, без всяких на то причин, во всем его мире воцарилась черная ночь.

Вчера Ваня услышал, что больше они не вместе.

— Снежана, — говорил он, пытаясь остановить подступающее к горлу отчаяние, но так и не сумев это сделать. — Но этого же просто не может быть.

Он выглядел жалко. Но мир рушился, а он стоял посреди этого мира, обратив взгляд в грозное небо, и только кричал:

— Почему? Зачем? За что все это со мной?

Ничего не имело значения, ничего не было наделено смыслом. Жить было незачем, да и можно ли было назвать жизнью тот ад, который поглотил его вчера и вряд ли когда-то отступит. Впереди ничего не ждало, было только прошлое, которое болело, и настоящее, которое опустошало. Будущее могло быть, но он упустил его — и даже не понял как.

Ваня не мог ни есть, ни спать, только вливать в себя литры дешевого вермута, на который хватало денег: трезветь было просто нельзя. Он бродил по району, нигде не находя себе места, он орал, он резал руки, он бил кулаками бетонные стены, он — что скрывать — даже плакал. Он отправлял Снежане эсэмэски, но она не отвечала. Ей больше нечего было сказать.

Домой пришел поздно, под утро, надеясь, что Мать уже спит — только бы не говорить, только бы не говорить с нею! — переночевать. Ему повезло дважды: Мать спала, а утром, когда он проснулся, то обнаружил, что ее нет дома. Ваня собирался с мыслями — нужно было поехать к Снежане, караулить ее возле дома, что-то придумать, сказать. Но что? Он отчаянно затыкнулся. После утренней сигареты к горлу подступала отчаянная тревога, но Ваня уже знал, чем можно ее притупить: возле кровати стояла бутылка вермута; еще где-то треть была недопита. Парень с жадностью влил в себя вермут, сморщился, согнулся пополам — его едва не вырвало. Постоял, пришел в себя.

— Допью и пойду, к черту это, — сказал он пустоте. Быстро натянул джинсы, пересчитал деньги — еще оставалось несколько сотен. Напялил футболку. Можно было выходить.

Внезапно накатило такое отчаяние, такое безумное и не передаваемое словами ощущение одиночества, что Ваня схватился за голову, сжал виски. Застонал. Нужно было отвлечься на что-то, не думать о том, что случилось, хотя как об этом не думать, черт возьми, как это вообще возможно!

Ваня знал, что когда-то она закончит, что и он закончит с уборкой, выбросит все стекла и отдраит полы. А после он спрячется и затихнет, как делал уже не раз. Он будет прислушиваться к каждому шороху из соседней комнаты, к каждому действию Матери, трясаясь и снова надеясь. Потом ей кто-нибудь позвонит, и Мать отвлечется. Или пойдет мыться — этот вариант тоже неплох. Ему понадобится несколько секунд, чтобы схватить ботинки, резко вогнать в замочную скважину ключ — только бы не дрожали руки — и пару раз провернуть. Вытащить и выскочить на лестничную клетку. Преодолеть несколько пролетов, отдышаться, прислушаться к звукам, натянуть ботинки и выбежать на улицу. Прокрасться вдоль самой стены дома, фактически прижавшись к ней, чтобы Мать не увидела из окна сверху и не принялась орать во двор. Повернуть за угол — и свобода!

Вот только эта свобода фальшивая, все равно помнил Ваня. Когда наступала ночь, идти ему было некуда. И даже если переночует у кого-то из друзей или в чьем-то теплом подъезде, то все равно так долго не продлится. Ему непреодолимо нужно будет возвращаться. Возвращаться в родной дом — и хуже этих слов для Вани, кажется, не существовало.

«Это же первая любовь! Как можно было так растоптать ее, бесцеремонно вторгнуться и задавить все грязными тяжелыми ногами! Как можно так не понимать, так не чувствовать жизнь, не видеть, что в ней ценно?!» Ваня чувствовал, как что-то меняется в его отношении к Матери. Нет, оно не менялось трагически, к нему лишь добавилось несколько новых красок. Красок, которые не стереть.

В том же самом подъезде, где он так спешно обуется, чтобы скорее бежать, Ваня найдет себе девушку — спустя какой-то месяц после Снежаны. Тогда он откроет для себя другой мир, темный и не слишком радостный, но все-таки не беспросветный — мир, в котором люди встречаются без любви. У Нади можно будет ночевать, с ней можно будет пить и даже иногда о чем-то разговаривать. Она будет немного старше и совсем не такой красивой, как любимая Снежана, которую он будет помнить еще много лет. Но Снежаны не будет, а Надя будет — в этом и окажется ее главное достоинство. С Надей будет хоть немного отпускать, в ее объятиях будет не так больно.

Закончится это быстро. Как Мать будет душить Надю, прижав к кровати в ее квартире, а он — метаться по комнате, не зная, что предпринять, и только шептать: «Не надо», «Не надо» — Ваня тоже запомнит надолго. Матери не потребуется много времени, чтобы вычислить, где он проводит время.

— Я его мать, поняла?! А ты — сопля малолетняя!

После того события Ваня и вправду станет проводить больше времени дома. Мать не узнает, что в мыслях, вспоминая о ней и разговаривая с ней, он будет называть ее «Грузное Тело». Он не сможет вспомнить, как впервые пришло к нему это сравнение и почему оно так прицепилось — оно выплыло откуда-то из детства, из давних времен, которые хотелось забыть.

«Грузное Тело ушло», — будет думать он с облегчением после хлопка входной двери. «Грузное Тело пришло», — с тревогой, услышав, как зазвенела связка ключей в подъезде.

Ване долго не будет стыдно.

1/8

— Ага, — ответил Ваня, глянув в дверной глазок, — щас.

И тотчас, осознав двусмысленность фразы, поправился:

— Ну, в смысле, сейчас открою.

За дверью стояла женщина — подруга Матери. Мать почему-то всегда говорила, что она и его, Вани, подруга. Женщина была моложе Матери, стройнее, преподавала в школе — вот, собственно, все, что Ваня о ней знал. А главное — хотел знать. Но подруга Матери была доброжелательная, и Ваня искренне радовался, что пришла она, а не Мать.

Парень повернул ключ в замочной скважине, толкнул дверь. Подруга Матери странно, словно бы неловко улыбнулась, и тут он увидел, как справа, с лестницы, скрытой из поля обзора дверного глазка, спускалась Мать. В ее движении было что-то фундаментальное, монолитное, словно бы памятник сошел с постамента и зашагал тяжелыми, грузными шагами — Ваня видел такое в мультике; и он тотчас же понял, что движения Матери не просто таят в себе, а источают угрозу, сочатся ею. К своим двадцати двум он безошибочно определял эту угрозу.

— Ну здравствуй, — сказала Мать, заходя на порог. Ваня попятился. Конечно, он догадывался: то, что сейчас будет происходить, когда-нибудь должно было случиться, но ведь не прямо сейчас! Прямо сейчас он понимал, что не готов, но и бежать было уже поздно. Словно читая его мысли, Мать бросила с порога торжественно-печальным голосом:

— Ты бы иначе сбежал, сын. У меня не было другого выхода.

Сбежал бы, это точно, думал Ваня. В последнее время он месяцами жил у друзей, перебиваясь с квартиры на квартиру — не сказать, что из-за Матери, конечно, но если бы не вопли и истерики, когда он возвращался, то оставался дома куда чаще.

— Чай? — глупо спросил Ваня.

— Нет, спасибо, я ненадолго, — ответила подруга Матери.

Мать смолчала, прошагав в комнату. Тяжело села на диван, продышалась.

— Иван, — начала она. — Ты ничего не хочешь нам сказать?

— Ничего, — как можно спокойнее ответил Ваня и отошел к окну. Присел на стул.

— И не догадываешься, по какому поводу мы собрались, нет?

Мать испытующе смотрела на него.

Ваня стал думать, что, возможно, действительно есть варианты — какие-нибудь более простые, в которых он тоже, разумеется, был виноват, но не настолько. Впрочем, присутствие подруги Матери не оставляло просторов для интерпретаций. Он посмотрел на нее с обреченной надеждой.

— Ладно, чего далеко ходить, — сказала она. — Мама была в институте.

Все стало окончательно ясно.

— Ты провалил экзамены, — начала Мать. — Зачем ты меня обманывал?

— Я не обманывал, — ответил Ваня. — Я ничего не говорил.

Мать и без того еле держалась, а услышав эти слова, рассвирепела.

— Что это значит — ничего не говорил? Соккрытие фактов — это тоже обман. Ты чего, не знаешь?

Эту фразу Ваня помнил с детства. Он решил, что ничего не будет отвечать. Ему предстояло прожить ужасное время, и на сколько дней оно затянется, Ваня не знал. Самое страшное предстояло сегодня, сейчас.

— Мы с отцом тратим деньги — чтобы ты учился, все эти взятки деканам, завкафедрой, всем этим гребаным профессорам. И что? Чем ты нам отвечаешь? Где твоя благодарность? Ты как будто не хочешь учиться.

Ваня не выдержал:

— Я тебе говорил, что не хочу там учиться. Еще с третьего курса. Мне не нравится там, мне это не нужно.

И тут же пожалел.

— Да как может нравиться-не нравится! Это надо просто, и все. Надо! Кто будет матери на старости лет помогать, если ты не будешь учиться. Тебе осталось полтора года. Получи уже этот диплом.

— И чего? И чего с ним? — отчаянно ответил Ваня. — Мне не нравится эта специальность. Как я буду по ней работать? И кому я там буду нужен?

— Ну, это, конечно, правда, — неуверенно сказала подруга Матери.

— Да какая, к черту, разница! Нравится, не нравится. Это работа. Все работают. Кому-то может нравиться работа? А? Но все работают.

— Ты не работаешь, — возразил Ваня.

— У меня здоровье. У меня по дому дела, у меня бабушка. Как ты смеешь мать попрекать?

— Но не все же работают, получается, так?

— Нет, ты посмотри на него.

— Ваня, ты лучше скажи, как ты будешь решать проблему, — встряла подруга Матери. — Экзамены-то надо как-то сдать.

— Сдам, — сглотнул Ваня.

— Ну вот и хорошо.

— Да что хорошо-то? — взревела Мать. — Что хорошо? Ты вообще в институт ходишь? Ну?

Ваня молчал.

— Ну скажи, а? Я же была в институте, я все равно знаю.

— Так зачем тогда... — начал Ваня.

— Ну правда, понятно же, — сказала подруга Матери.

— Нет, непонятно, — Мать встала и ударила кулаком по столу. — Непонятно, — заорала она. — Пусть он скажет. Ты. В. Институт. Ходишь???

Ваня сжал зубы.

— Ну что ты молчишь, тварь такая!

— Ну тихо, успокойся, успокойся, — почти шептала подруга Матери.

— Я хочу, чтобы он сказал!

— Хожу, — тихо ответил Ваня.

— Что он там сказал? Не слышу! Ты нормально можешь говорить? Или ты debil?

— Хожу, — повторил Ваня.

— Аааааааааа!!! — заорала Мать. — Аааааааааааааааа!!!!

Она бросилась к двери и бешено заколотила по ней кулаками.

— Ну что за сволочь!!! Я убью его, убью сейчас! Слышишь, тварь! Я убью тебя, сволочь!

Подруга Матери поднялась, неуверенно встала между ними.

— Тихо, ну тихо, — так мы ничего не решим.

— Нет, ну я только что была в институте, мне сказали, что месяц не видят его там, что нигде он не был, а он в глаза матери врет, гнида! Почему ты врешь, а? Почему врешь матери?

— А как тебе скажешь правду? — в отчаянии бросил Ваня.

— А вот так, — ревела Мать. — Вот так и скажешь. Раньше надо было говорить. Ты сам в семнадцать лет поступал туда. Сам выбрал!

— Но я ошибся!

— Нет, ты слышишь, что он говорит. Ошибся. Это твой святой долг — доучиться, гаденыш. Мы с отцом его кормили, поили, а он — ошибся.

— Ну бывает, бывает, — повторяла подруга Матери. — А ты, Вань, лучше бы сейчас ничего не говорил.

— Да он убить хочет мать! Убить хочет родную мать, в гроб загнать, в могилу! И это за все, что мы для тебя сделали! Подонок ты, просто подонок!

Мать тяжело задыхалась, села на диван и разрыдалась. Она всхлипывала, тяжело дыша, и что-то бессвязно говорила. Ване было все равно. Он выбрал точку на полу и смотрел на нее, не обращая внимания ни на мать, ни на ее подругу. Жизнь просто текла, шли секунды, минуты. Потом в его поле зрения попала кошка — Ваня протянул руку, чтобы погладить, и кошка потерлась носом его руку, но мать крикнула, и кошка испуганно отскочила.

— Не того жалеешь, — приговаривала Мать кошке. — Он нас не жалеет, никого, а ты его жалеешь.

Ваня вспомнил, как однажды, захотев погладить кошку, он присел и случайно наступил на хвост — и она немедленно отреагировала: со всего маху заехала лапой по лицу. Ваня крикнул от боли — лицо стало заливаться теплой кровью: кажется, кошка попала в сосуд на лбу. «Еще немного, и в глаз», — с ужасом думал Ваня. Мать, узнав, что случилось, долго ругала Ваню:

— Нет, это кем надо быть, чтоб не заметить! Ей же больно, ты чего, не можешь быть внимательнее?

Но кошку Ваня любил — любил больше, чем Мать. Может быть, меньше, чем Снежану, но Снежаны давно след простыл, а кошка оставалась. И в отличие от Снежаны, даже спала с ним в обнимку, когда Ваня бывал дома.

В памяти всплыли и другие воспоминания — как Ваня наелся снотворного, желая покончить с собой, но ничего не вышло — зато ему чудилось, как он идет домой по живым жабам и как выползают огненные тараканы из мусоропровода в подъезде его друга, где Ваня пережил первый в жизни приход. Когда казалось, что немного отпустило, друзья проводили до дома, где Мать, решив, что он пьяный, долго что-то высказывала, а он точно так же, как сейчас, ее не слушал: он смотрел, как тужится кошка, справляя большую нужду, а вокруг нее, словно в мультфильме про островных туземцев, кружатся маленькие человечки с пиками — водят хоровод.

— Я сейчас подожгу здесь все, — донеслись до него вопли Матери. — Спалю, к чертовой матери, эту квартиру. Мне не нужен такой сын! Мне не нужна такая жизнь!

Повинуясь инстинкту, Ваня бросился на колени, застонал — насколько умел:

— Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Я все исправлю, все сделаю. Я тебя очень люблю, правда.

Подруга Матери сидела рядом — и, может, что-то даже говорила, но Ваня этого не знал. Он ничего не слышал, а меньше всего хотел слышать собственный голос: ведь если он просил прощения — это никогда не было искренне. Ему было нужно остаться живым — и, по возможности, вырваться из квартиры. Если это получится, его теперь долго не будет дома.

Только бы получилось.

1/4

Но не получилось. Мать кинулась к двери, стремясь вырвать ключ. Не вышло: Иван сумел опередить ее, но чтобы открыть сначала замок, потом другой, требовалось время. Да и на то, чтобы вставить ключ в замочную скважину, тоже. Мать перекрыла дверь и вопила:

— Никуда не уйдешь! Никуда не уйдешь!

Теперь ему было слегка за тридцать. Он обзавелся женой и переехал жить в другой город. Приезд к Матери не предвещал ничего дурного. Иван сидел за столом, ел пер-

вое, второе, даже выпил пиво, слушал разговоры о еде и бытовых заботах. Монотонный голос Матери усыплял. Он поглядывал на часы — времени до поезда оставалось много. Решил зайти в комнату, в которой когда-то жил — сидел за столом, спал, стоял на балконе. Все изменилось: диван был сломан, от пола до потолка комната была забита старым тряпьем, через которое приходилось продираться. На балконе лежали завалы из старых банок, досок, газет.

Иван присел на стул, вспомнил, как сидел за этим столом, когда учился, как много провел здесь времени. Ему совсем не хотелось, чтобы это когда-нибудь повторилось, но ощущал легкую ностальгию. Открыл ящик стола, увидел несколько фотоальбомов. В них был он — от старших школьных времен, с менявшимися друзьями, в разных компаниях, с подругами, со Снежаной и, наконец, один, до того времени, пока окончательно отсюда не уехал. Когда-то давно он заботливо составлял эти альбомы, придумывал порядок фотографий, композицию. Один альбом не успел доделать, оставив почти пустым: кипа фото была просто вложена внутрь. К нему пришла внезапная догадка: в новом городе они с женой купили сканер. Наконец-то можно перевести все фото в электронный формат; когда-то он просил об этом друзей — по штучке, ну максимум двадцать. Теперь жизнь наладилась — и он мог все оцифровать. Не раздумывая, схватил пакет, бросил туда три альбома.

Пакет не ускользнул от взгляда Матери. Каких-то полминуты потребовалось Ивану, чтобы понять: он совершил не просто оплошность, а фатальную непоправимую ошибку.

— Да как ты смеешь? Какое у тебя есть право? — заревела, как раскаты грома, Мать.

Все произошло так быстро, что не было никакой возможности повернуть ситуацию вспять. Иван вяло шептал что-то вроде:

— Ну, если так надо — я положу их обратно.

Но было уже поздно. Рев Матери настигал его, окутывал со всех сторон, она на двигалась серой огромной тучей, и Иван сделал шаг к двери — один, второй, но как-то слишком неуверенно.

— Все наши фото! Мы всю жизнь с отцом их делали, а ты смеешь вот так взять и увезти.

— Да это мои, мои фото! Там вас вообще нет. И ничего вы не делали, — возражал Иван, раздумывая, что бы предпринять, как бы уйти быстро: одним движением схватить куртку, другой ботинки, резко повернуть замок и — выскочить в подъезд. А там уже проще: сбежать по лестнице — дело нехитрое, Мать не догонит, разве только будет орать, отец не станет.

— И я же просто отсканировать, — Ваня почти отвлек Мать и схватил куртку, но она все поняла и резко, оттолкнув его, метнулась к двери. Туда же рванул и он, в последний момент сумев вырвать ключи из замка. Вот только что теперь с ними делать?

Он почувствовал, как вскипает.

— Ну смотри, смотри, там нету ни х...!!! — и стал вытаскивать альбомы из пакета, швырять их на пол. — Нету, нету, б...!

Последний альбом упал пустыми страницами вниз, словно подбитая птица, и фотографии разлетелись по коридору, приводя в бешенство Мать.

К ногам Ивана упало фото, где он, еще девятиклассник, сидит в форме футбольного клуба — футболке с номером и логотипом команды, брендированных шортах. В голове молнией вспыхнул тот день. Он начинался как торжественный: они с отцом поехали в центр города, в фирменный магазин клуба и провели там почти полдня, восхищаясь ассортиментом и рассматривая вещи — чего только не придумали с символикой команды, за которую Ваня болел с детства! Но остановились на шарфе, футболке

с шортами и маленьком значке. Счастливый, Ваня вернулся домой, но там ему с отцом устроили такую взбучку, что Ваня пожалел обо всем.

— Какого черта накупили всякой дряни? — ругалась Мать. — Будет ходить как дурак. Это же не вещи, а какие-то бессмысленные тряпки. Понятно, этот идиот, головой не соображает, но ты-то куда смотрел, а? А шарф этот так вообще. Разве это шарф? Это половая тряпка...

Вообще, футбольных воспоминаний хватало. Не в смысле походов на стадионы или тем более игр — футбол способствовал еще одному эпизоду, который невозможно было стереть из памяти. Тогда Ваня был совсем еще школьник и читал журнал о футболе; в то время журнал был самым простым и надежным способом узнать результаты матчей, прочитать что-то о командах, интервью с футболистами. Однажды он увидел объявление внизу журнальной полосы — там было что-то вроде «проверь себя в роли футбольного прогнозиста», в общем, было написано интересно и интригующе. Чтобы узнать подробности, нужно было отправить бумажное письмо на указанный адрес и вложить туда пустой конверт — через какое-то время тебе присылали ответ. Ваня так и сделал. И действительно — прошло две недели, и он увидел в почтовом ящике толстый конверт с сургучом. Изучать было некогда — они с Матерью уезжали в санаторий; недолго думая, Ваня прихватил конверт с собой.

Приехав на место, мальчик увидел, что в конверте оказалась довольно скучная книжка о том, как делать ставки на матчи. Ему предлагали внести какую-то сумму денег, чтобы начать игру, сумму, надо сказать, небольшую, но Ване это не было интересно. Он забросил конверт в дальний угол санаторного номера и больше не вспоминал о нем. До тех пор, пока не нашла Мать.

— Что это ты задумал? — она ходила по маленькому номеру, словно загнанная. — Ты последние деньги хочешь у нас отнять?

— Мне просто было интересно, — пытался объяснить Ваня. — Теперь неинтересно.

— Неинтересно ему. Зато мне интересно, почему ты так ведешь себя с матерью. Почему нельзя было сказать?

— Зачем? Я все равно не собирался этим заниматься. О чем говорить?

— Не ври, — орала Мать. — Я чувствую ложь нутром, вот, сердцем, — она била себя по груди. — Мать не обманешь, помни, что я тебя родила.

В тот день вместо парков и вечерних санаторных развлечений Ваня стоял в углу и проклинал себя за то, что не успел выбросить подлый конверт. Целый день был испорчен, просто вычеркнут из жизни. «Грузное Тело», — с ненавистью думал он.

— Хоть раз в сто лет домой приехал и так себя ведешь!

Ваня понял, что так и стоит, уставившись на фотки на полу. Ну, с меня хватит, подумал он. Теперь Мать кричала из кухни; он резко направился к двери.

— Домой я уезжаю. Дом мой там, понятно, а не здесь!

— Ха, дом, — Мать скривилась. — Съемная квартирка? Не смей меня. У нас в твоём возрасте уже была своя квартира.

— Вы в вашем возрасте ее не покупали!

На шум вышла из своей комнаты пожилая бабушка. Отец тенью мелькал в проеме двери, заваривал, наливал чай.

— Что я тебе, школьник какой-то? — продолжал Иван. — Мне уже за тридцать, понимаешь, у меня жена! Хватит издеваться надо мной.

— Да кто, — вскричала Мать, — кто издевается? Это ты тиран, мать загоняешь в гроб. Ты хочешь, чтобы мать умерла! Так ты это получишь! Запросто.

Мать открыла ящик, выхватила длинный нож.

— Прямо здесь вот и прямо сейчас я убью себя.

«Господи, хватит», — думал Иван.

— Ну успокойтесь, успокойтесь, — ласково сказала бабушка.

— Чего мне успокаиваться? — орала Мать. — Я сейчас убью себя у него на глазах, пусть всю жизнь себя проклинает, что это на его совести.

— Из-за старых фотографий, — не выдержал Иван.

— Тихо, тихо, — сказала бабушка и дала ему знак: дверь. — Мы сейчас вернемся. Поговорим и вернемся. Бери ботинки, — шепнула она.

Уже на лестнице он благодарил бабушку, как только мог.

— У нее нервы расшатаны, жизнь такая, — говорила бабушка.

— С детства знаю. Побегу я. Мы увидимся еще, поговорим.

— Конечно, конечно, — бабушка взяла его за руку. — Ты уж нас не бросай.

— Спасибо! Я тебя люблю, — сказал Иван.

— Все будет хорошо. Я желаю тебе удачи. Во всем желаю удачи! Всегда.

После тяжелых встреч в родительской квартире Иван долго приходил в себя. Но ритм другого города затягивал, и он забывал о случившемся, а вместе с тем и о Матери. Ему никогда не дышалось настолько легко прежде. Он чувствовал себя свободным от страха и тревоги, которые в нем вызывала Мать. И даже часто бывал счастлив.

Мать приходила во снах. «Муть, жуть и ужасы» — так бы мог сказать Иван про любой свой сон. И хотя Мать появлялась в них нечасто, но эффектно. Однажды ему приснилось, что она всадила ему три патрона в голову — да, прямо три, сон же. Чувствуя, как умирает, Ваня вскочил на кровати и долго тяжело дышал. Это было напоминанием, что пора позвонить, справиться, как дела. Последние несколько дней Мать заваливала его сообщениями о том, какой он неблагодарный сын — не отвечает, и все дела.

Было тепло, и он обыкновенно говорил, наворачивая круги вокруг трансформаторной будки, во дворе, зажатом со всех сторон гигантскими многоэтажками, каких не было в его городе. Так проходили год, два, три, пять после того случая с альбомом — а он все так же жил здесь, все так же выходил во двор, все так же ходил вокруг будки.

Мать что-то говорила о себе и о своих каких-то новостях — как правило, они все заключались в том, как безотраднa у них жизнь и как же много в ней проблем. Иван не помнил, чтобы за долгие годы они обсуждали что-то еще. Он настраивался не ее монотонный голос, словно на шум дождя. Он не слушал, просто держал трубку возле уха. Вклиниваясь лишь в какие-то обрывки. Он знал, чем обернется разговор ближе к исходу часа — к разговору о том, какой он плохой сын. Что-то тонуло сразу же, в бездне невнимания, что-то откладывалось и обрывочно, против его воли, всплывало в памяти потом.

— Ну и как там?

— Снимаю. Снимаю, как и всю жизнь.

— А почему ты нас не зовешь?

— Что здесь делать? Живу и живу. Моя жизнь — не аттракцион, да и дел много.

— Тогда приезжай домой. Чего ты там все...

— Я говорил, что мой дом здесь.

— Но тебе надо приехать, — голос Матери становился жестче. То да се. Обои. Шкафы. Диваны. — Ремонт надо делать с отцом.

Иван вздыхал и смотрел в небо.

— Я не могу, работаю. Лишиться работы — не вариант. Потом не найдешь ведь. А за жилье все время надо платить.

На самом деле любая минута, проведенная в гостях у Матери, была ему в тягость. Отца как будто не было — его функция заключалась лишь в том, чтобы быть придат-

ком к Матери, выполнять то, что она скажет, и худо-бедно обеспечивать жизнь. Мать же с первой секунды наваливалась на него таким шумом, ни на секунду не прекращая бессмысленную болтовню, а если Иван долго не участвовал, то начинала злиться. Его от силы хватало минут на пять-десять, даже если они не ссорились. А приезжать на неделю — нет, упаси Господь.

— Ты мужчина, ты должен нам помогать. А ты что ты там делаешь? Шляешься?

— Я давно уже не шляюсь. Все, с кем я шлялся, остались там... — он не стал договаривать: в городе, в прошлом. — Работаю, сто раз сказал.

— Ну и кем же работаешь?

— Менеджером в рекламной фирме.

— Менеджером! А конкретно где? Как называется?

— Просто работаю, — вздохнул Иван. — Разве этого недостаточно?

— Ну и что, это та работа, ради которой стоило бросить мать?

— Сейчас все работают менеджером, — ответил Иван отстраненно. — Давай не будем.

— Ну да, и жена твоя тоже вон, менеджером.

— И что? Что она-то тебе?

— С чего ты взял, что она тебе хорошая жена? Ты даже нас с ней не знакомишь. Может, она какая-нибудь...

— Так, хватит, — сжал зубы Иван.

Обстановка накалялась.

— Никакая жена не заменит матери. Хоть бы ты когда-нибудь это понимал. Я болею, сын! Помнишь, что я болею? А тебе, конечно, все равно.

Мать говорила печально, но при этом отчетливо зло. Иван, конечно, знал и помнил, что она болеет. Болезнь была не из простых, из тех, о которых говорят тихо и с придыханием. Он не желал зла матери и уж тем более не злорадствовал — напротив, он хотел бы, чтобы она справилась с болезнью. Но для себя решил: если ситуация примет непоправимый оборот, то он вряд ли станет расшибаться в лепешку, вряд ли станет тем, кто подчинит всю свою жизнь этой беде. Нет, то, что сможет — сделает. Но только то, что сможет.

— За что ты так ко мне относишься? — Иван снова вспомнил, что еще говорит с матерью. — Ведь ты же сам не любишь эти разговоры про детские травмы, про, как ты говорил там, психотерапию?

— Было дело, — кивнул Иван. — Но здесь не тот случай. Не могу я. Хотел бы, а не могу. Ведь все это продолжается и сейчас.

— С возрастом пора бы. С возрастом люди становятся умнее.

«Снова хочет меня уколоть. Нет, с возрастом только хуже».

— Ты бабушке сказал, что ее любишь. А мне ты таких слов не говорил давно. Если вообще говорил.

— Поймай, — прервал Иван. — Ты постоянно говоришь мне, что я не такой. Что я неправильный сын. Что ты хотела другого. Что я не тем занимаюсь, не так живу, а потому тебя все время не устраиваю. Каждый наш разговор заканчивается этим. Я мать, ты сын, ты обязан. Может быть, хватит? Ну не работает это все. Может, хоть когда-нибудь попробовать что-то другое? Не надо меня попрекать тем, что я не звоню. Не надо попрекать, что чего-то там не говорю. Любовь не вырывают из глотки, не вытягивают клещами.

Этот образ — клещи, веревки, щупальца — часто вспоминался Ивану, когда он думал о матери. Теперь, в другом городе, ее щупальца до него не дотянутся, не обовьют его, не сдавят дыхание. Он словно рубил их — и они ослабляли хватку, но не отступали совсем. Иван, как и когда-то Ваня, знал, что они не отступят. Что это невозможно.

«Люблю ли я? — думал он. — Я не знаю. Я знаю, что хороший сын это должен. Но как пробудить в себе то, чего нет? Из чего это вытянуть? Как внутри себя взрастить?»

— Я хотела, чтобы ты вырос мужчиной. А не вот этим...

— И что? — с иронией спросил Иван. — Как, получилось? Может быть, методы все-таки были не те?

— Мы ведь не знали, как тебя воспитывать. Мы сами были молодые, и мы не знали как. Где это написано? Как нам было научиться? А потом изменил отец, первый раз, а я так во все верила. Я верила, что мир добрый. А он оказался такой. А потом девчонистые, вещевой рынок, помнишь? Что мне было делать? Как жить? Ведь и ты был не подарок. И отец. И родственнички. Вы все черствые люди. Я так хотела всегда любви, я без нее умирала. А вы ни на что не способны. Ни на что.

Иван подумал, прежде чем сказать, но все-таки не выдержал.

— Я вот думаю. Мне сейчас за тридцать пять. Когда мне было десять, а ты бесконечно орала, тебе ведь сколько было? Тридцать два.

— Ну и что? И что ты хочешь сказать?

— А то, что я общаюсь с женщинами, которым примерно так же. Ну в силу возраста, в силу работы, да просто так, неважно. Никто из них себя так не ведет. Таких женщин нет. Это возраст, когда можно было жить, что-то делать, чем-то интересоваться. Ты ничего не делала, а интересовалась только тем, чтобы орать. Ну что, неправда?

— Заткнись, заткнись, заткнись, — закричала Мать. — Замолчи. Ты не имеешь права мать судить. Ты кто такой!

— Ну да, говно на палке.

— Да ты не слышишь. Ты не понимаешь нас. Хоть бы раз услышал. Ты слышишь только себя, только себя одного. Ты, эгоист чертов!

— Хватит, — крикнул Иван в трубку. — Я всю жизнь тебя слушал! Не хочу, не хочу больше.

Он замахнулся, чтобы швырнуть телефон о стену, но передумал и сбросил разговор. Он знал, что все это повторится. В таком же виде, как сейчас, может быть, мягче, может — жестче. Но это будет всегда. «Всегда, пока не...» Дальше эта мысль не продолжалась.

Сейчас Мать начнет слать километровые сообщения. Нужно скорее заблокировать, чтобы не выйти из себя. Пройдет две-три недели, и он снова снимет блокировку. Все снова пойдет по кругу. Но сейчас он придет домой. Да, на съемную квартиру, это не отрицаешь — но впервые за всю жизнь: домой.

1/2

Сидеть у окна скоростного поезда и смотреть, как мелькают столбы, проносятся станции, скорбят о собственной участи маленькие покосившиеся дома — это сиюминутная радость для человека его возраста. Возраста, в котором все мелькает и проносится, а скорбят порою даже те, чья жизнь не располагает к скорби.

Ивану хотелось отгородиться от внешнего мира, не слышать шума вокруг, постоянных объявлений в вагоне и предложений проводников. Он вставил беруши и отвернулся к окну, зевая. Предстояло несколько часов поездки.

Все больше с годами мыслей, от которых невозможно отделаться, которые проникли в тебя настолько, что стали частью тебя. Прислонившись к окну, Иван ехал и размышлял: а могло ли вообще быть иначе? Могло ли все сложиться по-другому, был ли на это какой-то шанс? Может, он сам был не прав с этими дурацкими штана-

ми — ведь нужно быть внимательнее, так не только штаны в спортзале, а целую жизнь можно забыть. И даже не заметить. Какой урок могла преподать ему Мать, чтобы этого не случилось? Да и была ли она — в те годы, в тех стремных условиях жизни — такой единственной Матерью? Ведь он пожил и многое узнал — и о том, какими бывают люди, и о несчастной жизни детей. Ну так что же теперь жаловаться?

Иван ведь и не жаловался. Но пытался ли он заглянуть за ширму отчуждения, попытаться посмотреть на мир, на самого себя другими глазами — глазами Матери. Пытался, иногда пытался. Но это не помогало ему. Да, он понимал логику, он понимал, может быть, правоту, но он не мог понять, как рождается крик. Почему он неизбежен. Какова его природа. Почему — только он.

Было ли ему за что-то стыдно? Безусловно. Он был нелепым ребенком и стал таким же взрослым — сам себе на уме, со странным внутренним миром, если считать, что этот внутренний мир вообще есть. С ним было бы сложно любой другой матери, и ему — сложно с кем-то другим. «Родители — это начальство» — так говорил он при случае, хотя и видел, что в новом мире это совсем не так. Но его Мать не жила в новом, она и не знала о нем.

Да вот хотя бы за то, что называл ее «Грузное Тело». Как-то само родилось, прилипло. Но стыдно. Действительно стыдно.

Или за то, что еще в детстве несколько раз убежал из дома. После ссор с Матерью Ваня пешком шел к родственникам на другой конец города, или к друзьям родителей в другой населенный пункт, или вообще просто так — куда-нибудь подальше. Бродяжничал несколько дней. Был ли крик Матери поводом, чтобы это случилось? Безусловно, без него не убегал. Но нравилось ли ему так вот путешествовать? Если забыть про Мать, про ссоры. Нравилось. А потому и убегал.

А когда постоянно бухал, в любое время ночи приходил домой, ни с кем не общался, дымил в своей комнате, слушал на максимуме музыку или подыхал на отходняках — да как Мать вообще это вытерпела? Ведь даже если человека и любить... Вот сам бы он, Иван, теперь, в своем нынешнем возрасте, хотел бы такого соседства? Да пусть и с сыном, пусть и с чертом лысым — никогда. Но Мать жила с ним.

Было и такое — уже во вполне сознательном возрасте, после университета. У Матери что-то болело, и она просила сделать укол. Простой укол — в ягодичную мышцу, она бы даже показала как. Но Иван отказался. Да, он боялся уколов, у него бы тряслись руки, он действительно боялся сделать что-нибудь не так. Это все правда. Но ведь отгнал мысль сразу, не дал себе даже задуматься: а почему бы не поставить Матери укол? А почему бы не попробовать? Об этом случае Иван не помнил долго, но когда вдруг случайно вспомнил — то больше не забывал. И всякий раз испытывал жгучий стыд, словно его самого кольнули. Он хотел бы это изменить.

Он помнил, как Мать болела последние годы. Да а и вообще, оглядываясь назад — она жила ужасной и несчастливой жизнью. Наверное, когда-то было время, когда она могла все изменить, если бы захотела. Потом это время прошло, и было уже не выбраться. Да и с отцом было почти то же. Ваня вдруг вспомнил, как Мать называла его Башмачкин — именем самого странного, забитого персонажа русской литературы. Называла с нежностью и вряд ли имела в виду самого героя — только фамилию, казавшуюся милой и забавной. Правда, ведь все имеет значение. И это имело тоже.

Но ведь помимо этого Мать называла его «чижик». Такое странное, доброе слово. Вместо всех этих зай и котиков. Это ведь хорошо. Это та часть жизни, которую стоило помнить.

А что сделал он, Иван, Ваня? Ничего. Он только дистанцировался, чтобы спасти себя. Только-то.

Но ведь было и что-то хорошее. И любовь была от Матери, пускай он не нуждался в такой любви, и помощь была. Да, Мать не могла помочь ему в каких-то жизненных проблемах, подчас делая хуже, но бывало, что помогала деньгами, когда он в этом так нуждался. Хотя у самой их никогда не водилось много. Кто-то скажет, что помочь деньгами проще? Но нет — Ваня знал — ни хрена не проще. Может, когда человеку помогают деньгами, это и значит, что его по-настоящему любят. Никто не хочет отрываться от себя деньги, вот советчиков и слушателей — этих всегда полно.

Мать помогала со здоровьем, искала врачей, клиники — Ваня не помнил это все и не ценил, потому что это было очень давно. А ведь кто знает — может, если бы Мать этого не делала, его бы уже не было в живых. Он бы и школу не окончил.

В его детстве были и редкие марки, и наклейки из-за рубежа, и кошка с собакой. И книги, которых сами родители не читали, но ведь он такую возможность имел. Да та же «Без семьи» Гектора Мало, стих по мотивам которой так разъярил в его детстве Мать — узнал ли он вообще об этой книге, если бы сама Мать — ну пускай и с отцом вместе — когда-то ее не купила?

Детство было не худшим, и если маленький Ваня мог с этим не согласиться, то взрослый Иван отчетливо понимал. Иногда Мать водила его к психологу и даже какое-то время ходила сама. Она хотела как-то с ним сблизиться, она искала пути. Пусть уж что вышло, то вышло. Да, сколько бы Иван ни вспоминал, он даже теперь не смог бы вспомнить ни одного момента настоящего, подлинного единения, когда они были бы с Матерью в чем-то близки. Не было, и с этим жить. Никогда не было. «Но только ли из-за Матери? А умеешь ли ты сам любить? Не Мать, а вообще кого-то? Научился ли за всю жизнь? То-то же. И что ты можешь ставить ей в вину? Ты хотел быть другим, лучшим, но ведь понимаешь: не стал».

Он вспомнил вдруг бабушку, тогда еще живую, молодую. Вспомнил, как смотрел с ней в детстве «Звездные войны» — тогда было всего три части. Вот это было единение. Ваня всегда удивлялся, почему она так любит эти фильмы. «Не будь как Дарт Вейдер», — говорила она маленькому Ване. «А вдруг я уже стал?»

Мать, между прочим, спасла котенка. Когда ей было тринадцать, она залезла на дерево, чтобы его достать, и неудачно упала. Ей делали несколько операций. А чуть позже — кинула камень в машину, когда кто-то сбил собаку и не остановился. «По-моему, ее тоже побили. Или ударили. Надо же, я не помню». Мать, правда, любила об этом рассказывать и делала это часто. Но факт от этого не перестал быть фактом.

Так почему же не вышло любви? Или хотя бы дружбы? Иван думал об этом, но каждый раз ему все было ясно. Все перебил страх. Он ничего и никогда не мог с ним сделать. На любых весах страх перевешивал, что бы ни было на второй чаше.

Противно завибрировал телефон. Его всегда раздражало, если звонила Мать. Он все ждал, что позвонит и напишет кто-нибудь другой: сначала Снежана, потом друзья, потом по хорошей работе или с чем-то интересным, с чем-то ярким. Но раз за разом в телефоне были бесконечные православные картинки, пошлые стихи, все это бесконечное прощенное воскресенье.

Иван простил бы матери все, если только не этот крик. Да, собственно, другого-то и не было. И дело было вовсе не в прощении — ничего не требовалось прощать. Он просто не мог забыть. Ему хотелось бы избавиться от всех воспоминаний.

«Но я никогда не избавлюсь. Никогда. Никогда. Никогда».

Он вдруг резко вспомнил, как Мать однажды говорила с ним. Она сидела, обхватив голову, — Иван никогда не верил таким жестам, они его раздражали: «Вот у моих каких-то знакомых, — приговаривала Мать; вечно эти знакомые, запоминать их было

невозможно, да и ни к чему, — сын буйный, попивает он. И поколачивает мать, она его боится. Зато потом, когда в себя приходит, они сидят так вместе, обнимаются. Хотя что-то. А ты...» Ване стало не по себе от услышанного, уж на что он знал Мать, но никогда бы не предположил такого. Он косо смотрел, как она улыбалась — будто блаженно, умиротворенно, мерно покачивая головой.

Машинально схватил телефон, выключил назойливый звук. Очнулся. Вокруг была непроглядная темнота, и только в далеком углу пробивался странный слабый луч, подсвечивая пыль. Было душно. Разве это поезд? Вроде и движения-то нет.

Какое-то время Ваня *пробовал* тишину. И понял, что действительно не в поезде. Так идет не состав в пространстве, так идет само время, в котором все больше провалов — отваливается все ненужное, все, что все равно не запомнишь, лишнее. Остается только важное.

Стояли какие-то люди, зыркали на Ивана глазами. Надо же плакать, а он не плачет. Почему это он такой? В центре светлого зала — траурная конструкция. Бархат, свечи, цветы.

«Кто они все? Что им всем от меня надо? Какая разница, что я скажу?»

Он собирался с мыслями. Во рту пересохло, было тяжело дышать.

«Смерть — это очень плохо, я хотел бы, чтобы все жили вечно. Но раз уж она есть, мне надо что-то сказать, да?»

Его слова гулким эхом отозвались с стенах зала. Да, да — этот шепот — надо что-то сказать.

«Теперь у меня осталось какое-то время, чтобы пожить без страха. Спокойно. Этого времени немного, но я попробую».

Мог ли он так сказать вслух? Мог, конечно. Вот только в чем был смысл? Если это говорить — то лишь себе, вполсилы мысли, опасаясь шевельнуть губами. Было ясно, что он уже не проживет те годы, которые хотел бы прожить, а как проживет оставшиеся — было не так уж важно. В оставшихся было куда меньше смысла, здоровья, планов и практически не было сил.

«Вы спрашиваете, как можно быть таким черствым? Все любят мать, говорят в речах что-то прекрасное, а я вот такой сын. Я знаю, *что* говорить. *Как*. Все знают. Но от себя... Что мне сказать от себя?»

Иван собрался, сделал шаг вперед.

— Она была редким человеком, у которого внутри солнце, — «Я это действительно говорю, да? Ну что же, теперь никуда не денешься». — Этому солнцу было очень трудно светить, но оно было. Есть люди, которые светлые, да? — он скользнул взглядом по собравшимся. — Так принято говорить: *светлый человек*. Который светится, но пустым светом, а внутри — потухший вулкан. Мы все тут такие, и вы, и я. Моя мать не была светлой, но она единственная носила в себе солнце. Оно у нее *было*.

«Х... с вами, не ждать же аплодисментов. Скорее бы уже уйти».

Яркая вспышка, как будто и вправду где-то вспыхнуло солнце. И это снова не поезд. Это тихое место, приятное теплое утро. Деревья, птицы, кресты и надгробные плиты. Скамейка. Ограда.

Иван поливал молча. Плита — простая, но аккуратная, строгая — запылилась, покрылась разводами, пятнами. Словно наперегонки, по ней ползли вверх две улитки. Он посмотрел — и на многих соседних так. Пожухли цветы, надо бы прибраться. Не так уж сложно, не так долго. Вот и все.

Он сидел на скамейке и смотрел то вперед, на плиту, то в небо, то снова вперед. Голова была ясной, пустой — мыслей не было; скоро полдень.

— Да что ты, — Иван почувствовал прикосновение к руке и увидел жука. Он был неприметным, черным — совсем не божья коровка, но и не кто-то опасный. Овальное тельце, маленькие шевелящиеся усы. Иван уже несколько раз сгонял его, но жук прилетал снова и неизменно садился на руку, упорно цеплялся за черные волосы, пробирался в них.

— Что же с тобой делать, — задумчиво сказал Иван и долго всматривался в странного жука, наблюдал за его движениями. Иногда ему казалось, что и жук внимательно смотрит в ответ. Но от этого не было не по себе, от этого было спокойно.

Зазвонил телефон, и Иван вздрогнул. Нужно было поставить на вибро. Звонок в таком месте — это суший кошмар. «Уж не...» — он с тревогой взглянул на плиту. Но об этом беспокоиться не стоило.

Снял трубку, уставился в небо.

— Да все еще здесь.

— Ну вот так.

— Хожу и хожу. Так вышло.

— Хожу, значит, считаю нужным.

— Не знаю, откуда я знаю, надо.

— Значит, надо так. Так все устроено.

Он впервые в жизни почувствовал себя мертвецки, невосполнимо уставшим, словно вся тяжесть мира вдруг опустилась на плечи. Жук застыл на тыльной стороне ладони. Иван встал, не делая резких движений, чтобы его не спугнуть, и стоял, смотрел на плитку. Слушал голос из трубки. Потом закрыл глаза и тихо выдохнул:

— Что-то еще?

Финал

Ивану давно снились только кошмары. И сны внутри сна, когда мучительно пытаешься выбраться, а тебя снова затягивает внутрь, когда скулит и ноет сердце и страх парализует конечности, когда, цепляясь за реальность, ты понимаешь, что это очередной сон. Он открыл рот и тяжело дышал, как рыба. Ему казалось, что из горла вырвется что-то ужасное, утробное, отчаянное — так показывают в фильмах очнувшегося в холодном поту человека, — но в горле словно застрял пузырь. Иван лишь пару раз открыл рот — и пузырь лопнул.

Он поднялся с постели, подошел к окну, раздвинул плотные шторы — теперь ему стало понятно, откуда просачивался тонкий луч. Свет наполнил гостиничный номер. Сегодня был важный день, и Иван специально приехал не на ночном поезде — а заранее: выспаться, морально подготовиться. Конечно, в программу поездки он не закладывал жуткие сны, но куда от них теперь денешься? В сорок-то лет.

Иван посмотрел на часы — времени было достаточно. Привел себя в порядок. Спустился в фойе, позавтракал. Прогулялся по ближайшим улицам.

Вернувшись в номер, достал из шкафа чемодан, аккуратно снял с полки продолговатый предмет, завернутый в пупырчатую пленку, терпеливо запихнул в большой бумажный пакет, а затем уже пакет поставил в чемодан. Закрыл. Взял большую коробку, обернутую алой бумагой, поставил в другой пакет.

Он долго выбирал, что подарить на день рождения. У Матери был новый телевизор, что-то из мебели не подаришь, ноутбук или компьютер ей не нужен. Путевку куда-то — было бы дорого для самого Ивана, да и куда ей ехать с нынешним здоровьем.

В такси листал телефон. С каждым днем в него сыпалось все больше тревожных новостей — предстояло что-то большое и страшное. Волна еще не захлестнула берег, но уже приближалась, и не было сомнений в том, как она высока. «Скоро все бу-

дут жить в другом мире», — писали там, в телефоне. Было неясно, станет ли этот мир страшным, но тревога уже пропитала его. «Там, в этом мире, наверное, надо держаться вместе, — думал Иван. — Мы прикованы друг к другу самим фактом нашего существования. Если что-то случится, нас ни для кого не будет. Мы будем только друг на друга и сами для себя». По окну автомобиля барабанил дождь, впереди мелькали размытые светофоры. «Скоро буду на месте. Все-таки праздник, настройся на радость — все остальное потом».

На место торжества Иван приехал первым. Был заказан банкетный стол. В это кафе родители ходили еще в те годы, когда были гораздо моложе, чем сам Иван сейчас. В два раза моложе. И теперь любили отмечать дни рождения здесь. Иван подошел к лампе в углу стола и нацепил на нее свиток — вещь дешевая, но симпатичная: стихи, пожелания, красивый рисунок. Наверняка создаст настроение, гости отметят, прочтут вслух. Поставил на столе сверкающие сувениры — безделушки вроде «лучший именинник», но без дурацких приколов — строгие, красивые, торжественные, приносящие удачу. Пусть они подчеркнут радость даты, не оттягивая внимание на себя.

Потом подходили гости. Подруге Матери — той, что когда-то заходила после института — он вручил небольшой сувенир, посчитав его лишним: подарите от себя.

Когда все были в сборе, Иван взял слово.

— Я скажу первым, потому что то, что хочу вручить — оно должно быть в самом начале... — Иван ощутимо волновался просто потому, что ненавидел говорить на публике. Он даже не упрекал себя в косноязычии; знал, что хорошо все равно не скажет. — В первую очередь, конечно, здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. Долгих лет жизни. Счастья. Мира в душе и вокруг. Я хочу прочесть, — Иван достал заранее положенную на стул открытку и зачитал поздравительное четверостишие. Его очень радовало то, что удалось-таки купить такую необычную открытку: она открывалась, и внутри, как в старых книжках братьев Гримм, распускались объемные цветы. Такие открытки не продавались в переходах, да и в крафтовых магазинах тоже. А он нашел.

Дочитав, он вручил открытку Матери. Она улыбалась, и Ивану казалось, что ей нравится.

— Сегодня все будут поднимать за тебя тосты. И я хочу подарить самый настоящий, праздничный волшебный подарок, — Иван вытащил из пакета огромную коробку. Гости оживились.

— Фужер для шампанского, — продолжил Иван. — Но не простой, а уникальный, — Действительно, фужер был непростым: снизу его украшала бронзовая композиция из деревьев и цветов, сплетавшихся в число возраста. Блестели золотые круги под ободком, — Пусть каждое пожелание, которое сегодня прозвучит и которое ты загадаешь, сегодня обязательно исполнится.

Пока бокал наполнялся, а гости фотографировали, Иван раскрыл чемодан и достал бумажный пакет.

— Эту красоту нужно извлекать осторожно, — приговаривал он. — Так вот, вот так... Иии...

— Ого, — удивилась Мать. — А что это?

— Это витраж. Ручная работа, называется «райская птица» — вот и она, — Иван показал, — в окружении фруктов и ягод. Очень красивая вещь, размещается на окне.

Было обидно, что в банкетном зале приглушенное освещение и продемонстрировать красоту витража никак не получалось.

— Когда его повесишь на окне и светит солнце, то... В общем, он играет самыми яркими красками и очень радует глаз. Нет, это, честно, красиво, я сам такое люблю. А главное — это не просто вещь. Она приносит в дом мир и покой, и радость.

Иван улыбнулся, сделал несколько фоток с Матерью и сел за праздничный стол. Теперь можно было расслабиться, он что-то выпил залпом, не глядя. По телу расходилось приятное тепло. Теперь будут говорить другие.

Сидя напротив Матери, Иван наблюдал за ней. Он вдруг поймал себя на мысли, как ему нравятся ее жизнелюбие, бодрость, как принимает она поздравления, как улыбается, какой живой и ясный ее взгляд. Он думал, что рад ее видеть. Недели две назад они опять смертельно ссорились по телефону, и Иван не хотел даже ехать. Потом передумал. И теперь ему казалось, что он даже рад был встрече. А может, и не казалось. Может, и был рад.

Торжество достигало разгара. Он вышел на улицу подышать воздухом. Гости смеялись друг друга, дымя сигаретами, о чем-то радостно галдели. Иван не заметил, как остался вдвоем с отцом.

Какое-то время молчали.

— Слушай, тут такое дело, — начал вдруг отец.

Иван изобразил заинтересованность.

— Мама не поняла твоих подарков. Она обескуражена.

— Обескуражена? — не сразу понял Иван. — Это как вообще — обескуражена?

— А тебе самому непонятно?

— Нет, мне непонятно. Я что-то не видел, чтобы она была обескуражена. Я хотел сделать радость, праздник. У меня других целей не было. Понимаешь?

— Нет, это все красиво и здорово. Но нормального-то подарка нет.

— Нормального подарка, — ухмыльнулся Иван, глядя в лужу. — Это какого же нормального? Телевизор у вас новый есть. Диван новый. Компьютер у вас на двоих; ей не нужен ни новый, ни ноутбук. А дарить что-то дороже — так я, к сожалению, не миллионер.

— Да при чем тут не миллионер.

— При том, — разозлился Иван. — Знаешь, сколько бокал этот стоит? Он один дороже, чем все, что сегодня дарили. А витраж? Думаешь, он дешевый? Если уж об этом разговор зашел, то... Что мне купить, мебель? Так, вы на новую квартиру собрались переезжать. Я хотел, чтобы в новый дом — счастье. Возьмите и разбейте все к чертовой матери, если так не нравится. Я в кои-то веки хотел от души что-то сделать, по-настоящему, от себя! Нет, все надо изгадить, все.

— Я думал, ты отреагируешь нормально, — без эмоций сказал отец.

— Нормально? На это? — вскипел Иван.

— В общем, мама хочет телефон. Тысяч за двадцать-сорок. Понятно, больше мы себе позволить не можем. Да и все эти дорогие телефоны она и не хотела никогда.

Ивана словно ударило током.

— Ты не шутишь, нет? Телефон? А ты сам ей не мог подарить телефон, нет? Вы же могли его просто так купить сейчас, у вас появились деньги — несколько миллионов! Телефон, блин. Во-первых, как купить такой подарок, не зная, какая модель, функции...

— Ну значит, нужно было позвонить.

— Значит, нужно было не орать на мою жену, и мы бы тебя не блокировали. Мы сидели с ковидом, с температурой, а ты орал! И мать на нас орала. Ну проорал бы, какой телефон нужен.

Иван глубоко вдохнул.

— Предъявлять за подарки — вообще последнее дело, не думаешь, нет?

Отец молчал.

— Я бы мог подарить и деньгами. Но я ведь подумал: что за абсурд — дарить деньги, когда сейчас у вас есть деньги. А ведь много я не подарю, ты понимаешь. Что-то для

дома вы и так могли купить. Я хотел сделать праздник, создать настроение, чтобы этот день запомнился, чтобы все было красиво.

Иван повернулся к стене, резко ударил пару раз по водосточной трубе. Потом схватился за нее и стоял.

— Ну да. Я ничего не умею. Не умею делать правильные подарки.

— Так учись, — отец потушил сигарету.

— Моя открытка прекрасна, а вы даже не видите ее красоты. Витраж — я бы был счастлив, если бы нам с женой подарили такой витраж. В наш мирный дом. Она со мной выбирала, хотя вы ее ненавидите. Она хотела сделать матери приятно. Мы оба, оба хотели. А с вами мы чужие люди. Чужие, чужие... Мы никогда друг друга не поймем.

— Этого и не требуется. Пожалеешь себя, успокоишься. А потом купи матери телефон. Модель я тебе пришлю.

Отец исчез в проеме двери, а Иван остался, пропуская бесконечных прохожих. Дождя уже не было, но серое небо над городом давило, заставляя ощущать себя крохотным и ничтожным. На этом испещренном трещинами асфальте, возле нескончаемых стен, дверей, которые всегда ведут туда, куда не надо, и вечно закрыты, если хочется в них попасть. Какая часть жизни прожита? Что впереди? Не плевать ли, если все одинаково противно?

Обида. Обида жгла Ивана — колючая, ноющая, будто детская. Вот только и в детстве он не чувствовал такой обиды, как теперь. А может быть, просто не помнил.

Бросить все сейчас и сбежать?

«Невозможно, — думал Иван. — Невозможно. В такой день поступить так — нельзя». Он прошел вперед, пару домов, к реке. Глянул вниз. Редкие утки, сопротивляясь течению, держались возле моста — вдруг им что-нибудь кинут. У него ничего не было.

«Я здесь ради себя, и только, — думал Иван, уставившись на мутное отражение, и не понимал, правда эти слова или нет. — Я здесь только ради себя».

Он видел Мать сегодня, и он почти любил ее. Он цеплялся за это чувство и не хотел его отпускать; ведь если отпустить его сегодня — оно полетит в пропасть, откуда возврата нет.

— Сфотографируйте нас вместе, — громко говорил Иван, приглушая нетрезвый шум: гости уже перешли на актеров, скоро будет политика; все как заведено.

Объектив нацелился на них; он обнял Мать и поцеловал в щеку. «Может, действительно так всегда будет, а может, и нет, не знаю». Что-то ныло под сердцем у Вани, но сердце торжественно билось; хотелось что-то добавить, но все фразы застряли в гортани. «Ну и пускай. Пусть останется хоть ощущение; хоть отголосок, но радостный. Я приехал сюда за этим — чтобы Матери было радостно; и в этот момент, в эту секунду, на этом кадре все будет так, как я планировал. Как я захотел».

— Вы такие счастливые, — Иван услышал далекий голос, словно пробуждаясь от очередного сна. Он повернулся и тихо сказал:

— Мама.

Михаил ШЕЛЕНОК

* * *

Ржавеют люди не от слез.
И старость вовсе не в морщинах.
Из покалеченных берез
Сок почернее гуталина.
Перекоптили семь небес.
Не в экологии проблема:
И. о. Амура — мелкий бес
С набором рюкзаков Supremo...

* * *

Кувшинкою к небу сомкните ладони,
И дождик из пуговиц круглых, квадратных
И до бесконечности звездоугольных
По линиям пусть нацарапает карту!
Но если расстанетесь, ориентиры
Не смогут подсказками вывести к кладу.
Не бойтесь под залпы небесной мортиры
Вальсировать так, чтобы «ай, до упáду»!

* * *

Поговори со мною, сын.
Ты будешь лектором получше!
Разбей внеплановый хитин,
Что мне на сердце нахлобучен!..

Пропой, станцуй и улыбнись:
Напомни, как умел я тоже
С руки презалобную Кысь
Кормить ментоловым пирожным...

Михаил Алексеевич Шеленок — кандидат филологических наук, педагог, ведущий специалист по творчеству И. Ильфа и Е. Петрова. Родился в 1991 году в Саратове. С 2020 года живет и работает в Санкт-Петербурге. Трижды был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу в номинации «Гуманитарные науки» (2017, 2019, 2021). Имеет публикации в журнале «Волга – XXI век». Выпустил шесть литературно-художественных сборников.

* * *

Всевышнему одобрили кредит!
Но не хватило на оплату света...
У Лангольеров новая диета
(Но старый неумный аппетит).

* * *

Ушла, оставив под дождем
Звук лопнувшей луны.
Под песни с танцами рожден
Виновник без вины.

По ветру задом наперед
Без якоря баркас
Тушить костер среди болот
Направлен в сотый раз.

Из объяснительной листвы
Для юных бодрых ног
Дороги колки и черствы —
Аж не хватает строк!..

По льду, что на глазах весной
И в сердце круглый год,
Беги в мой терем расписной
На солнечный фокстрот!

Пусть дальше тучам невтерпеж,
Но нет проблем иных,
Пока со мною перечесть
Про дом у Турбиных.

* * *

Полгода в тишине... хотя... не так!
Полгода порознь... за дождевой стеною...
В одном дворце, но все же — не с тобою!..
Полгода — это хронотопный брак.

Скажу: «Тик-так!»; скажу: «Дилинь-дилинь!»;
Скажу: «Какого ежика под Псковом?!»;
Скажу зашитым ртом о том, что меганово!..
А впрочем, не скажу, а пропою: «Аминь!»

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ ДИАНЫ

Рассказ

В жизни Дианы Адашевой часто происходили странности и чудеса. О них она мало кому рассказывала — не поверят же. Еще думала: а может, у всех так? К примеру, к ней нередко подходили и что-то говорили незнакомые люди. Сначала в основном баптисты-иеговисты, и Диана даже решила, что есть, наверное, в ее лице что-то благостное или, напротив, порочное, если с ней хотят поговорить о Боге. Но потом пошли всякие-разные собеседники... Каждую неделю то олень подойдет, то тюлень.

Случалось это всегда неожиданно. Сидит она, двадцативосьмилетняя, худенькая, рыжеволосая женщина, на лавочке в торговом центре в Торонто, никого не трогает. Устала... Мимо снуют покупатели, и у самой Дианы рядом стоят пакеты с покупками. Толпа — безлика, и вдруг взгляд Дианы натывается на устремленные прямо на нее темные очи. Женщина лет пятидесяти, аккуратно одетая, направляется к ней и усаживается рядом. Молчит. Потом говорит так, будто они до этого беседовали:

— У меня сын женится.

— Хорошо, — отвечает Диана. — Вам не нравится девушка?

— Нравится, — напряженно отвечает женщина. — Только она потребовала купить ей обручальное кольцо за пять тысяч долларов.

Обе помолчали.

— Вы откуда? — спросила Диана, потому что говорили они по-английски, но на коренную канадку собеседница не похожа.

— Из Румынии.

Покупатели сновали мимо, дело шло к Новому году, и они запасались подарками. Некоторые просто гуляли по магазину — любимое развлечение североамериканцев.

— Она его не любит, понимаете?! — с отчаянием воскликнула румынка. — Если бы любила, разве выбрала бы такое дорогое кольцо?

— А он купил?

— Да.

— Может быть, она его проверяла? — бросила Диана спасательный круг.

Женщина вздохнула и ничего не ответила. А Диана подумала, что сама она не выбрала бы для себя кольцо за пять тысяч долларов. Пожалела бы мужика. Постеснялась бы, решит, что алчная. Она показала бы себя бессребреницей. А потом годами наматывала бы сопли на кулак, рыдала бы, что он не тратит на нее денег или тратит сущую мелочь,

Эвелина Азаева родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак КазГУ. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири. Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде («А хочешь в Канаду?» и «Полное накрытие»). Печаталась в журналах «Нева», «Дружба народов», «Наш современник» и др.

и это унижительно и обидно. А кто виноват? Сама себе цену назначила — копейка. Когда стеснялась, что он платит за нее здесь, платит там, стремилась разделить расходы.

Как ни печально, но женщина была и будет товаром. К ней присматриваются, прицениваются. Нет, мужчина вроде не думает о деньгах, когда увлечен, но непроизвольно оценивает, во что обойдется ему эта женщина. И важно с самого начала дать верный посыл. Если показала неприязнительность, не плачь потом, что тебе дарят китайские духи вместо французских, а то и вовсе ничего не дарят. Если же хочешь бриллиантов — руби об этом с самого начала.

Румынская невеста показала жениху свои запросы, думала Диана. Он согласился. Мама переживает, что сын не потянет... Волнуется, не переплатил ли сын за эту цацу. А вдруг у него деньги кончатся, что тогда — развод, дележ детей?

Диана понимала маму, уважала сына и завидовала невесте. Сама она так не могла. Советское воспитание не позволяло. Привыкла зарабатывать. Чтобы попросить что-то у мужчины — ни-ни. А сами они зачастую не догадывались, что любовь к женщине выражается не только в стихах и оргазмах, потому Диана бросала мужчин не раз. Ни с того ни с сего, как они считали. Один такой заливался соловьем и почти понравился — юморной, начитанный. Но встретив ее после работы и катая на автомобиле по Торонто, показывая достопримечательности, он, проезжая мимо ресторана, спросил: «Ты была когда-нибудь в китайском ресторане?» — «Нет», — ответила Диана, которая в Канаде жила на ту пору всего два месяца и действительно ни разу не была в китайских ресторанах. У них в Самаре такие тогда еще не появились...

— Там очень вкусно готовят! — сказал кавалер и поехал дальше. Так и не понял, почему у нее испортилось настроение и она попросила отвезти ее домой.

— Меня ребенок ждет! — холодно объяснила Диана, а потом еще два месяца сбрасывала звонки ухажера. У нее действительно был сын. От первого брака. Мужа Диана тоже оставила. Не за бедность, а за черты, которые привели к бедности. Вернее, не вынимали из нее. И за то, что в дни рождения он дарил ей вещи для хозяйства, нужные ему самому.

А потому она сказала румынке:

— Вам кажется, все потеряно и сын в плохих руках, но может быть и не так. Подождите, посмотрите... Не вмешивайтесь. Высказали ему свое мнение — и хватит. Если сын сделал, как она хотела, значит, любит. Если любит, значит, вы ничего не сможете исправить, только себе навредите. Доверьтесь. У вас же хороший сын, умный?

— Да.

— Надо всегда думать, что самое плохое может случиться. Самое плохое, если сноха окажется действительно жадной и сын с ней разведется. Так это же ерунда... Ну, потеряет какие-то деньги. Не руку и не ногу же. Или если любовь победит, они продолжат жить вместе, но работать ему придется на полную катушку. Так это мужчине только на пользу. Если он согласен, почему вы должны расстраиваться?

— Спасибо, вы хороший психолог, — женщина чуть успокоилась и, улынувшись Диане, ушла.

А Диана пошла в ювелирный магазин и купила себе кольцо с мельчайшими бриллиантиками цвета шампанского. Когда еще дождешься того мужчину, который поведет тебя за бриллиантами?

* * *

По дороге домой вспоминала. Такой мужчина, вообще-то, был. Поднял ее до небес, обожал, засыпал подарками. Хотя не был богат. Офицер. Спускал на нее все деньги... Даже когда она из-за занятости не могла с ним встретиться, он звонил в дверь и пря-

тался пролетом ниже. Она выходила из квартиры и видела положенные друг на друга коробки с подарками. Кофточки, юбочки, перчатки, шарфики, книжки, торт... Ее трехлетний сынишка прыгал и кричал: «Ура-а-а! У нас день рождения!», а Диана выходила на лестничную клетку к перилам, кричала вниз: «Спасибо! Я позвоню, когда освобожусь!» — и слышала, как любовник, тридцативосьмилетний «настоящий полковник», легко сбегал по лестнице вниз...

Его, потерявшего голову от любви, подвела оплошность. Среди подарков никогда ничего не было для ее сына. Мальчик привязался к маминому ухажеру, прижимался, обнимал их обоих — маму и Пашу — и склонял их головы друг к другу, соединяя. Мальчик был хорош собой: здоров, розовощек и весел. В роддоме врач сказала: «Породистый ребенок». Но Диана заметила, что это малыш стремится к Паше, а не наоборот. Всякий раз, разбирая подарки, она надеялась найти хоть свистульку для малыша. Но ее не было. И в день рождения ребенка Паша принес в подарок часики для нее, Дианы. Она тогда схватила их и с размаху бросила о пол, заплакала. «Что случилось?» — недоумевал этот высокий мужчина с пронизательными глазами и жестким лицом, но она не отвечала. Усмехнулся:

— Потому что не ребенку?

— Да! Как ты мог?!

— А знаешь, я даже дочери своей ничего не покупаю... Не говоря уж о жене...

Диана отняла руки от лица и с удивлением посмотрела на любовника. Он был женат, и судьба его жены ее не интересовала: она была слишком молода и нерелигиозна, чтобы понять, что жить с чужим мужем — грех. Матери ее отец постоянно изменял, мать плакала, и Диана поняла, что чужие женщины — эгоистки и хищницы. Они не заботятся о женах, а тогда почему она должна о ком-то заботиться? Она и ее любовник счастливы — вот и хорошо. Жена несчастлива — ее проблемы. Получается два счастливых против одного несчастного — это справедливее, чем наоборот. Паша влюбился в нее до потери пульса, и она позволяла себя любить. Но не думала, что их связь плохо сказывается на его двенадцатилетней дочери. Не задумывалась.

— Я люблю тебя больше, чем свою дочь! — заявил он. Были сумерки, и он не видел, что любовница ужаснулась.

Она знала, что если велит Паше украсть, он украдет, велит убить — убьет, настолько потерял голову. Но так же знала, что все его чувство, которое он называет высоким словом «любовь» и считает настоящим и возвышенным, базируется на физическом удовольствии, какого не испытывал ни с кем прежде. И не потому, что она делала что-то особенное. Просто так совпало. Она отвечала каким-то его внутренним представлениям о том, какой должна быть женщина. Однако в ту минуту, когда он признался, что любит ее больше дочери, она размышляла не так «психологично». Думала брезгливо и обреченно: «Дочь на молодые сиськи променял». И поняла, что не выйдет за него замуж, вернет коробочку с золотым кольцом. Если свою дочь не любит, то ее-то сына уж точно не полюбит. А мальчика нельзя воспитывать с мужчиной, который его игнорирует. Как она заметила, именно из таких детей вырастают парни, которые не совсем парни. Сама Диана любила сына больше всех на свете. В ее женской семье, состоящей из мамы, бабушки и теть, дети были на первом месте. Как сказала ей одна знакомая израильтянка: «Твой сын — это твой сын, а муж — сын постоянной женщины».

* * *

Пришла в кафе в русском районе и не успела надкусить любимое пирожное — «картошку», как бабулька рядом приземлилась. Русская. Это сразу видно: у русских гово-

рящие глаза. Бабулька была интеллигентного вида. Впрочем, ее и бабушкой-то не назовешь. Так, женщина лет семидесяти, с седой стрижкой, прямой спиной, голубыми глазами. Выяснилось, что она всю жизнь работала учительницей, жила на Кавказе, а сейчас обосновалась с сыновьями в Канаде. Сыновья молодые, неженатые.

Неизвестно почему, но женщина эта так расположилась к Диане, что поведала нечто, от чего та потом долго не могла спокойно заснуть ночью. Елизавета Ивановна всю жизнь прожила в Баку, и, как рассказывает, в советское время там было хорошо, русских не обижали. Но в девяностые начался кошмар...

— Нас выгоняли из домов, люди пропадали, русские люди... Шли погромы. Вот говорят, еврейские погромы... А про русские погромы ни тогда не писали, ни сейчас! И нас никто не защищал. Нас бросили...

Потом, зайдя в Интернет, Диана нашла подтверждение словам собеседницы. Там нашлось множество рассказов очевидцев, переживших эту трагедию.

— Мы, группа женщин, ища защиты, прибежали к представителю России... Не помню, как точно называлась его должность, и это оказался грузин! Ответил нам открытым текстом: «Идите на...» Скажите, почему Россию представлял грузин?! — воскликнула женщина.

Диана тут же вспомнила, что послом России в Канаде работал азербайджанец. О нем она слышала много скверного. Но он тем не менее доработал до пенсии. К сожалению, часто в заграничные миссии отправлялись мажоры — сынки высокопоставленных чиновников. (Ну а кто еще поступает в МГИМО?) И вот эти, избалованные, циничные, выросшие на заграничных джинсах, иностранном алкоголе и сигаретах, с презрением ко всему отечественному, примитивные и зачастую диссидентствующие на своих просторных московских кухнях существа, и посылались сначала Советским Союзом, а потом Россией отстаивать интересы родины за рубежом. Отсюда и результат...

«Почему представителем России был грузин?» Потому, что русские — народ-цивилизация. Его предназначение — не хранить одного себя, а хранить полмира вокруг себя прямым путем и весь мир — косвенным. Цивилизация не исключает, она вбирает в себя. Дает возможности, перспективы, равные и даже лучшие, чем у «старшего брата», права. Дает щедро, спрашивает снисходительно. С учетом. Оттого и разрастается до невероятных размеров. Где еще, как не в России, возможно было, чтобы правителем стал грузин, и никого это совершенно не колыхало? В войну тысячи русских погибали с его именем на устах, а после его смерти миллионы русских плакали. И даже сейчас, когда его ругают, то ругают вовсе не за то, что грузин.

...Однажды Елизавету Ивановну на улице окружила группа мужчин. Она поняла, что пришла смерть, но спас бывший ученик, азербайджанец. Увидел побоище и подбежал к учительнице с криком: «Елизавета Ивановна! Ваш Мамед уже бежит сюда с ребятами!» Дал понять, что у нее муж или сын — азербайджанцы. Солгал. Спас. Однако у женщины остались шрамы от ножа, которым ей исполосовали живот. Она подняла кофточку, и Диана увидела рубцы на ее животе.

— Но как?! Как вы жили с ними до этого всего? Неужели не замечали косых взглядов?

— Их не было. Национализма не было. Мы жили дружно — с соседями, учениками, родителями. Но потом в газетах стали писать националистическую ахинею, и откуда-то повылазили головорезы, бандиты...

Однако ужасное случилось, когда Елизавета Ивановна и ее сыновья уже шли по взлетной полосе в самолет иностранной правозащитной группы, чтобы покинуть охваченную погромами столицу. Прямо у трапа их окружили мужчины в камуфляже. Это были боевики из Чечни.

— Мне сказали, нужно дать им большую сумму, а пока не отдам, один из сыновей останется в заложниках, — рассказывала учительница. — Старший сын сказал, что останется он. Он у меня офицер. Мы с младшим зашли в самолет...

Три года, живя в Канаде, Елизавета Ивановна собирала ту самую сумму. Как — не сказала Диане, а та не стала спрашивать.

— За мной следили, у них здесь были свои люди. Они и сейчас здесь, в Торонто, живут. Они смотрели, чтобы я никому ничего не рассказывала. А к кому я могла обратиться? К канадской полиции? Для них чеченские боевики — борцы за свободу. Так их называли газеты. Но даже если бы они арестовали бандитов, моего сына на Кавказе тут же убили бы... Так они еще и попытались сшить мне дело, чтобы я сидела тихо. Есть один магазин, в нем хозяйка из этих... Я туда часто заходила, чтобы узнать о сыне... Однажды она дала мне сумки с продуктами и велела выйти через заднюю дверь, а сама, дескать, закроет магазин и меня встретит там, за магазином. Я пошла с сумками, и вдруг полиция! И эта женщина заявляет, что я хотела украсть продукты... Дело удалось замять, но у меня теперь судимость. Так мне показали, что я полностью в их руках, даже в Канаде.

— Вам удалось выкупить сына?

— Да. Он сейчас со мной. Однажды мы шли по улице, и он увидел тех, кто держал его заложником. Упал в обморок прямо на улице...

— Вы не заявили на них в полицию?

— Мы боимся. Их много. А нас всего трое.

— Бедная вы, бедная...

— Давно так хорошо ни с кем не говорила...

Попрощались, а потом Диана горевала. Разве не знала она, что после развала СССР миллионы русских стали беззащитны перед националистами в бывших советских республиках? Знала. Но шрамы на животе русской учительницы — нет, такого не ожидала.

После Гражданской войны Россия посылала молоденьких учительниц на ликвидацию безграмотности в самые затерянные уголки строящейся советской державы. Русские девушки, зачастую ничего не зная о нравах в кишлаках и аулах, ехали в Среднюю Азию и на Кавказ и преподавали Пушкина и Гоголя, физику и геометрию. Они были полны самых возвышенных идей, преследовали самые высокие цели — дать местным ребятишкам возможность поступить в вузы, а после окончания — поднять свои земли, вспахать их с помощью новых технологий и засеять, сделать из пустынных земель города-сады. Они хотели дать детям шанс стать поэтами, писателями, учеными и прославить родную землю. Русские учительницы выходили замуж за жителей жарких республик, рожали им детей и любили так самоотверженно, как любят ярославны...

И что в ответ? Нет, конечно, Россия все равно не проиграла. Она ввела эти территории в лоно своей цивилизации, она вытащила некоторых из феодализма и доставила на ковре-самолете в современность, что, конечно, ей на руку: кому хочется иметь под боком халифат? Но все-таки должной благодарности не получила. Напротив, выгнали русских в девяностые, оклеветали. А после эти страны стали торговать своей верностью, предлагая России купить ее.

* * *

Диана с подругой в супермаркете, смотрит на прилавки, но боковым зрением уже видит: кто-то мотыляется рядом...

Мужчина лет сорока. В очках с толстыми линзами, полноват. Одет в клетчатую стариковскую рубашку и мешковатые брюки. Впрочем, одет аккуратно. Увидев, что Диана его заметила, жалобно произносит:

— У меня умер отец.

Она кивком просит подругу отойти и отвечает ему, вложив в свои слова как можно больше сочувствия:

— Очень жаль.

— Я прожил с ним всю жизнь, — продолжает мужчина. — Я всегда был с ним, а теперь он умер. Я очень скучаю.

Разговаривая с ней, он смотрит вниз.

— Сколько лет было папе?

— Восемьдесят пять.

— Ваш папа прожил долгую жизнь. Он был счастливым человеком — его так любит сын. Подумайте об этом — сколько счастья вы ему дали.

— Но мне так плохо без него! — мужчина поднял лицо, на котором было жалобное выражение, и посмотрел мимо Дианы. И она поняла, что он аутист. Они в большинстве своем не смотрят в глаза.

— Не переживайте. Папа там, на небе, и он видит вас, любит и не хочет, чтобы вы плакали. Разговаривайте с ним, как с живым...

Диана не знала, как помочь его горю. Мужчина, бормоча, не прощаясь, пошел дальше...

Однажды она наблюдала прогулку душевнобольных. Они шли по тротуару за руку, их — группу из примерно восьми взрослых — сопровождала то ли соцработник, то ли самая разумная. Больные были аккуратно одеты и причесаны, улыбались весеннему солнышку. Диана услышала, как на вопрос одной женщины из этой группы продавец в уличной лавчонке ответил: «Мэм...» И порадовалась, что с этими людьми обращаются так же вежливо, как со всеми остальными.

Нет, назвать их душевнобольными — неправильно. Это люди с синдромом Дауна, или, может быть, аутизмом, или иными отклонениями в развитии. Эти отклонения считаются психическими, но когда близко знакомишься с такими людьми или долго живешь рядом, понимаешь: не тянут они на психических... Нет у них ни бреда, ни галлюцинаций, они понимают, кто они, кто ты, и вообще очень много понимают. А еще больше — чувствуют. И реагируют адекватно, но не всегда красиво. Обычная девушка объяснит, отчего она плачет, и ее пожалеют. А аутистка сказать не может — нарушена работа речевых центров — и потому внезапно зарыдает, и всем кажется, что она сумасшедшая, плачет без причины. А она, видя эту вечную непрошибаемую стену меж ней и людьми, а то еще и шприц в руках врача, может начать биться головой о стену настоящую. И вот уже брезгливость здоровых и даже ненависть...

Наблюдая прогулку больных, Диана тогда подумала: интересно, а «психов» уже в детстве видно, или у них это все проявляется только во взрослом состоянии?

Потом у ее двоюродной сестры Инны родился сын-аутист. И Диана увидела, как здоровый трехлетний мальчишка, красивый как херувим, уже немного умеющий считать и знавший наизусть много песен и стихов, стал меняться и превратился в замкнутого ребенка, не смотрящего в глаза, забывшего и счет, и стихи. Но остался ласковым и милым, любящим родителей и гостей.

Откуда эта напасть? Никого ведь в их роду не было такого!

Инна, дотоле не обращававшая внимания на свое здоровье, стала за ним следить. Объяснила Диане:

— Мне теперь надо дожить лет до девяноста... Куда он без меня? — А в глазах — тоска всего земного шара... — Все время за него волнуюсь, — всплакнула. — И так теперь до смерти. И в момент смерти буду думать, что он, домашний мальчик, которого все любили, попадет... куда? В психушку, в дом инвалидов, начнет бомжевать?

Сестра сказала, что единственное, что может поддержать человека в этой ситуации, — вера в Бога. Вера в то, что ей, Инне, не прилетело по голове просто так, наобум, а за всем этим есть цель: спасение ее души через страдания, через пожизненное несение креста.

— Это будто тебе вынесли пожизненный приговор. Ты понимаешь, что ни в чем не виноват, но тебе надели наручники и ведут в камеру... Вчера еще все было хорошо, а сегодня ты увидел свою будущую жизнь за решеткой... Так ладно бы тебя одного приговорили, но нет! С ребенком! С ним иди в камеру. Навсегда. Вот что такое аутизм, синдром Дауна, шизофрения и прочие диагнозы у детей, — плача, говорила сестра, и непонятно было, чем ее утешить.

Но она потом сама утешилась. В церкви. И даже стала поддерживать других родителей с больными детишками. И Диана увидела, какой неземной силой обладает вера. На ее глазах совершенно, казалось, сломавшийся человек, не просыхающий от слез, мечтавший уснуть и не проснуться, ожил, и не просто ожил, а стал жить полноценной жизнью, насколько это возможно в предложенных обстоятельствах.

— Бог терпел и нам велел, — убежденно говорила Инна. — Унывать нельзя, уныние — грех, им бесы кормятся. Да и каково больному ребенку жить с тоскующей матерью? Мне нужны силы, спокойствие, и тогда я смогу больше заниматься сыном, у него будет улучшаться состояние. А если ныть — это путь в никуда. Все станет хуже. Из рук все будет валиться, сына запущу... И потом, вот ты мне скажи, разве мне кто-то при рождении счастье обещал?

— Нет, — отвечала Диана, и у нее щипало в носу.

— А мы чувствуем себя обманутыми, обижаемся и ропщем, когда что-то случается. Но я все же попытаюсь быть счастливой. Да, у нас аутизм, но мне рассказали про семью, где шестеро аутистов.

— Шестеро?! Да куда ж они рожали, коли видели?

— Они иммигранты с Ближнего Востока. Родили тройню, у всех потом к четырем-пяти годам болезнь проявилась. Она ж не сразу видна. А до этого еще успели родить трех. И у этих тоже у всех... Вот это горе. А у нас, выходит, сильное послабление тюремного режима... Как говорил Плевако, «а ведь могло быть и хуже»...

Инна рассуждала и при этом ловко переворачивала блинчики из безглютеновой муки. Сынишка, как и большинство аутистов, был избирателен в еде и ел лишь определенные продукты.

— И вообще, — продолжала Инна, — у сына аутизм — это минус. Муж испугался вечной каторги с инвалидом и согласился развестись, когда я ему предложила, — тоже минус. Но это как посмотреть... Можно считать и за плюс. Хочу — готовлю, хочу — не готовлю, только сынишке сделаю еду и все... Хочу — прибираю, не хочу — откладываю на завтра. А когда мужик в доме, хошь не хошь, надо прибрать, да накраситься, да еще и слушать его...

— В смысле?

— В прямом. Пришел с работы — расспроси, посиди с ним, пока ужинает. Вечером приведи себя в порядок, ляг в постель и изобрази страсть... Ты полдня работала, потом забрала ребенка из школы и с ним занималась, гуляла, закупала продукты, готовила из них особенную еду и накормила ребенка, а потом убирала за ребенком то, что он разбросал, порвал, перевернул и разлил... Собирала бусинки от разорванных им бус и ловила за домом выпущенную им кошку... Вечером падаешь в постель без ног, и краситься, чтобы понравиться мужу, лобызать его вовсе не хочется... Особенно если ночью несколько раз встаешь: аутисты плохо спят... Я раньше думала, родители инвалидов так неважно выглядят потому, что люди такие. Иные. И потому дети у них такие же. А сейчас поняла: это нормальные люди, как ты и я, просто очень много физиче-

ски работают дома, и нет сил сделать прическу, накраситься, да и деньги все уходят на лечение... Я себя все же блюду, как видишь. Даже татуаж сделала... Так вот, о чем я говорила?

— О том, что в твоей жизни осталось еще много плюсов.

— Да. Засчитаем уход мужа в плюс. Но главное — я здорова. Могу заниматься с ребенком, развивать его... А если бы была больна? А еще у меня есть дом и работа. И мама, которая помогает...

Инна покончила с блинами и что-то терла в миксере. Перекрикивала его.

— Богородица сколько страданий приняла: видела, как сына убивают. Почему мне лучше должно быть? Как Они, так и я. Как сказал Достоевский, «и если выяснится, что истина вне Христа и Христос вне истины, то я предпочитаю оставаться с Христом, нежели с истиной». Так и я предпочитаю... Конечно, если снять с меня этот крест, буду рыдать от счастья, если сынок выздоровеет... Но если Господь не снимет, значит, так надо. Значит, будем радоваться там...

И Инна указала пальцем в потолок.

— Садись за стол! — скомандовала и поставила тарелки перед сыном и Дианой.

— И что, теперь умирать не боишься, оставлять его одного в этом мире? — спросила Диана.

— Боюсь, — призналась Инна. — Это оттого, что еще веры во мне недостаточно. Кабы была крепкая вера, я бы знала, что Господь не оставит, все устроит.

* * *

У Дианы в роду все женщины такие, как Инна: к детям жертвенные, к мужчинам долготерпеливые, а потом резко дающие от ворот поворот. То есть что мать, что бабушка выходили замуж по великой любви, были обмануты в лучших своих надеждах, так как «кто выходит замуж по любви, имеет хорошие ночи и плохие дни». Когда в любви нет ни грамма расчета, то есть, если говорить языком коммерции, дело открывается без бизнес-плана и учета имеющегося капитала или отсутствия оно, такое дело обычно в гору не идет, а накрывается медным тазом. Вот и у Дианы мать и бабушка выходили замуж, расходились, снова выходили и снова расходились... Отсюда у нее и пошла поговорка «Замуж выходят одни и те же». От каждого брака оставалось по девочке, которую женщины сообща выращивали очень даже славно, давали высшее образование и передавали свою фамильную женственность. Диана была амазонкой в третьем поколении. То есть мужчин любила, но и без них могла заработать, наклеить обои, повесить гардины, вскопать огород... Вот только ребенок без них не получался, и Диана уже побывала в своем первом браке и родила сына.

* * *

Однажды ее «олени и тюлени» — незнакомые люди, которые к ней подходят там и сям, стали вдруг по телефону звонить. Началось с ошибки. Дама думала, что звонит психологу на «горячую линию», а нарвалась на Диану.

— Здравствуйте, это психолог? — спросил по-английски женский голос с сильным русским акцентом.

Диана подумала и ответила по-русски:

— В какой-то степени...

— У меня ушел муж.

— И?

— Что «и»? Муж ушел!

Оказывается, это было законченное предложение. Жалоба. Трагедия в двух словах.

— И вы остались без средств к существованию? — участливо поинтересовалась Диана.

— Почему? Как работала, так и работаю.

— А-а-а-а, он вас из дома, что ли, выгнал? Имейте в виду: в Канаде дом делится пополам! Срочно обращайтесь к адвокату!

— Нет, он мне оставил дом...

— Детей забрал?

— Нет, они у нас взрослые, живут своими семьями. Внук даже есть.

— Тогда в чем дело?

— Мы прожили вместе тридцать лет! А он ушел к балерине!

— Ох ты! А где он взял в русской общине балерину? — удивилась Диана. — Или он к канадке ушел?

— Нет, к русской.

— Слушайте, мне каждое слово приходится щипцами из вас вытягивать. Давайте подробности...

— У меня ушел муж после тридцати лет совместной жизни, что мне теперь делать? — всхлипнула женщина.

— Ну и хорошо, что ушел, — заметила Диана. — Вы как сказали про тридцать лет, я сразу подумала: «Какой ужас». Как вы могли прожить с человеком столько лет? Как он вам не надоел-то?

На том конце провода повисла тишина.

— А вы правда психолог? — спросила женщина.

— Да, — решительно заявила Диана. Она знала, что спасет эту бабу лучше любого психолога. — Вам очень повезло... Не у всех старые мужья уходят после тридцати лет совместной жизни, освобождая пространство для новой жизни. Деньги у вас есть, дети есть, дом ваш — живи не хочу!

— Ну вы скажете, — растерялась женщина.

— Постойте, может, ваш муж какая-то особенно интересная личность? Режиссер, писатель, там...

— Нет, строитель.

— Владелец строительной компании или прямо строитель, который кирпичи кладет?

— Кирпичи кладет.

— И на родине тем же занимался?

— Тем же.

— Это плохо, — задумалась Диана. — Значит, он скоро вернется. Я бы на вашем месте не стала его сильно ругать. Это не он ее соблазнил, а она его... Причем не всерьез, а из бловства... Творческой женщине, знаете ли, ничего не стоит соблазнить строителя.

* * *

Диана знала, о чем говорит. Она искусствовед. В России была искусствоведом. В Канаде занималась скупкой и продажей антиквариата. Строителей не соблазняла, но видела, как легко влюбить в себя военного или полицейского одними разговорами об искусстве — мире, от которого они далеки и которого, пусть они не осознают этого, им не хватает. На женщину, которая показывает им «Боярыню Морозову» и рассказывает историю этой картины и историю вообще, они смотрят с восхищением. Ну конечно, при наличии у нее еще и более или менее приличных внешних данных.

Ложь, что мужчины любят дурочек. Дурочек любят олигархи — чтобы чувствовать себя в безопасности, а обычные мужчины любят, чтобы им было интересно, потом приятно, а потом еще раз интересно.

Женщина молчала. Слушала.

— А может, он гигант в половой сфере, потому вы так убиваетесь? — предположила Диана.

— Нет, обычный вроде. У меня, кроме него, никого не было, мне не с кем сравнивать, а если судить по фильмам, все как у всех.

— Дело к старости, вообще не о чем будет говорить, — пообещала Диана, будто когда-то жила с пожилым мужчиной. — Нет, вам просто повезло! Значит, что делать? Накрасьтесь, сделайте ботокс, чуть подкачайте губы... Вам сколько лет?

— Пятьдесят один.

— Подкачайте губы, сделайте перманентный макияж, укладочку, и — вперед! Вы всю жизнь прожили с мужчиной, который вас не впечатлил ни умом, ни интимом, сейчас появилась возможность попробовать что-то новое.

Диана говорила бодро и воодушевленно, с полной убежденностью, но женщина стала смеяться.

— Ну, вы даете! Кого и где я буду искать? — кокетливо спросила.

— Не знаю. Езжайте на курорт. На Арубку, в Ялту, в Сочи, идите на сайты знакомств... Куда угодно, но торопитесь, балерина может вернуть ваш ценный дар.

— Спасибо, я так на ситуацию не смотрела...

— И думать нечего! Наряжайтесь и идите предаваться пороку.

Так Диана играла свою роль еще минут пять и слышала, как женщина хихикает, удивляется — в общем, более не горюет. Напоследок сказала:

— Вы, конечно, необычный психолог. Ничего подобного я не ожидала. Но это интересно. Я никогда не думала о себе отдельно от мужа. Может быть, последую вашему совету. Во все тяжкие не обещаю пускаться...

— Это я так, для куража, — призналась Диана.

— Но заняться своей внешностью и досугом — это вы хорошо посоветовали. Спасибо вам, девушка. А вы правда психолог?

— Нет. Я хозяйка конторы «Канитель» — раздаю золотые яблоки.

— Что за яблоки?

— Библейская притча гласит: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное вовремя». Вы там... пороку-то не предавайтесь на самом деле... Это я для красного словца. Просто поймите: муж — лишь часть жизни. Даже если не вернется, значит, закончилась первая глава книги вашей жизни. Началась вторая, и с чего вы взяли, что она хуже? Может быть, намного лучше! Может, вам свыше дают одиночество, чтобы вы наконец занялись собой — не внешностью, разумеется, а своим внутренним миром. Можно путешествовать, можно начать писать картины, можно отдать всю себя воспитанию внуков и воспитать гения... Да-да, у providения много целей, о которых вы не догадываетесь. Может, ваш внук имеет задатки ученого, и сейчас, в детстве, важно приставить к нему Арину Родионовну, которая только о нем и ни о чем больше... Тогда от вас отнимается муж и прибавляется внук.

* * *

Диана пила кофе — самый любимый канадцами напиток — и смотрела в окно. Приближалась осень. Летели на юг гуси, кричали... Прощались, может быть, с любимой землей. Интересно, помнят ли птицы там, в теплых краях, о родине? Мелькают ли в их головках картинки — «болдинская» канадская осень, яркое разноцветье деревьев? Прозрачные воды озера Симко, холодные — озера Онтарио? Перебегающие дорожку ено-

ты, скунсы, бурундуки, олени, лоси? И люди, которые останавливают свои машины и ждут, чтобы не задавить...

Диана приехала в Канаду именно осенью... Скоро юбилей ее проживания здесь. Вспомнила, как вскоре после приезда ехала с сыном в вагоне метро. Через весь вагон к ним пробралась бомжиха и молча подала баночку пепси. А когда поезд остановился, вышла. Диана, державшая баночку в руках, с невозмутимым лицом поставила ее под сиденье.

Все на нее смотрели. Не поняли, что это было. Почему бомжиха дала ей напиток, а та не удивилась, молча приняла. Через пару станций старик, высокий худощавый канадец, поднялся с места, подошел к двери, готовясь к выходу, и, сняв шляпу, чуть поклонился Диане. Сказал громко по-английски: «Спасибо, вы сделали мой день». Диана кивнула и улыбнулась. И снова по ней скользнули удивленные взгляды. Что за создание такое, которому несут напитки и кланяются?

Когда шла с сынишкой домой от метро, думала, что забавно вышло. Люди зашли в поезд уже после бездомной и старика, потому не видели их предыдущего общения с Дианой.

Бездомная еще на станции подошла и ткнула пальцем в открытую баночку пепси, которую Диана держала в руках. Та подумала, что женщина хочет пить, и отдала ей напиток. А бомжихе, оказывается, нужна была только плоская железка, за которую надо потянуть, чтобы открыть баночку. Потому, оторвав железку, она, выходя через несколько станций, вернула Диане банку. Что касается старика, то когда он вошел в вагон, было немало свободных мест. А у самого входа в вагон сидел Дианин сынишка. Видя, какой мужчина старый, лет девяносто, Диана показала сыну глазами, чтобы он перешел к ней, освободив место, которое ближе всего к пожилому человеку. Мальчик перебежал. И старик, благодарно взглянув на них обоих, спросил:

— Откуда вы?

— Из России.

— Я так и понял, что вы из Европы. Там еще уважают старость.

Сказал, что ему девяносто три года.

— Нравится вам в Канаде?

— Очень! — искренне призналась Диана. Тогда, в девяностые, она только приехала в эту страну, и ей нравилось все: сверкающие зеркальными окнами небоскребы, аккуратные частные дома и то, что около них выставляют вазы, качели, ажурные скамейки, и никто это не ворует... Когда она иммигрировала в Канаду, в России был хаос, разгул криминала и в ее подъезде алкаши выкручивали лампочки, чтобы продать и купить бутылку. Старик помолчал, потом сказал:

— Вы просто мало здесь живете. Потом вы узнаете о недостатках. Они большие.

Диана вежливо улыбнулась. Какие недостатки в безопасной и богатой стране? В России вон уничтожили все, что можно: образование, медицину, армию, милицию, органы безопасности. Ограбили страну и унизили. Олигарх Б-кий хвастался в интервью израильскому телевидению: «В России можно было взять столько, сколько нигде больше взять было нельзя».

Что может сравниться с разрушением великой державы? Что понимает этот старик в недостатках? Недостатки — это когда бандиты заходят в бар и для устрашения окружающих вынимают из мешка настоящую отрезанную человеческую руку и машут ею... Недостатки — это когда два отдельных города, которые расположены по соседству, но не близко, срстаются за пятилетку кладбищами, потому что каждый день идет много похорон, и несут в гробах не стариков, а молодежь, парней. Парни эти при жизни

предпочитали ходить в кожаных куртках и с кастетом в кармане, но ведь это все равно чьи-то дети, не справившиеся с лихолетьем, с безработицей и безденежьем и выбравшие не то... Но слова старика канадца запомнились.

Сейчас Диана уже знала, какие большие недостатки есть у Канады. Большие и иногда ужасные. Но и достоинства под стать — немалые. В этом Канада похожа на Россию. Только в России недостатки на поверхности, а достоинства — внутри, как сокровища в пещере. А в Канаде наоборот: достоинства на виду, а недостатки замаскированы.

Телефон зазвонил.

— Здравствуйте, это горячая линия? — спросил по-русски незнакомый мужской голос. — Меня обобрали. Мошенник один. Забрал у меня все деньги, большие деньги, двести сорок тысяч долларов. Эти деньги я заработал за двадцать лет жизни в Канаде плюс от проданной в Израиле маминой квартиры. Мошенника поймали, завтра суд. Меня всего трясет, а моя семья зла на меня и не хотят идти со мной...

— Сочувствую, но чем могу помочь?

— Не могли бы вы пойти со мной? Мне одному страшно. Я дальнбойщик, английский не очень понимаю, знаю только то, что по работе... Мне одному плохо. Надо, чтобы кто-то свой был рядом.

Диана вздохнула. Подумала. Завтра двое клиентов придут покупать сервиз девятнадцатого века и часы. Придут после обеда. А суд наверняка с утра. Уточнила.

— Пожалуйста, — жалобно произнес мужчина. — Я там один не вынесу. Они все там не русские...

— Хорошо, записывайте мой адрес, заедете за мной. Только в обед мне надо быть дома — сына из школы забрать.

— Идет! — обрадовался мужчина.

* * *

На следующий день Диана ему действительно пригодилась. Мошенник на суде сказал, что денег у него нет, часть потратил, часть потерял. Осталось пятнадцать тысяч. Суд постановил посадить его под домашний арест на восемь месяцев и обязал выплатить потерпевшему эти пятнадцать тысяч.

Гриша — тот, кого обманули, был совершенно раздавлен. Особенно тяготило его, что он рискнул деньгами за мамину квартиру, когда покупал у мошенника акции липового предприятия. «Мама из-за меня осталась без денег...» — шестидесятилетний мужчина чуть не рыдал. Игодились Диане ее «золотые яблоки».

— Деньги — не главное, — говорила она, глядя в его красное от переживаний лицо. — Вы здоровы, мама здорова, дети здоровы — вот и хорошо. А семья простит. Они же вас любят, просто огорчены...

И он слушал доверчиво, как ребенок. И было видно, что ему главное — чтобы простили. На обратном пути забеспокоился:

— Сколько я должен заплатить за ваше время?

— Господь с вами! — испугалась Диана. — Вас уже обобрали, не хватало еще, чтобы я на вашей беде наживалась.

Гриша помолчал, подумал.

— Что мне в вас нравится, так это что вы простая русская баба!

— Ну, спасибо...

И они засмеялись.

КУРСКИЕ ЛИРИКИ

Чтение современной поэзии, рожденной на курской земле, естественно ведет дорогой реминисценций к князю Игорю Святославичу и его младшему брату «буй туру» Всеволоду: «А мои ти Куряне сведоми кмети...» и т. д. (читайте «Слово о полку», желательно без перевода!). Куда реже всплывает обмолвка из Поучения Владимира Мономаха: «кметий молодых 15». Кмети (кметы) в контексте древнерусской литературы — конечно, воины. Но латинское *comites* (отсюда — «комитет») означает «спутники».

Трех ярких курян, пишущих стихи, я с полным основанием называю спутниками — своей, во всяком случае, жизни. Одного из них — Андрея Болдырева — вполне могу считать вскормленным с моего критического «копья», поскольку читала его — и не щадила — едва ли не с первых опытов и с тех пор взыскательно и отнюдь не искоса посматриваю в его сторону. Стихи Романа Рубанова и Владимира Косогова узнала несколько позже, но тоже не пропускаю попадающихся публикаций. Все трое, на мой взгляд, наследуют позднеромантической поэтической традиции. Косогов прямо называет себя учеником Игоря Меламеда. Болдырев и Рубанов, наверное, ближе к Рыжему и Денису Новикову.

15 «кметий» было бы явным перебором — столько поэтов в моменте не рождается даже под соловьиное пение. Но и трое — уже целая школа. И учителя в этой школе настоящие!

Марина КУДИМОВА

Андрей БОЛДЫРЕВ

CURA TE IPSUM¹

Русская смута

1.

Весть дурную слыхали мы от гонца,
что царево войско бежит с Донца.
Нехорошие разговоры
поползли, мол, сдаваться пришла пора,
а Москва гуляет, царь у одра,
а князья да бояре — воры.

Андрей Болдырев родился в 1984 году в Курске. Окончил филологический факультет КГУ. Лауреат «Илья-премии» (2006), победитель Волошинского конкурса в номинации «При жизни быть не книгой, а тетрадкой» (2015), лауреат премии им. Р. Казаковой «Начало» (2017). Автор книг «Моря нет» (М.: Воймега, 2016), «Средство связи» (М.: СТИХИ, 2020).

¹ Береги себя (лат.).

2.

Все вокруг ликуют: сменилась власть.
Недовольным тут же заткнули пасть.
Пировали — хватили лишка.
И уже на майдане гудит народ,
стольный град горит, а в реке плывет
убиенный Отрепьев Гришка.

3.

Полыхает война на родной земле,
а бояре о мире твердят в Кремле,
лишь бы им усидеть покрепче.
Не сдастся только честной народ,
все на фронт последнее отдает
и выходит врагу навстречу.

4.

Разобьем врага и его обоз,
помогай Христос, генерал Мороз.
Что бы враг у себя ни калякал —
на Руси есть забава с древнейших пор:
интервентам клятым давать отпор —
немцам, шведам, ляхам.

5.

Ложь сладка и рассчитана на дурака.
Только вера в Отечество наше крепка,
потому — неполжива.
Мы одна страна, мы один народ,
а язык до Киева доведет.
С нами — Бог, значит, будем живы!

* * *

Теперь, когда все маски сброшены,
покровы тайн мадридских сорваны,
хорошие и нехорошие
отделены, отсортированы,
вопросы вечные отвечены
и круг друзей теснее галстука;
когда тебя расчеловечили,
а солнце затемняет свастика;
теперь, когда не нужно выбора
и все уляжется со временем,

когда все шиворот-навыворот
с любезной ловкостью поменяно; —

я выхожу из дома в полночь и
выбрасываю мусор в мусорку.
Чирикаешь вот с Божьей помощью
под ветра северного музыку,
и невдомек тебе, болезному,
что нюни распустил как маленький,
как долго всматриваться в бездну
смертельно раненному в Марьинке.

* * *

Кому война — стихи, кому — смерть или травма,
полет валькирий с запахом напалма.
Кому — на передке мочить врага.
Кому — в тылу попутать берега.

В чем сила, брат? В какой из многих правде? —
Не оболванен — будешь окувалден,
а значит, не тебе прописан рай.
Ну, хавай, только рот не разевай.

Я, разевая рот, прекрасно понимаю:
в год Крысы я рожден, я — крыса тыловая.
И буду говорить с набитым ртом,
когда в родной улягусь чернозем.

Cura te ipsum

«Мы живем в самой лучшей на свете», —
Крысолов выдувает в дуду.
В Интернете как малые дети,
не накликать бы мышкой беду —

тотчас в дверь постучат времена без
революций, страшней, чем Хатынь.
Что за слово такое «анамнез»? —
нихт ферштейн эту вашу латынь.

Ты ли в чудо не веришь, безбожник? —
по больницам — в крестовый поход!
Ничего, приложи подорожник,
капни йоду — и смерть отойдет.

Роман РУБАНОВ

ЛЕТО НАКРЫЛО КРЫМ

Лед сойдет и заиграют соки
в тонких жилах уличных акаций
по чешуйкам митровой осоки
будет молодая кровь толкаться

как слепцы из парка выйдут клены
и на ощупь побредут к больнице
в голосе ангиной раскаленном
прорастет молчание у птицы

разнесет разбуженное эхо
долгое молчание по венам
голубых ручьев и будет это
Иоанну новым откровеньем

* * *

Ты всматриваешься в ночь.
Ты вслушиваешься в ночь.
Море губами вновь
твоих касается ног.

На пальцах осталась соль.
Луна блестит в волосах.
Ночь полна голосов.
Богата на голоса.

Луна, горизонт разув,
по морю стелет свет.
Дождь идет на Гурзуф,
смотрит на все сверху.

Дремлет скала, как страж.
Призрак прошел, как вор.
Искрами от костра
светится голос твой.

Роман Рубанов родился в 1982 году. Поэт, актер, режиссер. Автор книг стихов «Соучастник» (М.: Воймега, 2014), «Стрекалово» (М.: Русский Гулливер, 2016), «Соната № 3 (М.: СТИ-ХИ, 2020) и «Пока ты спала» (М.: Русский Гулливер, 2023). Лауреат премий им. Р. Казаковой «Начало», «Писатель XXI века», «Звездный билет». Стипендиат Государственной стипендии Министерства культуры РФ.

* * *

Ночь рычит, речет, — мне бы челн, и я
зачерпнула ковшом луны.
Море черное, небо черное,
и вокруг все кошки черны.

Словно древний зверь, тяжело дыша,
море движется по камням.
Ломтик месяца, та же лодочка
У камней ждет пока меня.

Волны перебирают остовы
лодок, брошенных без ветрил.
Ночь затихла над полуостровом.
Море Черное, говори.

* * *

Чайки кричат: «Эй!» —
и заливаются смехом.
Чехов теперь музей,
он никуда не уехал,

Лето накрыло Крым.
Что умножать тоску?
Мы же не три сестры,
те, что: «...в Москву, в Москву!»

смотрит поверх пенсне
на Аю-Даг, скучая.
— Доктор, ешь монпансье,
я угощаю.

Что это за номера?
Время бежать от объятий.
Доктор, не умирай,
лучше поехали в Ялту!

* * *

Кипарис говорит на пяти языках —
научись его понимать.
Как парит, горит над волной закат,
как волне его поднимать

тяжело. И обрушивая в себя
обожженного солнца диск,
море Черное, берег прижав к губам,
— Проходи, — говорит, — садись.

Посмотри, кипарис, — говорит, — как Бог,
одинаково щедр ко всем,
он, как Моцарт, весел, глубок, как Бах,
одинок, как все,

раздели с ним южной полночи зной...
Голоса уносит прибой,
и чернеет небо морской волной
надо мною и над тобой.

Владимир КОСогов

НАПРОТИВ НИКИТСКОЙ ЦЕРКВИ

Был декабрь ангинный —
И на градусник больно смотреть.
Я любил эти зимы,
Эту детскую глупую смерть.

Так, болезненный отрок,
Проверяю горячечный лоб,
Бедной рифмою «морок»
Запивая аптечный сироп.

Не вмещается в дольник
Солидолом пропахший отец.
И охрипший приемник
Добавляет беде килогерц.

Не выходят из спальни
Караваны тревожной родни.
И в графинчик хрустальный
Мама слезы роняет одни.

Мне казалось, погибель —
у порога и смотрит в глаза.
И въедается в мебель
Преломленных лучей стрекоза.

* * *

Учился на тройки, езжу теперь на «тройке».
В старом троллейбусе люди друг другу волки:
Заденешь плечом соседа, услышишь: «Падла!
Грязный и рваный, так тебе, с..., и надо!»

Так мне и надо. В рюмочной захудалой
Я выбираю между бесцветной и алой
Жидкостью, что на витрине и в преискуранте
Лучшая перспектива при всем таланте.

Что тебе снится, Тускарь? О чем печалишь?
Банки пивные, как поплавки, качаешь.
Думаешь выйти из берегов в апреле,
Все затопить к чертям на Страстной неделе?

Владимир Косогов родился в 1986 году в г. Железногорске Курской области. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Работает в СМИ. Победитель Волошинского конкурса, конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», лауреат премии «Лицей». Живет в Курске.

Это ли не финал? Торжественный, величавый,
Мною предсказанный, речью моей картавой,
Глоткой моей луженой, хрипящей матом
В троллейбусе, ускользающем за закатом.

АВТОПОРТРЕТ

коридором шел больничным
мимо стенда не кури
мыслью обуян привычной
не загнуться до зари

видел свет неугасимый
вскрыв божественный тайник
Меламеда нерадивый
но прилежный ученик

* * *

Напротив Никитской церкви
закусочная была.
Гирлянды ее померкли,
затихли колокола.

К вечеру собирались
у приоткрытых врат
и запустить старались
с музыкой автомат.
Пела сначала Вески,
что поворот впереди.

Как на античной фреске,
где со стрелой в груди
падает бедный лучник
(не уберег Господь) –
песни скрипичный ключик
мне вырывает плоть.

Я постарел, и глуше
тикает сердце в такт.
Скоро откроют суши-
бар, и да будет так!

Фольгою от шоколадки
купол блестит в окне,
и у церковной лавки
Вески играет мне.

Аркадий ГОНТОВСКИЙ

КОГДА ПОЕТ О ВЕЧНОМ ВЕТЕР

Стихи Аркадия Гонтовского (1959 г. р.), живущего в городе Прокопьевске Кемеровской области, знают не только в Кузбассе. Его поэтические подборки выходили на страницах журналов «Аврора», «Наш современник», «Нижний Новгород», «День и ночь», «Алтай» и др.

Для Гонтовского характерна тонкая созерцательная лирика, в которой есть что-то старомодное в лучшем смысле этого слова: может, эхо Серебряного века с петербургским акцентом? Может, умелая стилизация? Притягательно особое ощущение автором времени — личного внутреннего времени и того общего внешнего, которое «с тобой ходит об руку / По земле, по воде ли — не нужно венца, / Нужно просто довериться облаку».

Эти монологи с чуть отстраненной спокойной интонацией о том, как «мир хотел быть похожим на сон./ Сон любил этот странный мир». Реальная жизнь не противопоставлена метафизической, той, что «нельзя объяснить, и потрогать,/ И словами сказать на земле», но между ними — слепой пунктир и слепые поводьры, как в «Сказке ветра». Лирический герой Аркадия Гонтовского негромко, но твердо уверяет то ли себя, то ли читателя: «Ведь человеком быть несложно, / Несложно человеком быть».

Галина КЛИМОВА,
редактор поэзии
журнала «Дружба народов»

ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛОВЕК

Сквозная тишина и табурет.
Вечерний человек к окну садится
И слушает, как исчезает свет,
Как исчезают имена и лица;

И тени их становятся водой,
Стекающей по темному оврагу
Пустынных улиц, пахнущих бедой,
Забвением и ржавую бумагой.

Он слушает, он смотрит в никуда,
Забывшийся, облокотясь на локоть,
И только безымянная звезда,
Влюбленная в печаль и одинокость,

Задержит взгляд; почудится, она,
Познавшая, что все еще бездонней,
Приходит светлой женщиною сна,
Беря его лицо в свои ладони.

И разве важно: проклят иль спасен,
Когда он счастлив долгое мгновенье,
Вечерний человек, простивший все
В единственном прикосновенье.

СКАЗКА ВЕТРА

Мир хотел быть похожим на сон.
Сон любил этот странный мир.
Между ними был горизонт:
Может, миг, может, сотни миль.

Мир искал. Он верил в резон
Точных формул, казалось — вот...
Но там был другой горизонт,
Уходящий за небосвод,

Где в сиянии звездных миль
Спят легенды погасших солнц.
Сон любил этот странный мир,
Заглянувший за горизонт,

И не гасла в ночи свеча
Между ними.
Внезапно, вдруг
Все рассыпалось в мелочах,
Потеряв горизонтов круг.

И остался слепой пунктир,
Где слепые поводыри
Обещали построить мир,
Ослепительный изнутри.

* * *

За грозою шел дождь, как живая вода,
Словно небо на дольки порезали,
И, как зернышко, с неба упала звезда
Тихим светом полночной поэзии.

Дождь искрился во мгле, будто призрачный плащ.
Кто в нем шел, не запомнилось облика,

Только помню слова: если горько, поплачь,
И пойдем погуляем по облаку;

Если сходишь с ума, то сходи до конца,
Пусть пространство с тобой ходит об руку
По земле, по воде ли — не нужно венца,
Нужно просто довериться облаку:

Там в тумане дрожит и рождается свет,
Там сам Бог ворожит над треножником.
И я слушал и верил во весь этот бред,
Уходя в облака вслед за дождиком.

* * *

И снова осень: осень, где всерьез
Дожди порою ссорятся с годами,
Где листопады меркнущих берез
Гадают сны, придуманные нами.

Гадает за окном неверный свет
И позолоты осыпает наземь.
Чарующий осенний бред
Все так же неприкаянно прекрасен.

И так же песни дремлющей земли
Сквозь плен дождя и морок суесловья
Слышны, как волны в сумрачной дали,
Бегущие ночами к изголовью.

* * *

Когда поет о вечном ветер
Над угасающей листвой,
Окликну, осень не ответит,
А я шепчу, шепчу — постой.

Но крылья полнят поднебесье,
И белых птиц прощальный зов
Летит по городам и весям,
Тревожа сон колоколов.

И настоящее все зримей,
Все ощутимей наяву
В краю безрадостных предзимий
Вымарывает синеву.

Постойте, птицы, чуть постоит,
Еще не выплакана синь,
Для сердца горестного спойте
Сермяжную печаль Руси,

Чтоб — в нашем грешном окаянстве
Дойдя до сути, до корней —
Навзрыд заплакало пространство
Над бедной родиной моей.

ЭЛЕГИЯ

1.

Выйти в ночь из прокуренных комнат,
По урочищам сонным брести.
В этих снах отыскать светлый омут,
Пить туманные звезды с горсти.

Просто быть. Просто слушать, как рощу
Наполняет ласкающий свет,
Как он пробует звуки на ощупь
Серебристою нитью в листве.

2.

Позабиться. И вровень с туманом
По мерцающим в дреме лугам
С белоснежным идти караваном
К очарованным берегам.

Только сны. Только сны и дорога.
Только проблеск чего-то во мгле,
Что нельзя объяснить, и потрогать,
И словами сказать на земле.

3.

Там, где долгого вздоха немая печаль
Поднимается к небу осенней рекой,
Словно кто-то незримый снимает печать,
Отпуская тебя за ожившей строкой;

И живая вода, отразив небеса,
Отворяет пространство пределов Его,
Там светло задрожит в поднебесье слеза
У твоих очарованных берегов.

ПРОХОЖИЙ

Глаза, глаза — чужие тайны,
Осколки радостей и бед,
Но вдруг мелькнет необычайный
Почти забытый тихий свет.

И хочется идти с прохожим,
Глядеть в глаза и говорить.
Ведь человеком быть несложно,
Несложно человеком быть.

Но есть святая осторожность.
О, этот каменный уют.
Нет, человеком быть несложно:
Не подойдут — не предадут.

Надежно замурован стенами,
Горит свеча, едва дыша,
И вспоминая — есть вселенная —
Томится пленница душа.

* * *

Вы музыкой моей не заболейте,
Со мной навек — нельзя наверняка.
Бродягою, играющим на флейте,
Я выступил мечты на сквозняках.

Души своей не выстелю изнанку,
Уже не тот, чтоб всем смертям назло.
Вы видели, как падают подранки,
С обрыва поднимаясь на крыло?

И оглашает клич небесный купол.
В нем зов и боль, но сколько ни зови,
Тот мальчик, что себе придумал кукол
Игрушечных из плоти и крови,

Он вырос. И ушел. О нем ли ветер
Вздыхает на изломах тростника?
Вы музыкой моей не заболейте:
Там за дождями шепчутся снега.

В СЕНТЯБРЕ

Есть на земле одно такое место,
Приходишь, и вдыхаешь эту тишь,

И слушаешь его живую мессу,
И вместе с ним над временем летишь.

Подхватит и влечет все дальше память
К рябиновым проливам сентября:
Касанье губ и нежное цунами.
Я помню всю на выдохе тебя, —

Пожары губ, падение над бездной,
Где в тишине соединенных тел
Восходит солнце...
Есть такое место.
Я рассказать о снах его хотел.

* * *

Прозрачный свет, последнее тепло.
И хочется брести куда не зная,
Глядеть, как, поднимаясь на крыло,
Уходит вдаль над горизонтом стая,

Запоминать деревья и траву,
Ловить их сон и редкий треп сорочий
И снова возвращаться в синеву,
Где исчезает журавлиный росчерк.

Наталья ОСИПОВА

САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА МАРИУПОЛЯ

Повесть

Глава первая. Самая красивая женщина Мариуполя

В этой жизни мой отец не любил, пожалуй, только две вещи: оставшийся на второй день борщ и вождя всех народов Иосифа Сталина. Если он узнавал, что борщ, который ему предстояло съесть, сварен вчера, — он его выливал. Со Сталиным было сложнее. Может быть, поэтому о нем родитель говорил нечасто.

— Едет! — сообщаю я маме, заметив из окна, как через КПП проезжает темно-зеленый газик. Прильнув к стеклу, наблюдаю, как машина сворачивает к двухэтажным домам нашего военного городка.

— Спасибо, доченька, — ласково отзывается из кухни мать.

У нее давно уже все наготове: на разделочной доске возвышаются горкой измельченные лук, чеснок, помидор, морковь и петрушка, а в большой эмалированной кастрюле на медленном огне газовой горелки томится борщ. Ожидает своего старта и стоящая рядом чугунная сковорода со шматками бело-розового сала.

Слышно, как газик тормозит у подъезда. Мама торопливо чиркает спичкой, и под сковородой вспыхивают голубые язычки пламени. Сало начинает ежиться и шипеть. В этот момент обычно в дом заходит отец.

— Эх, да что же это я! — сокрушается мама при его появлении. — Опять не успела борщ закончить. Заправочка еще не готова.

— Ничего-ничего. Свеженького и подождать не грех.

Отец неспешно ополаскивает руки над умывальником, тщательно вытирает о полотенце и, взглянув на себя в зеркало, поправляет свои пышные, слегка выющиеся русые волосы. Затем расстегивает китель и усаживается за стол.

Мама суетится вовсю. По всей кухне разносится резковатый запах жареного чеснока. Сало в сковороде на глазах превращается в коричневые шкварки. Остается только забросить к ним зелень, морковь и помидор.

Наталья Осипова родилась в городе Мариуполе Донецкой области. Окончила филологический факультет Саратовского университета. Член Союза писателей России. Печаталась в журналах «Волга», «Волга — XXI век», «Веси», «Юность», «Читайка», «Простокваша», «Колокольчик», «Детское чтение для сердца и разума». Автор детских книг. Московское отделение Союза писателей России не раз отмечало ее творческую деятельность грамотами и медалями, среди которых медаль С. Я. Маршака за победу в конкурсе произведений для детей, а также «За творческую индивидуальность и профессиональную деятельность». Работает в Телерадиокомпании «Русский мир», где ведет авторскую программу «Культурный слой». Живет в Москве.

— И с чего это ты у нас такой привередливый? — слегка подтрунивает над отцом супруга. — Сам же рассказывал, как в деревне похлебку из лебеды хлебал. И ничего. А тут ему с пылу с жару борщи подавай. И не дай бог, если вчерашний...

Ох, лучше бы она этого не говорила! Сейчас отец обязательно про Сталина вспомнит. И точно. Вспомнил.

— А из-за кого я, интересно, в тридцатых похлебку из лебеды хлебал? — в голосе отца звучат нотки плохо скрываемого раздражения. — Не знаешь?

— Не знаю, — как можно беспечно отвечает мать. — Я в тридцать втором в Артеке отдыхала! Мне, девочке из многодетной рабочей семьи, путевку дали. За отличную учебу, между прочим.

— Неужто больше некому было? — иронизирует отец.

— Ну, почему некому. Был еще мальчик из семьи известных в городе музыкантов.

— И что?

— Путевку дали мне.

— В Артеке она отдыхала, — передразнивает отец. — Задницу наедала...

— Завидно? — оставив грубость незамеченной, продолжает мать. — А кормили нас там действительно очень хорошо. На полдник даже шоколадки давали.

Любит мама про Артек рассказывать. В ее детстве знаменитый лагерь был не таким, как сейчас. Вместо красивых корпусов в то время там скромные палатки стояли. А шоколадки, конечно, давали, но следили, чтобы дети съедали их в столовой. Однако мама все же ухитрялась их выносить и прятать под матрас. То-то обрадуются четыре сестры и три брата, когда она им гостинцы из Артека привезет! Но увы. В последний день перед отъездом, пока артековцы сидели у костра, кто-то проверил постели пионеров, и шоколадки из-под матраса исчезли.

Но сейчас ей не до рассказов: не перетомить бы заправку — муж не любит переваренное.

— Советская власть обо всех заботилась, — спешит она подвести итог разговору.

Такой вывод отца явно не устраивает:

— Да уж, забота великая! Что и говорить. В колхозы загнали, скотину отняли, зерно отобрали. А тут вдруг — бац! Засуха. Недород. Вот людишкам и пришлось траву жрать, отдавая Богу душу. А вождю расчудесному что? Он в Кремле сладко кушал...

— Перестань при ребенке, — обрывает его мать.

Ну вот. Наконец-то и обо мне вспомнили. Вечно между собой что-то выясняют, а меня только в качестве последнего аргумента прикладывают.

— Не то сказал? — отец делает удивленное лицо.

— Уймись.

— А надо было что? — не унимается тот.

— Надо было тебя, умника, в МГБ сдать, — мать резко выключает плиту и сердито добавляет: — Как врага народа.

— Иди сдавай! — с готовностью предлагает муж.

Что такое МГБ я спросить не решаюсь. Не хочется попадать «под горячую руку». У отца обед всего час. Потом его снова отвезет темно-зеленый газик на какой-то ужасно секретный полигон. Никто в мире не должен знать, где он находится. Но мы -то с мамой знаем: полигон этот где-то здесь, в Подмоскowie, рядом с нашим военным городком. А иначе как бы мог отец домой на обеды приезжать?

— В Артек она ездила. Падайте ниц! — выдает отец новую порцию подначек.

Мама не отвечает. Она ловко, соскребаёт со сковороды приправу и добавляет в борщ. Наконец, обернувшись к мужу, весело объявляет:

— Жримовчики готовы!

Слово «жримовчики» мама взяла из анекдота, который мы с отцом хорошо знаем. Правда, анекдот немного грубый. Словом, так: «Пришел русский в гости к украинке. Та его угощать стала. Русский, желая угощение похвалить, спрашивает:

— Как называется это блюдо?

— Жри мовчики! — отвечает ему хозяйка. То есть ешь молча.

А он решил, что так называется угощение.

— Ну, до чего же у тебя вкусные жримовчики! — воскликнул он».

На этом месте обычно положено смеяться.

— Много гущи не клади, — отец внимательно следит за тем, как жена наполняет его тарелку ярко-бордовой жидкостью, именуемой «борщ».

Говорят, когда в Мариуполе рождается девочка, рецепты борща и вареников с вишнями уже записаны в ее генах. Остается только к плите ее подвести, и все получится, как надо. Наверное, так случилось и с моей мамой. Впрочем, это касалось не только борща, а всего, что делали ее руки.

В те времена офицерские семьи отмечали советские праздники большими компаниями. Собирались обычно у кого-нибудь дома. Еду на праздничный стол готовили в складчину: каждый что-нибудь приносил. Отец складчину не любил. И если собирались у нас, то все готовила мама. Подвыпившие гости не уставали нахваливать холодец из свиных ножек, утку с черносливом, кролика в капусте — мама умела поразить воображение.

— Еще? — спрашивает мать, как только у отца пустеет тарелка.

— Достаточно... Так можно и быка съесть, — отвечает муж излюбленной присказкой.

Это может означать только одно: он сыт, и настроение у него соответствующее.

— Вот это борщ так борщ! — неожиданно начинает он нахваливать мамину стряпню. — Его же есть приятно. Свежак! Не то что на второй день. На второй день это уже не борщ. Это уже помои.

Мы с матерью незаметно переглядываемся. Эх, папа-папа, не хочется тебя разочаровывать. Что бы ты сказал, узнав, что борщу этому на самом деле уже третий денек пошел? Просто чтобы угодить тебе, мама всякий раз ловко имитирует «приготовление свеженького», добавляя в кастрюлю чуток новых ингредиентов.

Наблюдая, как отец наворачивает за обе щеки трехдневный борщ, я впервые начинаю смутно подозревать, что на самом деле миром сильных мужчин тайно управляют хрупкие женщины. Это как с папиным секретным объектом: он есть, но никто о нем знать не должен.

После борща наступает очередь картофельных зраз, щедро политых сметаной, и компота, слегка охлажденного в пузатеньком холодильнике ЗИЛ.

— В МГБ, говоришь, надо было сдать? — миролюбиво продолжает отец прерванную перебранку. — А что ж ты за врага народа замуж-то пошла?

— Так не знала же.

Мама разводит руками, демонстрируя полную беспомощность. Любит она иногда перед мужем дурочкой прикинуться. И ей, между прочим, это очень идет. Такая миленькая-премиленькая глупышка в ситцевом халатике и симпатичным передничке.

— А если б знала, пошла б? — прихлебывая компот, как бы между прочим интересуется супруг.

— Та никогда!

Мама делает нарочито суровое лицо, но при этом что-то по-детски озорное проглядывает в ее блестящих черных глазах.

За окном сдержанно библикает газик. Солдат-водитель уже вернулся с обеда. Стоя в прихожей, отец слегка приобнимает свою хозяйку:

— Значит, не пошла б «никогда»?

— За врага советской власти? Та кто ж пойдет?

— А если б после войны, кроме меня, дурака, никого не нашлось? — отец вплотную прижимает ее к себе. — А?!

— Тю... Та у меня после войны ухажеров было море, — кокетливо отбивается от него мать. — Ты ж меня обманом в загс затащил. Не помнишь разве? Сказал: «Мария! Пойдем погуляем, только возьми на всякий случай паспорт». — «А шо? — спрашиваю, — у нас в Мариуполе у женщин уже документы проверяют?» А как вышли из дому, так ты в сторону загса меня сразу и повел. Я ж и не знала...

— Ну конечно, и не подозревала, бедняжка, — тем же тоном вторит ей супруг. — А родственнички твои посмекалистей оказались. Стол бросились накрывать. Ждут.

— Да не так все было. Мы же на следующий день вечеринку делали. Забыл?

— Забыл, — отец делает паузу. Его большие серые глаза в упор разглядывают супругу. — Но помню другое.

Мама с беспокойством смотрит на мужа:

— Что?

— Помню, что самая красивая женщина Мариуполя досталась мне! — провозглашает тот тоном победителя.

Мама смеется:

— Ты хорошо смотрел?

— Я не мог ошибиться!

Газик за окном снова библикает. На этот раз более настойчиво.

— Пора! — отвесив супруге легкого шлепка, отец отстраняется и, обратив наконец на меня хоть какое-то внимание, машет на прощание рукой: — Пока!

«Пока-пока», — думаю я, завистливо поглядывая на мать, которой, как всегда, досталась львиная доля папиных симпатий.

Как только за ним закрывается дверь, мама строго-настрого меня предупреждает:

— Все, что он тут про Сталина рапотякивал, не вздумай никому болтать. Поняла?

Киваю, готовая молчать даже под пытками.

— Кстати, я тебе объясняла, почему он такой? — оживает мать. — Да потому, что в кулацкой семье рожденный. А кулаки, они знаешь какие злопамятные? Сколько лет прошло, а все помнит, как «советская власть» у них все позабирала: землю, скотину, сеножатку какую-то. Хорошо еще, в Сибирь не отправили. Там, говорят, столько погибло, но я, честно говоря, не верю. А не отправили потому, что в Гражданскую у старшей сестры Паши муж в Красной армии воевал. На это тогда смотрели. Правда, Пашкин муж, вернувшись, недолго-то и пожил: как председателем в родном селе стал, так свои же и пристрелили. А Сталин, между прочим, просто так никого не притеснял. Да только отец твой, упертый, ничего понимать не хочет! — в сердцах подытожила мама.

Всю эту историю я от нее уже слышала. Однако всякий раз родительница умудрялась добавлять в нее что-нибудь новенькое.

Что же касается отца, то он был не любитель рассказывать о себе. Хорошо еще, что его старшая сестра Паша к нам из Харьковской области пару раз погостить приезжала. А иначе мы бы и вовсе о нем ничего не знали.

Обычно отец вставал на рассвете, включал на всю громкость радио и, слушая последние известия, брился. Длинная острая бритва, которой он водил по намыленным щекам, вызывала у меня чувство страха. Бритва так и называлась: «Опасная». Потом отец завтракал и уезжал.

Мама после его ухода радио выключала, и мы досыпали. А проснувшись, пили чай с блинчиками. Впереди был целый день, полный домашних хлопот, но я знала: мама обязательно выкроит время для любимых дел. Например, сядет вышивать гладью цветочки на подушечке или начнет строчить на швейной машинке «Подольская» затейливую салфеточку.

В этот раз мама спешит закончить новое платье. Ведь, скоро мы с ней отправимся в Мариуполь на бабушкин юбилей. А там вся родня соберется. Платье должно быть просто «Ах!».

Пока она, сидя за столом, расчехляет «Подольскую», я, устроившись на диване, пытаюсь переключить ее внимание на себя.

— Мам, а мам...

— Чего тебе? — неохотно отзывается мать.

— Расскажи про Артек.

— Ты уже все знаешь.

Ей сейчас явно не до меня. На крепдешиновом платье нужно вшить сбоку небольшую молнию. Дело кропотливое и ответственное.

— Нет, не все, — протестую я. — Ты еще не рассказывала, как ты туда ехала.

— Разве? А по-моему, разговор был.

— Ты только говорила, что бабушка боялась тебя одну отпускать, а сопроводить тебя до Киева, где пионеров собирали для отправки в Крым, было некому.

— Да, некому, — мать осторожно протискивает под стальной лапкой машинки тонкую ткань. — Дед твой с завода не мог отпроситься. А бабушке как от семерых детей оторваться? Узелок мне собрала, в поезд посадила и наказала с незнакомцами не общаться, из вагона на остановках не выходить.

— Почему? — не унимаюсь я.

— Боялась, как бы кто не заманил меня куда и не насильничал.

— Это как?

— Здравсьте — приехали! Я ж тебе уже все объясняла. Забыла, что ли? В одно ухо влетело, в другое вылетело? Тебе в этом сентябре в школу идти, а ты все такая дурында.

Срочно пытаюсь реабилитироваться:

— Да, помню я все. Помню...

— Так вот, — продолжает мать. — Мне в ту пору тринадцать годков стукнуло, уже груди торчат, а старшие сестры лифчиками не спешат делиться, мол: «соплюха еще». Мужики в поезде, конечно, зыркали на меня, но в плацкартном вагоне не забалуешь. Да, я и сама не будь дура, сразу к семейной паре прилепилась и давай с детьми ихними нянчиться. Так до Киева и добралась. А там уже дали сопровождающего до самого Артека.

— И все? Раньше ты интересней рассказывала.

— Ох, отстала бы ты от меня!

Мама начинает злиться, хотя я тут вовсе ни при чем. Просто шпулька в недрах «Подольской» нитки то и дело путает. Неудачно пришитую молнию придется отпарывать. И не дай бог при этом порезать тонкий крепдешин!

В такие минуты с родительницей лучше не общаться. К тому же о том, что случилось с пионерами по пути в Артек, я и так знаю. Не всегда же мама в плохом настроении бывает.

Из Киева в Артек пионеры ехали в купейном вагоне. Все примерно одного возраста: мама, девочка из Харькова и два пацана из Донецка.

Едва поезд тронулся, в купе зашел сопровождающий — молодой парень в синем трико, белой майке и пионерском галстуке. В руках он держал завернутые в газеты свертки с продуктами.

— Чтoб до вечера все съели! — шутливо приказал он, оставляя съестное на столе. — Утром будем уже в Артеке. Если что, мое купе рядом с проводником. Все ясно?

— Да! — хором откликнулись ребята.

— Жарко только, — добавила девочка из Харькова. — Хотели окно открыть — не поддается.

— А это мы сейчас исправим!

Парень подошел к окну и, нажав на края рамы, мощным рывком до половины опустил стекло. Сразу подул свежим ветерком. Поезд, набирая скорость, все дальше уходил от большого города.

В свертках оказалось три круглых каравая, кусок сливочного масла и литровая банка яблочного джема. Проводник принес чай, и завтрак у будущих артековцев удался на славу.

Потом, растянувшись каждый на своей полке, сытые пионеры весело болтали на темы, какие обычно интересуют сверстников. Время тянулось медленно, но наконец подошло к обеду. И опять все дружно пили чай и жевали уже слегка надоевшие бутерброды.

— Стоянка десять минут, — неожиданно проорал пробежавший по коридору проводник.

Поезд заскрипел тормозами, дернулся и остановился. Дети с любопытством выглянули в окно. Ничего интересного: прожаренный солнцем пустой перрон да обшарпанные стены одноэтажного здания вокзала.

Однако через минуту перрон, казавшийся пустынным, вдруг ожил. Неподвижно лежавшие в тени вокзала люди, завидя остановившийся поезд, начали медленно вставать.

— Смотрите! К нам нищенка идет, — воскликнул кто-то из мальчишек.

К их окну действительно, пошатываясь, приближалась босая изможденная женщина. Спутанные волосы выбились из-под платка. Лицо, иссушенное зноем, казалось иссиня-черным. У самой груди она бережно прижимала к ветхой одежде что-то обернутое в тряпицу. Ребята даже не сразу поняли, что это ребенок: настолько страшна была его худоба.

— Родненькие, дайте хлеба, — умоляюще прохрипела она, подойдя ближе.

Дети с готовностью протянули ей из окна бутерброд. Свободной рукой женщина попыталась дотянуться до еды, но, увы, бутерброд шлепнулся на перрон. Она было наклонилась, чтобы поднять, как вдруг из-под бетонных плит с лаем выскочила собака и, быстро схватив еду, скрылась в своем убежище.

Скоро к их открытому окну подошло сразу несколько человек. И всех почему-то интересовал хлеб.

Неожиданно дети почувствовали себя крайне востребованными. Они быстренько организовали так называемую «пионерскую цепочку». Первый мальчик аккуратно отрезал кусок каравая и передавал маме. Мама намазывала хлеб маслом и протягивала девочке из Харькова, а та в свою очередь на масло накладывала джем. Наконец готовый бутерброд поступал второму пацану, который, максимально высунувшись из окна, отправлял его в чью-то протянутую руку.

А под окном между тем собралась уже целая толпа. Очереди никто не соблюдал: люди толкались, оттесняли слабых, выхватывали куски друг у друга. Тем временем из здания вокзала поспешно вышли два милиционера.

— Расходимся, граждане! Расходимся! — повторяли они, пробираясь к открытому окну.

Ребята слегка растерялись. А тут еще, сверкая глазищами, в их купе влетел перепуганный проводник:

— Ах вы, бисовы дети! — заорал он. — А ну отойдите от окна! Вы шо? Сдурели? Сейчас поезд тронется — люди под колеса попадут! А я под суд!

Проводник ринулся к окну, но закрыть не смог. Десяток рук удерживало оконную раму с другой стороны.

— Хлеба давай! — требовали люди.

На шум прибежал сопровождающий. Вместе им наконец удалось закрыть окно. На всякий случай проводник даже опустил глухую коленкоровую штору, оставив только маленькую полоску света в самом низу.

— Додумались, — с укором произнес сопровождающий и на всякий случай унес к себе остатки продуктов.

Поезд тронулся. Остальную часть путешествия мама и ее друзья провели в душном полутемном купе, без ужина, желая только одного: поскорее добраться до Артека.

Ура! Кажется, машинка «Подольская» наконец-то стала послушной. Платье готово. Мама осторожно облачается в него, подходит к зеркалу и придиричиво себя осматривает. Легкий крепдешин выгодно подчеркивает гармоничные формы ее фигуры.

— Нравится? — с улыбкой спрашивает она, глядя в мою сторону.

— Очень!

— По-моему, сюда еще лаковый поясок просится. Зря тогда в ГУМе не купили. Ну, ничего. Время еще есть. Съездим...

Как же я любила мамины наряды! Даже название материалов, из которых они были сшиты, приводили меня в восторг: романтический батист, таинственный креп-жоржет, соблазнительный шелк, сказочный крепдешин. И только один человек в нашей семье хмурился при виде маминых обновок. Этим человеком был мой отец.

Увлеченные примеркой, мы в тот раз даже не заметили его появления.

— Опять новая тряпка? — громыхнул он прокурорским тоном. — Это когда-нибудь кончится? Небось всю мою зарплату потратила?

В доме начинает пахнуть грозой. От плохого предчувствия внутри меня все замирает. Мне уже приходилось видеть разборки между родителями.

— Ты шо? Совсем? — удивленно смотрит на мужа супруга. — Я в этом платье Новый год встречала. Не помнишь? Ты же вроде не пьяный был.

— Разве? — отец снижает тон.

— Ну конечно, где тебе было на жену смотреть, когда ты весь вечер отплясывал с племянницей замполита? Куда моему крепдешину против ее панбархата.

— Да я всего-то пару раз станцевал с ней. Нельзя, что ли?

На самом деле отцу нравится, когда жена ревнует. И мама об этом знает.

— Конечно, тебе все можно: плясать, пляться на чужих баб. Вот только меня видеть разучился, — обиженно продолжает она.

Отец в легком замешательстве. Он явно ищет какой-то выход.

— Разучился? Не вижу?

Неожиданно он притягивает жену к себе и шепчет в самое ухо:

— Вот я тебя вечером сегодня и разгляжу. Ух, как разгляжу!

— О чем это ты? — грациозно отстраняется супруга.

— Да, помню я это платье, помню, — уже совсем мирным тоном продолжает муж. — Красивое. Тебе идет.

Кажется, гроза на этот раз миновала. А я, глядя на родителей, почему-то опять вспоминаю папин секретный объект, который вроде бы есть, но никто о нем знать не должен.

Как я уже отмечала, об отце до его встречи с мамой я почти ничего не знала. Зато о маме, как мне тогда казалось, я знала абсолютно все. Жила она раньше в городе Мариуполе, почти в самом центре, недалеко от оперного театра и, если бы не отец, так бы и оставалась всю жизнь в этом прекрасном городе на Азовском море.

В Мариуполь он приехал сразу после войны. Правда, город потом назывался Жданов в честь одного видного советского деятеля, но жители между собой даже тогда величали его Мариуполем, а сейчас, к счастью, это уже официально принято.

Город в сорок шестом еще сильно разрушенным стоял. Немцы, отступая, жителей за двадцать километров выгнали и все дома сожгли. Мама рассказывала, как они стояли в чистом поле и плакали, видя страшное зарево на горизонте.

Потом, конечно, Мариуполь отстроили заново, но раньше всего нужно было восстановить «Азовсталь». Это такой металлургический комбинат с огромными доменными печами, в которых сталь плавится. Если на городском пляже стать лицом к морю, то слева, на горизонте, видны эти громады, похожие на великанов в дымных серых плащах. Со всех концов страны люди приезжали возрождать город и его знаменитые заводы.

— Между прочим, «Азовсталь» твой отец восстанавливал, — всякий раз напоминала мне мать, когда летом мы гостили у бабушки на Азовском море.

Дальше я уже и без нее могла рассказать. Отец в сорок шестом приехал не один, а с целой группой инженеров. Еще до войны он прошел нелегкий путь превращения деревенского паренька в городского рабфаковца, а потом и в советского инженера-электронщика.

— В доменном цеху, — объясняла мама, — все должно быть автоматически: кнопку нажал — и конвейер пошел, ковши заработали, сталь полилась. Это и есть электроника. Фашисты, отступая, домны повзрывали. А после войны Министерство тяжелой промышленности прислало к нам группу специалистов, чтобы все восстановить. По приказу Сталина, между прочим.

— Знаю! — торопилась я досказать самое интересное. — Как только все домны наконец запустили, папу и всю его группу медалями наградили!

— Да, — кивает мать, — наградили. В сорок восьмом.

— Сам Сталин?

— Не знаю. Надо у отца спросить.

Маме не хочется меня разочаровывать. В отличие от нее я даже не сомневаюсь. Да разве мог кто-нибудь другой это сделать?

Как же я любила рассматривать эту отцовскую медаль! На лицевой стороне в лучах восходящего солнца изображены рабочий-металлург и восстановленная домна. Мне почему-то всегда казалось, что человек на медали похож на отца. Конечно, точно разглядеть было невозможно, слишком мелким было изображение, но мне так казалось.

По окружности медали шла надпись: «За восстановление предприятий черной металлургии юга». А на внутренней стороне: «Труд в СССР — дело чести». Крепилась медаль на обтянутой муаром колодке с синими и голубыми полосками.

Много позже, уже будучи взрослой, узнала я, какие усилия потребовались стране, чтобы искореженные домны и мартеновские печи вновь заработали. На фронтах еще шли бои, а на освобожденных территориях уже начались восстановительные работы. И не случайно 18 мая 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена эта медаль.

Конечно, были у отца и другие награды: медали «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией». А еще был у него немного похожий на мою октябрятскую звездочку орден Красной Звезды. Но мне почему-то всегда казалось, что у родителей медаль «За восстановление предприятий черной металлургии юга» была на особом счету. Ведь она напоминала об их встрече, которая, как ни крути, а без участия вождя ну никак не могла бы состояться.

Что было потом? Родители поженились, и у них родилась девочка. Этой девочкой оказалась я. А потом Советской армии потребовались специалисты по электронике, и отца вновь призвали на военную службу. Так наша семья навсегда уехала из Мариуполя и оказалась в военном городке, затерянном в лесах Подмоскovie.

— Глубоко под землей, в шахтах, стоят ракеты с боеголовками, — терпеливо объясняет мне мама. — Они защищают нашу Родину. А такие специалисты, как твой папа, нужны для того, чтобы все сработало автоматически: кнопку нажал, и ракеты полетели.

— Куда? — спрашиваю я.

— Куда надо, туда и полетели, — уклончиво отвечает родительница. — Думаешь, у Советского Союза одни только друзья есть? Врагов тоже хватает.

Честно говоря, тема врагов меня не очень волнует. Сейчас мне гораздо интереснее другое, но об этом я слегка стесняюсь спросить.

— Мама, а правда...

— Что правда?

— Правда, что ты самая красивая женщина Мариуполя?

— С чего ты взяла? — удивляется мать.

— Отец говорил. Помнишь?

— Честно говоря, не помню.

— Говорил...

Мама улыбается:

— Ну если и говорил, то сильно преувеличил.

Она, как всегда, скромничает. Но я-то знаю: отец не мог ошибиться. Самой красивой женщиной Мариуполя, конечно, была она, моя мама. И в этом даже сейчас никто меня не разубедит.

Глава вторая. Родня по материнской...

В детстве мне казалось, что город Мариуполь почти весь состоит из моих родственников. Бывало, ходим к ним, ходим, а они все не заканчиваются. Даже сидя в отходящем поезде Мариуполь—Москва, мама неожиданно спохватывалась:

— Ой, а к этим так и не зашли! А про этих забыли...

В Мариуполь мы обычно приезжали в начале июня, когда море по здешним меркам считалось еще холодным, а возвращались в наш подмосковный военный городок в конце августа, вдоволь наплававшись в прогретом солнцем азовском мелководье.

В самый разгар пляжного сезона к нам подъезжал отец. Его отпуск, как всегда, был краткосрочным. Мама говорила, что отдохнуть, как все нормальные люди, он не умеет. Первые три дня с утра до вечера валяется на пляже, а потом, обгоревший и угрюмый, мается: к родственникам не затащишь, фотографироваться не уговоришь.

Однако в конце концов отец на увещевания супруги поддавался: мамину родню посещал, пляжному фотографу позировал.

У меня же в отличие от папы появление на пляже человека со штативом и фанерным ящиком в руках всегда вызывало особый интерес.

— Смотрите! Смотрите! Фотограф идет! — громко зывала я к родительскому вниманию.

Выбрав место, человек втыкал в песок трехногий штатив, прикручивал к нему фанерный ящик, из которого весьма осторожно выдвигал конусообразную гармошку с объективом. Потом, словно фокусник, доставал откуда-то черную накидку и накрывал ею свое сокровище, оставляя на виду только гармошку. Вскоре из желающих сфотографироваться возникала небольшая очередь.

Наконец начиналось самое интересное. Будто желая спрятаться от надоедливых клиентов, фотограф нырял под накидку, и какое-то время только загорелые ноги в сандалях подтверждали его присутствие в этом мире. Но вдруг из-под темной материи высывалась поднятая вверх рука, и громкий голос провозглашал:

— Смотрим в объектив! Не шевелимся! Не моргаем!

И все дружно замирали. Когда рука опускалась, шевелиться и моргать было можно.

Примерно через неделю готовые снимки ждали нас в фотоателье на Ленинском проспекте. К этому времени отец, как правило, уже уезжал.

От бабушкиного дома до Ленинского проспекта не так уж далеко. Выходишь со двора на улицу Первого Мая, сворачиваешь в переулок, ведущий к центру, проходишь какой-то ресторанчик, и вот уже виден угол сталинской многоэтажки, где в витрине фотоателье красуются самые удачные снимки.

Жители Мариуполя, гуляя по проспекту, частенько останавливались полюбоваться на фотографии. Милые карапузы, счастливые молодожены, статные морские офицеры — кого только там не было! Втайне я всегда мечтала, чтобы однажды в витрине фотоателье оказались и наши изображения. Все будут на них смотреть и говорить: «Ну до чего же хороши эти трое: папа, мама и девочка!» Только почему-то такого никогда не случилось. Снимки просто отыскивали в каком-то ящике и выдавали по квитанции.

Сюжеты ежегодных семейных фото отличались разве что надписями в уголках: «Азовское море, год такой-то», «Азовское море, год такой-то». На самых ранних, у кромки прибоя — пухленькая малышка с совочком и ведерочком в руках. Море на снимках практически не меняется, зато пухленькая малышка с каждым следующим годом все больше вытягивается вверх. И вот уже не узнать ее: у воды стоит худенькая угловатая семилетняя девочка.

В череде лет, промелькнувших под общим названием «Детство», именно седьмое мариупольское лето как-то особенно застряло в моей памяти. Возможно, потому, что в тот год по случаю бабушкиного семидесятилетия все мамы родственники решили собраться воедино в этом чудесном приморском городе.

Тот, кто хоть раз бывал в южных городах России, знает, что собой представляют тамошные дворы. Заходишь в какой-нибудь проем между добротными высокими зданиями, стоящими вдоль улицы, и сразу попадаешь в другой мир. Оказываешься среди одноэтажных домишек с причудливыми верандочками и летними кухнями. По беленым известью стенам неизвестно откуда и куда вьется виноград.

Именно в таком дворе и жила моя бабушка, к которой мы приезжали каждое лето. Две смежных комнатки в недрах длинного одноэтажного дома, до отказа набитого соседями, были тем местом, где проходила ее неприметная жизнь.

Правда, мама утверждала, что так было не всегда. Когда-то их семейство проживало вовсе не в Мариуполе, а в ближнем пригороде под названием Аджахи. Это позже Аджахи слились с Мариуполем, став, как потом оказалось, одним из самых бандитских мест в городе. А в то время это был тихий поселок у своенравной речки Кальмиус, недалеко от ее впадения в Азовское море. Там и появились на свет все девять бабушкиных детей, кроме последней, десятой, обожаемой мною тети Валечки.

В Аджахах с давних времен предприимчивые люди строили небольшие доменные печи, в которых варили сталь. Нужная для этого порода там рядом имелаась. Именно на одном из таких частных заводиков и трудился у хозяина мой дедушка Александр. Был он мастером по обжигу синьки.

Обычно все думают, что синькой только белье полощут, и даже не подозревают, как нужна она при выплавке стали. Добавишь пережженную синьку — ломкая сталь будет. Сыроватую — вовсе на выброс пойдет. И только дед знал секреты темно-синего порошка.

Расчудесные, по словам мамы, то были времена. Веселой оравой носились дети по просторным комнатам двухэтажного особняка, первый этаж которого любезно предоставил многодетной семье мастера владелец предприятия. Второй этаж занимала семья управляющего. У них детей не было, зато имелаась огромная библиотека: дубовые шкафы, доверху набитые книгами. Сам же хозяин бизнеса безвылазно обретался где-то в Париже. Поговаривали даже, что он французом и был.

Мама родилась в Аджахах 7 апреля 1918 года, в большой православный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Конечно же, новорожденную называли Марией. К этому времени, кроме нее, в семье уже было семеро детей.

Апрель восемнадцатого выдался для жителей поселка беспокойным. То «белые», то «красные», а то и вовсе не понятно какие, не рискуя заходить в большой город, захватывали и разоряли пригороды. Заводик по производству синьки то закрывался, то вновь принимался за труды. Жить в Аджахах становилось небезопасно.

Однажды, услышав на улице шум, бабушка из любопытства подошла к окну. Крохотная мама спала у нее на руках. Внезапно мимо дома пронеслись какие-то всадники, и «ба-бах»: стекла от выстрела посыпались.

— Господь тогда чудом Марию уберет, — позже говорила мне бабушка. — Пуля в сантиметре от ее головы в оконный переплет угодила.

Когда спустя годы в этих краях окончательно утвердилась советская власть, управляющий со второго этажа съехал. Прощаясь, слезно просил мастера присмотреть за библиотекой. Надеялся на возвращение. Дед обещал. Однако и сам долго в Аджахах не задержался. Нанял подводу, усадил в нее разросшееся семейство и двинулся в Мариуполь. Вместе с прочим скарбом захватили по возможности и часть оставленных книг.

— Ах, какие это были книги! — не раз потом вспоминала мама. — В кожаных переплетах с золотым тиснением. А какие картинки! Нас, детей, конечно, только они интересовали: полуголые боги на природе пируют, женщина на быке по морю плывет, воины в доспехах сражаются — чего там только не было! И что удивительно: перед каждой картинкой лист папиросной бумаги проложен.

Повзрослев, она узнала, что книги те по-французски были писаны, а папиросная бумага цветные гравюры оберегала. О том, что увесистые тома еще сыграют свою роль в ее жизни, она тогда не подозревала.

К сожалению, в Мариуполе, кроме жэковского дома, затерянного в огромном дворе за Музеем краеведения, их семью ничего хорошего не ожидало. Сколько лет они здесь прожили, и сосчитать трудно. За это время бабушкины дети успели вырасти и разлететься кто куда. Теперь у них свои отпрыски и даже кое-кто из них тоже обзавелся потомством.

— Бабушка, как у тебя получилось так много детей? — поинтересовалась я однажды.

— Сколько Господь послал, столько и получилось, — с улыбкой ответила старушка.

А Господь, как выяснилось, послал им с дедом десять детей. Правда, двоих, по словам бабушки, «прибрал» еще в детстве. Не прошла без потерь и война: в сорок четвер-

том, освобождая Крым от фашистов, погиб под Балаклавой их первенец Илья. Не дожил до юбилея любимой супруги и мой дед Александр.

— Ты разве деда своего не помнишь? — удивляется мама. — Как же так? Тебе ведь уже четыре с половиной года было, когда он умер.

— Не помню, — виновато признаюсь я.

— А ведь мы тогда еще в Мариуполе жили. Эх, ты...

Желая хоть как-то оставить деда Александра в моей памяти, мама начинает вспоминать:

— Как же он любил нас, детей! Бывало, сидим и ждем, когда со смены придет. Он тогда на Заводе Ильича мастером работал. А как во двор зайдет, мчимся к нему наперегонки. Каждому что-нибудь да принесет. Хоть ерунду какую, а купит. Такой добряк был...

Но иногда, по словам мамы, что-то находило на родителя, и добряк дед неожиданно менялся. А все потому, что спиртное ему было совершенно противопоказано.

В семье считалось, что дед пить начал со времен продразверстки. Была такая в те времена политика партии: крестьян обязывали сдавать государству излишки хлеба. Но те почему-то не хотели этого делать. Вот дед с отрядом рабочих и ездил по селам излишки изымать. После рейда с участниками рассчитывались частью отобранных «богатств».

Стал Александр частенько возвращаться домой пьяным. Положит на стол мешочек муки и плачет:

— Чтобы своих накормить — у чужих отнял. И кто я после этого?

Потом уже и продразверстку отменили, и нэп начался, но дед от пагубной привычки так и не отказался.

— А ну пошли все к чертовой матери! — бывало, заорет он на домочадцев, пребывая в таком состоянии.

— Шо с тобой, Саша? — пытается урезонить его жена.

Тот презрительно на нее смотрит:

— Опять вареники лепишь?

— Леплю. Ты ж с творогом любишь.

— Вот где мне твои вареники! — дед подносит ладонь к своему горлу. — Поняла?

Бабушка Мария уже с первого взгляда на него все поняла, но виду не подает:

— Та шо случилось?

Дед обводит мутным взором бедное жилище, сплошь состоящее из железных детских кроваток, и неожиданно бьет кулаком по столу. Вареники подпрыгивают.

— Надоело все! Жизнь эта проклятая надоела. Рвешь, рвешь жилы и ни-че-го... Хватит! Последний раз живым меня видите. Прощайте!

И, громыхнув дверью, выбегает из дома. Бабушка испуганно крестится.

— Мама, папа опять топиться пошел? — спрашивают дети.

— Та нехай идет куда хочет, — как можно спокойнее отвечает им мать.

Встревоженная ребятня выбегает вслед за отцом.

— Пап, ты куда? Идем домой! Ужинать будем...

— Отцепитесь! — огрызается дед и только ускоряет неровный шаг.

Старшие Илья, Тася, Зина и Сергей, стараясь не отстать от родителя, бегут рядом. Младшие Алешка, мама и Аня быстро устают и, поскуливая, словно щенки, плетутся сзади.

Хорошо, что до моря буквально пару кварталов. Нужно только дойти до закрытого в это время базара и с горки спуститься вниз. И вот оно: ласковое, серебристое, вечно

прекрасное Азовское море! Вечером здесь тихо. На пустынном берегу слышно, как хлюпают по воде разношенные отцовские ботинки.

— Папочка, не надо! — несутся ему вслед детские голоса. — Мы тебя любим!

К счастью, море в этих местах неглубокое. Пройдешь метров пятьдесят, а все по колону. Спотыкаясь и падая, дед упорно стремится туда, где почти у самого горизонта устрашающе покачиваются свинцовые волны.

Дети, сбившись в кучку на берегу, с тревогой наблюдают за его продвижением. Вот вода доходит ему до пояса. Вот уже добралась до подмышек. А теперь только голова маячит в волнах. Наконец исчезает и она.

Младшие, Алеша, мама и Аня, пускаются в рев.

— Заткнитесь! — обрывают их старшие.

— Сплавать бы за ним, — задумчиво произносит Зина. — Мало ли что...

Она хоть и третья по старшинству, но в такие минуты к ней обычно прислушиваются. Илья и Сергей начинают раздеваться.

— Шибче-шибче! Шо как варенные? — подключается старшая сестра Тася, не желая уступать Зинке руководство ситуацией.

К счастью, заходить в море мальчикам в этот раз не пришлось. Вскоре фигура отца показалась вновь. Прохладная морская вода сделала свое дело: освежила и отрезвила родителя.

— Ну, и шо вы здесь делаете? — миролюбиво обращается он к своим чадам, выходя из воды.

— Ждем, когда ты накупаешься, — острит Илья и тут же получает от Таси подзатыльник.

Дед виновато себя оглядывает:

— Что ли, я одежду не снял? От дурило...

В мокрой одежде он плюхается на песок. И хотя вода стекает с него ручьями, дети облепливают его со всех сторон:

— Папочка! Родненький!

Малыши лезут целоваться.

— Ах вы, мои золотые! Ангелы вы мои! — растроганно восклицает дед, пытаясь подняться, но снова валится наземь.

Илья и Сергей бросаются на подмогу. Все суетятся, смеются, падают, встают, отряхиваются и вновь приземляются на теплый, еще до конца не остывший от солнца песок.

— Ну шо? Домой? — обретя наконец равновесие, спрашивает родитель.

— Домой! — радостно вторит ему преданная ватага.

Мокрые и возбужденные, они возвращаются.

— Мама, мы папу привели!

Но мать радости не выказывает. Она только что покормила грудью годовалую Валю, и та спит у нее на руках.

— Тише. Не разбудите ребенка, — сердитым шепотом предупреждает родительница и удаляется с малюткой в супружескую спальню.

От кастрюли с варениками по всей кухне исходит аппетитный дух. Переодевшись, все спешат занять свои места за столом. И только мать упорно к ним не выходит.

В таких случаях роль хозяйки переходит к Тасе, которая не хуже матери знает, как распределять еду. В тарелку отца Тася кладет не меньше пятнадцати вареников и пару столовых ложек сметаны. Старшим детям: Илье, себе и Зине — штук по двенадцать и по одной ложке сметаны. Сергею и Алексею уже по десять, и ложка сметаны более скромная, без верха. Когда же наконец очередь доходит до самых младших, делить особенно нечего. По пять вареников и по чайной ложечке сметаны — вот все, что пред-

назначается сестрам-погодкам, маме и Ане. Девочки хоть и расстроены мизерной порцией, но знают по опыту: просить добавки нельзя, в доме строгая экономия.

Тарелки быстро пустеют. Ужин подходит к концу. И вдруг: «Плюх!» Пустые мисочки сестренки чудесным образом снова наполняются варениками. Обе девочки обочиваются. За их спинами стоит улыбающийся отец.

— Папа у нас хороший. Он вареников не любит, — шутит кто-то из старших, и все начинают смеяться.

Историй про деда я от мамы слышала немало. Почему-то они всегда получались забавными. Казалось бы, ну что тут смешного: шел однажды Александр на работу, а его приятель, желая над ним подшутить, с гиком выскочил из-за забора. С перепугу дед огрел его по голове чемоданчиком с тяжелыми инструментами. Шутника еле откатали.

— Как же ты деда своего не помнишь? — вздыхает родительница. — А ведь мы с отцом тебя даже на его похороны брали. Весь Завод Ильича в тот день приходил с ним проститься. Ну, или почти весь. «Душа-человек», — говорили люди. Столько цветов я в своей жизни потом уже никогда не видела.

Глава третья. Путешествие к деду

— Раз уж едете в Мариуполь, то заодно и к моему старику в Харьковскую область загляните, — неожиданно заявил отец, наблюдая, как мы с мамой собираемся на бабушкин юбилей.

— Это зачем? — ахнула мама.

— Обмундирование передайте. Оно хоть и старое, но еще годное. Для деревни сойдет.

— Это ж какой крюк! Посылкой нельзя, что ли, отправить?

— Ничего-ничего. В Москве вас посажу, до Харькова доедете, на автобус пересадите, а там уже Паша вас встретит.

Зная характер супруга, мама активно возражать не стала. Как ни крути, а жили мы тогда на его жалованье. Мамин диплом об окончании Днепропетровского института иностранных языков покоился в недрах прикроватной тумбочки, видимо дожидаясь момента, когда в военном городке вдруг резко понадобится французский язык.

Старшую отцовскую сестру Пашу я уже знала: гостила она как-то у нас в Подмошье. А вот папиного отца не видела никогда.

Звали его Порфирий, и проживал он с Пашей в небольшой деревушке Братеница, что в Харьковской области.

Как и было договорено, отец посадил нас в поезд, дал сестре телеграмму, и мы поехали. Сутки мелькали перед нами за окном купе бесконечные поля кукурузы и подсолнечника. Наконец в Харькове пересели в автобус.

— А вдруг Паша телеграмму не получила? — всю дорогу волновалась мама. — У нас же столько вещей!

Вещей действительно хватало: кроме внушительного чемодана, еще и здоровенный тюк с отцовским обмундированием.

К счастью, Паша уже поджидала нас на автобусной остановке.

По одежде в ней сразу можно было признать женщину деревенскую: темная юбка в сборку, пестрая ситцевая блуза и белый головной платок в малюсенькую крапинку.

— Ох, яка ты гарна! — воскликнула тетка, обнимая меня.

Конечно, я знала, что слово «гарна» означает «красивая». Но что она нашла во мне такого особенного, понять не могла. Две косички из-под белой панамки? Синее шта-

пельное платье, сшитое на вырост? Может, коричневые сандалии из грубой кожи, какие носили без исключения все дети советской страны?

А вот мама действительно была «гарна». Каштановые волосы, стриженные под каре, обрамляли ее миловидное личико. А глаза... Сколько комплиментов порой говорилось при случае в адрес ее прекрасных черных глаз! Кремовое крепдешинное платье, слегка расклешенное от бедер, ладно облегалo точеную фигуру. Черные лаковые туфельки на стройных ножках довершали впечатление.

— Нынче с дедом своим свидишься, — тормозит меня Паша. — Заждался он.

Втроем мы шествуем по тропинке через огромное поле, засаженное подсолнухами. От мысли, что я вот-вот увижу папиного отца, сердце мое замирает.

Внезапно поле кончается, и мы оказываемся у дороги, по обе стороны которой разбросаны белые домики. Это и есть Пашина деревня. Из-за невысоких плетней буйно прут разросшиеся мальвы. Слышно, как в сарайчиках и во дворах кто-то хрюкает, блеет и кудахчет. За домами, насколько хватает глаз, видны бесконечные сады.

Дед, опираясь на палку, поджидал нас у открытой калитки: седенький, щупленький, сторбленный. На плечах — старый, сильно замусоленный отцовский китель, выцветшие брюки — галифе заправлены в сапоги.

— Внученька!

Слегка трясушейся рукой он легонько притягивает меня к себе.

Идущий от деда тяжелый дух резко ударяет мне в нос и заставляет быстренько вернуться из его объятий.

— Вот и дожил я. Приехали дорогие...

Мутные старческие глаза щурятся, беззубый рот улыбается.

— Ну здравствуйте, диду! Как сами?

Голос мамы звучит предельно ласково.

— Та живу потихоньку. Перемогаюсь. Каждый день смертушку зову, а она нейдет.

— Ну зачем же ее звать? Еще трошки поживите. Вот сынок ваш Коля обмундирование вам свое снова передает, — мама кивает на баул, который, кряхтя, заносит в дом Паша. Туда хоть с трудом, но втиснулись все старые отцовские рубахи, кальсоны, брюки и даже китель — словом, все, чем государство время от времени наделяет своих военных.

— Благодарствую! — дед наклоняет седую голову.

— Гости дорогие, проходите в хату! — приглашает Паша, и мы, миновав заставленные ведрами и коробами сени, оказываемся в просторной горнице.

Льняные занавески на окошках мягко пропускают свет. Тут же примостилась швейная машинка «Зингер», а над ней зеркало в позолоченной раме. В правом углу висят иконы. Дальше диван, кровать с горой подушек, пузатый комод, венские стулья и стол, покрытый вышитой скатертью, — вот, пожалуй, и весь немудреный интерьер Пашиного дома.

Но кажется, я пропустила самое главное — огромную, выбеленную известью печь. Центром этой домашней вселенной была она. В ее утробе выпекался хлеб, томились чугуны с едой для людей и скотины. На ее поверхности шипели сковороды, а в теплой трубе коптились колбасы. Дом жил благодаря ей.

— Сидайте! — тетка ловким движением достала из печи дымящийся чугунок, полный очищенной картошки. Поставила на стол. Сдобрила маслом и сверху посыпала растолченным в ступке молодым чесноком. Потом, бросив на разогретую сковороду ломти сала, на наших глазах из целой горы яиц «сотворила яишню».

— Зачем так много? Мы же не съедим все! — попыталась остановить ее мама.

— Завтра куры новые снесут.

Паша невозмутимо продолжила процесс. «Яишню» она так густо обсыпала резаными перьями зеленого лука, что вскоре уже ничего, кроме лука, не было видно на поверхности сковороды.

Постукивая палкой об пол, медленно подошел к столу дед. Одну ногу он явно приволакивал. Мама заботливо пододвинула ему стул:

— Сидайте, диду.

Однако прежде чем сесть, тот повернулся к углу, где, подхваченные накрахмаленными рушниками, висели образа, и неспешно перекрестился. То же самое сделала и Паша, тихо пробормотав при этом коротенькую молитву.

Не зная, как реагировать, вопросительно смотрю на мать. Родительница в ответ сводит брови, давая понять, дескать, ничего делать не надо: просто переждать. Приглядываясь к иконам, начинаю смутно подозревать, что главной в хате является вовсе не печка.

— Паша, вы мережки на занавесках сами делали? — по завершению обеда спрашивает мама, чтобы как-то завязать разговор.

— Сама. А кто ж? — улыбается хозяйка.

— И рушники сами вышивали?

— А як же! Только сначала лен пряли, потом ткали, а потом уж вышивали. От Покрова до Пасхи бабы у нас обычно этим занимались. Рукодельничать я по молодости дуже охоча была! А ныне уже и иглу пальцы не держат, — Паша кивнула на свои корявые, с раздутыми жилами руки.

И, помолчав, добавила:

— А когда-то в приданом у меня тридцать сорочек было. Все сама соткала, сшила и вышила. Правда, пряжу мотать Лиза, сестра младшая, помогала.

— И больше никто? — отваживаюсь наконец и я влезть в разговор.

— Некому было. Мать наша к тому времени уже за нами с того света наблюдала.

— А почему вышивки только красного и черного цвета? У вас что, других ниток не было? — не унимаюсь я.

— Все так вышивали, — улыбается тетка. — И я тож.

Потом Паша показала нам свое хозяйство: чудесных козочек, упитанных свинок, кучу гусей и кур. Не было только коровы, которая до вечера где-то паслась. Особенно мне понравился маленький поросенок, которому мы бросали червивые яблоки. Он их хрумкал, поглядывая на меня малюсенькими глазенками.

Свечерело. В деревне спать ложатся рано. Едва пригнали корову, как дед, попив молока с хлебом, отправился в «клуню»: такой круглый сарай для хранения сена. Там, на домотканом половичке, укрывшись овчинным тулупом, спал он все лето.

А мы в хате устроились: мама на кровати, Паша на диване, а я, к полному моему восторгу, на печке.

— Паша, а не испустать ли нам завтра деда? — осторожно предложила мама.

— Можно, — с готовностью согласилась та.

Бани у Паши не было, поэтому все утро они ходили с ведрами за водой к колодцу, что стоял посреди села, а я с бидончиком бегала рядом.

— Бог в помощь! — приветствовали нас сельчане. — Вы что же, из самой Москвы прибыли?

— Нет. Из Подмосковья, — скромно уточняла мама.

— Ах, вот оно что, — то ли удивлялись, то ли восхищались спросившие.

Воду грели в ведрах на печке, а когда она закипела, тетка принесла из сеней оцинкованное корыто.

— Отойди! — резко остерегла меня мать, переливая кипяток.

Наконец корыто наполнили и позвали деда. Меня же при этом, как ненужную вещь, выставили во двор, где расхаживали и угрожающе шипели гуси.

— Если что — лупи, пока не отстанут, — тетка вручила мне длинную хворостину.

Стоило ей уйти, как гуси, вытянув шеи, пошли в наступление. Бросив «оружие», я трусливо забила в свинарник и простояла там до тех пор, пока меня не обнаружила мама. Деда они уже искупали. Теперь нам оставалось только собрать «на дорогу» вишни. Прихватив эмалированную миску, мы отправились в сад.

Срывая спелые ягоды, слегка возбужденная родительница принялась делиться со мной впечатлениями «банного дня»:

— Бедный дед! До чего же Паша занехаяла старика. Исподнее ему вообще не меняет. Даже не помнит, когда в последний раз мыла. Вода в корыте черная была. Такой воды я еще никогда в жизни не видела. Ну разве ж так можно к человеку относиться!

— Почему она с ним так поступает, мамочка?

— Вот уж не знаю. Неужели трудно пару ведер воды нагреть?

— А давай дедушку к себе заберем! — неожиданно предложила я.

Мама ответить не успела. Перед нами внезапно появилась легкая на помине папина сестра.

— Та бросьте вы эту вишню! — заявила она. — Завтра с утряка я вам сама соберу. Пойдемте лучше у ставка погуляем. Пока там еще комаров нема.

Ставок, куда весной стекали талые воды со всей деревни, притаился в низине за огородами. Он казался чудесным маленьким озером, только прямоугольным. Чем ставок от озера отличается, мама сразу же мне и объяснила:

— Ставки люди роют, а озера природа создает. В озерах со дна чистые ключи бьют, а ставок — это как корыто большое. Где нужно — там его и ставят. Он так и называется: «Ста-вок».

С первого же взгляда было видно, что люди давно не чистили свое большое корыто. Уж очень сильно заросло оно ивами, камышом и осокой. Но как раз именно это и придавало ему неповторимую романтическую прелесть.

— Какая красота! — то и дело восклицала мама, пока мы втроем медленно прогуливались вдоль берега. — Да вы тут просто в раю живете!

— А между прочим, — Паша неожиданно повернулась ко мне, — в этом ставке отец твой однажды чуть Богу душу не отдал.

— Как? — ахнула я, предчувствуя, что сейчас услышу нечто потрясающее.

— Он тогда примерно как ты был, может, чуть старше. Деревенские дети рано взрослеют. Доверили ему коз выпасать. А он недоглядел, заигрался: дите ведь. Как на грех, козы в это время в огород забрели, ну и сожрали все, что там было. Дед как увидел — в ярость пришел. Взял палку, нашел сыночка, и пока об него палку не обломал — не остановился. Зверем он бывал во гневе. Потом приволок измордованного мальчонку за шиворот к ставку, зашел на сходни, где бабы белье полощут, да как швырнет с размаху чуть живого в воду! А сам развернулся и обратно пошел.

Мне вдруг показалось, что все, о чем говорит Паша, прямо сейчас на моих глазах и происходит. В двух шагах от меня был все тот же водоем, те же сходни, где бабы белье полощут...

— Думаешь, он детьми своими дорожил? — продолжила Паша. — Волновался, кто из них выживет? Мать почти каждый год рожала. Сколько нарожала, уж и не помню, а только нам троим: мне, сестре Лизе да отцу твоему — за жизнь уцепиться удалось.

Тетка тяжело вздохнула и замолчала, уйдя в свои невеселые думки.

— Так, что дальше-то случилось? — с тревогой спросила мать.

— На его счастье, соседка в это время в огороде копалась. Видела, как тащил дед мальчугана волоком к ставку. А потом смотрит: идет сосед обратно один. Почуяла не-

доброе. Пока под горку спускалась — пацан еще барахтался. А подбежала — нет его на воде. Она давай нырять, ногами-руками по дну шарить. Зацепила. Вытащила. Привела в чувство. Три дня братик мой у нее на печке чуть живой отлеживался.

— А мать что же? Не хватилась?

— Она к тому времени уже год как померла, — пояснила Паша.

Подавленные жуткой историей, обратный путь от ставка к дому мы проделали молча. И только уже проходя через сад, тетка неожиданно спохватилась:

— Ах, да! Вы же могилку ее еще не видели. Вот она.

Могилкой бабушки оказался небольшой холмик у старой яблони. Он так зарос буйной июльской травой, что изъеденного ржавчиной креста почти не было видно.

— В тридцать лет упокоилась. Царство небесное.

Паша перекрестилась.

— Заболела? — отважилась спросить я.

Паша скорбно покачала головой.

— Это все он. Каждый божий день издевался. Отбил, видать, что-то внутри... Неделю кровью похаркала и померла.

— Какой ужас, — прошептала мама и, с опаской глядя в мою сторону, добавила: — Зачем, Паша, вы все это нам рассказываете?

— А чтобы вы не причитали: «Бедный дед, бедный дед!» И меня напрасно не осуждали, — медленно отчеканила та.

Мы виновато переглянулись, понимая, что все, сказанное под вишнями, тетка слышала. Всё до единого слова.

— Только ради Господа Бога нашего терплю я рядом с собой этого ирода! — почти запричитала папина сестра. — Куском не обделяю. Иной раз так хочется выгнать за ворота, чтобы и духу не было. Но терплю. Пускай живет. На том свете еще ответит за грехи свои. Ох, ответит...

Мы подошли к хате. Дед, причесанный, переодетый во все чистое, сидел на заваulinke. Завидев нас, заулыбался беззубым ртом.

— Внученька, — протянул он в мою сторону руки.

Как ошпаренная проскочила я мимо него и забежала в хату.

— Мама, скоро мы уедем в Мариуполь?

— Скоро, — ответила мать.

На следующий день, когда мы уже сидели в вагоне, все дальше уносящего нас от этих мест, мама вновь поделилась со мной последними новостями.

— Представляешь? — заговорила она шепотом, как будто Паша могла ее здесь услышать. — Перед самым нашим отъездом замечаю: все утро дед что-то ищет. «Что потеряли, диду?» — спрашиваю. Говорит, лекарства свои найти не может. На подоконник в сенях пузырьки положил, а сегодня их там нет. Ну, думаю, старый человек, может, забыл, куда дел.

«А вы ничего не путаете?» — спрашиваю.

А он аж плачет:

«На подоконнике были! Соседка вчера из районной аптеки привезла».

Решила я тогда у твоей тетки спросить, может, она куда переложила. Как только та с дойки вернулась, я к ней:

«Паша, дед все утро убивался, лекарства какие-то искал. Случайно, не знаете, где они?»

«Знаю», — отвечает.

«Где же?»

«В поганой яме. Выбросила я их».

«Зачем? Они же ему нужны!»

Так ты представляешь? Она возмущаться стала:

«Какие ему еще лекарства? Он, шо? Сто лет жить собрался? А вот ему!» — и корявыми пальцами сложила здоровенную фигу.

Увлеченные разговором, мы с матерью даже не заметили, как поезд потихоньку начал сбавлять ход. Замелькали пригороды.

— Сдаем постели, — приоткрыв купе, напомнил проводник. — Следующая станция — Платформа Мариуполь.

Наше путешествие заканчивалось. Хотя если посмотреть повнимательнее, ничего в этой жизни до конца не заканчивается, и уж если началось, то продолжается в нашей памяти, повинувшись мыслям и настроениям.

Что же касается деда Порфирия, то он, как оказалось, и вправду на тот свет не तोпился. До ста лет, конечно, не дотянул, но свою старшую дочь Пашу пережил. Забрала потом его к себе в деревню младшая дочь Лиза. И уже по новому адресу до самой его кончины отправлял мой отец свое обмундирование.

Глава четвертая. Мариупольский двор

Наконец-то мы в Мариуполе! В двух смежных комнатах жэковской коммуналки сейчас живут трое: бабушка, тетя Валечка и ее шестилетний сын Венька. Тетя Валечка — самая младшая, ни на кого не похожая мамина сестра. На целых шесть лет моложе мамы. Бабушка родила ее в том возрасте, когда женщины детей обычно уже не ждут. И вдруг: на тебе! Прямо на годовщину смерти Ленина появилась.

Оглядывая скромное Валечкино жилище, невольно удивляюсь:

— Как же вы здесь все когда-то помещались? Семья из десяти человек!

— Сама понять не могу, — усмехается в ответ тетка.

И тут же добавляет:

— Раньше у нас, кроме этих двух смежных, еще кое-какое жилье имелось. Это потом, когда старшие дети разъехались, ЖЭК уплотнил нас: комнату справа, что в общий коридор выходит, отобрал. Хорошая комната была. Светлая. В ней до войны старший брат Илья с женой жил. Ты ведь знаешь, что он в сорок четвертом в Крыму погиб? Мать небось рассказывала?

— Рассказывала, — подтверждаю я.

— Так вот, — продолжает тетка. — Жил он с нами, пока в шишки комсомольские не выбился. А как выбился и получил на левом берегу квартиру, так ЖЭК эту комнату у нас и оттяпал.

Валечка на минуту смолкает, припоминая все нюансы прожитой в этих стенах жизни.

Мы сидим за большим дубовым столом, где в иные времена умещалось все дедово семейство. Раньше много места на кухне занимала голландская печь, но недавно провели водяное отопление и печь снесли. Стало гораздо просторнее: диван, буфет, холодильник и даже кресло-кровать — все поместилось. Теперь ни дров, ни угля запасать не надо, а для готовки у Валечки керогаз и электроплитка имеются. Правда, ими она только зимой пользуется. Летом жильцы дома обходятся «летними кухнями», что устраивают в своих палисадниках.

Между тем руки наши заняты делом: крошат ножом баклажаны, перцы и морковь, отправляя свежие ломтики в большой эмалированный таз. Не беда, что кусочки разными получаются — на сковороде сравняются. Главное, чтобы овощное рагу как следует утушилось. Ведь сегодня бабушкин юбилей. Гостей ожидается много.

Виновница торжества пока еще спит в смежной комнате, поэтому мы стараемся говорить, как можно тише.

По радио опять обещают жару. Тетка распахивает окно, запуская в помещение пока еще прохладный утренний ветерок. Из окна виден почти весь наш мариупольский двор: домишки с марлевыми занавесками на дверях, красные герани в окнах, летние кухни в палисадниках, сарай и водяная колонка посреди двора.

Словно огромное птичье гнездо, двор одним краем прилепился к ограде медицинского техникума, а другим, описав полукруг, приткнулся к задворкам Музея краеведения. Оба здания — трехэтажные красавцы, построенные еще в начале двадцатого столетия. Оба чинно стоят вдоль улицы Первого Мая, а небольшое пространство между ними как раз и служит входом в бабушкин двор.

— Была еще одна комната, — продолжает тетка, вновь подключаясь к работе. — Смежная с той, где сейчас бабушка спит. Подними ковер за ее кроватью — увидишь заложенную кирпичом дверь. Отец, когда Зинка замуж вышла и Клавочку родила, эту комнату молодым отдал и даже ордер умудрился переписать. Комната, конечно, не ахти была: одно окно в соседний двор смотрит, а там сарай свет загораживает, второе, правда, в наш двор выходит, тут хоть солнышко есть.

— А мама мне говорила, что тетя Зина в Сухуми живет, — осторожно напоминаю я.

— Это она сейчас в Сухуми. Со вторым мужем. А первого еще до войны посадили. Мальчонка из подворотни выскочил, а он грузовик затормозить не успел. Ты тоже гляди в оба, когда со двора выходишь. Поняла?

— Поняла, — с готовностью заверяю я тетку.

— Меньше двадцати за такое не давали. Одной пришлось Зинке дочку поднимать. После отсидки он так в Магадане и остался. А с Мишкой-греком она в Сухум сорвалась, когда уже Клавочка подросла. Мишка, конечно, тот еще гусь, — Валя таинственно понизила голос. — От женки своей греческой и семерых детишек удочки смотал. Представляешь?

— Представляю, — подтверждаю не совсем уверенно.

— И все бы ничего, — продолжает рассказчица, — только сыновья, когда подросли, разыскали его и приехали в Сухуми морду бить.

Тут она неожиданно делает длинную паузу.

— И что? Набили? — не выдерживаю я.

— Да, уделали бы, как Бог черепаху! Если бы не Зинка. Это тот еще дипломат. Вышла к ним на переговоры и что уж наплела, не знаю. Только после этого Мишкины дети свои обиды выпячивать раздумали и с тех пор каждое лето к ним на Черное море отдыхать приезжают. С детьми и с женами. Иной раз столько понаедет, что раскладушки во дворе ставят.

Валечка слегка переводит дух и продолжает уже сочувственно:

— А первый-то муженек у нее поприличней был. Такой рукастый! Окно, выходящее в наш двор, переделал в дверь. Отдельное жилье получилось. Не жилье, а хоромы! Да еще светлую спальню и прихожую пристроил. Слава богу, что хоть Клавочке с мужем и детишками досталось.

— А заборчик вокруг палисадников, тоже он?

— И заборчик, и две калитки рядом: к ним и к нам. До сих пор пользуемся.

За неспешным разговором тазик наш постепенно наполняется резаными овощами. Тетка их щедро солит и накрывает крышкой.

— Нехай полежат чуток, чтобы сок дали. Потом горечь сольем и в готовку.

Закончив с овощами, она на цыпочках подходит к бабушкиной спальне. Стараясь не скрипнуть, приоткрывает двустворчатые двери и, убедившись, что старушка все еще почивает, осторожно смыкает обратно.

— Только бы бабушку сегодня не сглазить! Только бы не сглазить! — не то заклинает, не то умоляет она невидимые силы.

И вдруг спохватывается:

— Ой! Идем уже печку растапливать...Пора.

Валечка уходит во двор, а я, оставшись на минутку одна, конечно, не могу отказать себе в удовольствии, чтобы тоже не заглянуть к бабушке.

Старушка спит. Ее почти не видно под одеялом. Только беленький платочек да выбившаяся из-под него прядка седых волос намекают на ее присутствие.

Эту комнату называют «темной». Солнца в ней почти не бывает. А все потому, что уже упомянутый длинный сарай соседнего двора загораживает окна, выходящие на эту сторону дома. Валечка сарай ненавидит и давно мечтает сломать. Но кто ж ей такое позволит? Зато если вылезти из окна «темной» комнаты и обойти сарай, то сразу окажешься в чужом дворе с выходом на параллельную улицу, которая называется Апатова.

Как же мне всегда хотелось проделать такой фокус! Выйти на Апатова через окно. Но увы: покойный дед, опасаясь воров, наглухо заколотил рамы.

Однако сегодня я об этом даже не думаю. Мысли мои занимает только бабушкин юбилей. Не мешкая больше ни минуты, выбегаю в наш палисадник, откуда уже доносится сердитый теткин голос.

— Ах ты, зараза! Ах ты ж, гадина!

Это она печке, которая нагло чадит ей в лицо. Морщась от дыма, Валечка то открывает, то закрывает дверцу поддувала, яростно вороша совком плохо разгорающиеся поленья.

В те времена в Мариуполе почти каждая женщина умела не только растопить, но, если надо, и сложить летнюю печь. Дело это считалось нехитрое. Нужны только красные кирпичи, глина и кое-какие металлические штуковины: конфорки, колосники, дверцы и труба. Самое главное — правильно выложить над топкой так называемую «грубу», чтобы дым сразу в трубу попадал. Наконец дрова в печке разгораются, и дым идет куда надо.

— Что-то их долго нет, — отвлекаясь от хлопот, замечает тетка.

— Кого?

— Да Клавошки с выводком ее. С ранья на детскую площадку у театра гулять отравились и Веньку с собой прихватили. Сколько ж можно на качелях раскатываться?

— А меня почему не взяли?

— Ты спала еще, — слышу уклончивый ответ.

— А почему не разбудили?

— Это ты у своей матери спрашивай, — нехотя поясняет тетка. — Мне велено тебя дальше палисадника не пускать. Вот придет с базара, с ней и разбирайся.

Ах, мама! Никому-то она меня не доверяет. Это потому, что слишком поздно меня родила. Понять ее, конечно, можно, но все равно обидно: Венька на целый год меня младше, а его тетя Валечка везде отпускает. Может даже в Сухуми одного к сестре Зине в самолете отправить. И ничего. Стюардесса присмотрит, Зина в аэропорту встретит. Мама говорит, что пока Венька в Черном море бултыхается, Валя свою личную жизнь устраивает. Но то ли лето слишком короткое, то ли еще что, но личная Валечкина жизнь почему-то все никак не устроится. А значит, на следующий год Венька опять на все лето полетит в Сухуми. Вот счастливый...

— Идут! Идут! — спешу я обрадовать мамину сестру, заметив в проеме между музеем и техникумом худенькую фигурку ее белобрысого сына.

И вот уже Венька несется к нам напрямик через весь огромный двор, оставляя позади прихрамывающую Клавошку и ее мужа. Те не торопятся; идут по протоптанному до-

рожкам мимо чужих палисадников. На руках у Жени годовалый Сережка. Рядом старательно семенит ножонками трехлетняя Ленка.

Валечка выходит навстречу.

— Ах вы, куклята армянские! — попеременно тискает она малышей. — Нагулялись?

— Еще как нагулялись! — отвечает за них Клавочкин муж Женя.

«Армянскими» тетка называет детей, потому что Женя армянин, а «куклятами», потому что хороши необыкновенно.

— А мы мороженое покупали! — хвастается передо мной Венька.

— Ну и что? Мне мама тоже сегодня купит, — парирую в ответ, хотя знаю: боясь ангины, мама никогда не покупает мне мороженого.

— Идемте с нами вкусную кашку есть, — с улыбкой предлагает нам обоим Клавочка.

Мне неохота, а Венька соглашается и бежит за ними в те самые «Зинкины хоромы», о которых тетка только что рассказывала.

— Ты уж его там займи со своими, — просит ее Валечка, — а то он нам здесь покоя не даст.

Клавочка прихрамывает с самого детства. В четыре годика, по словам мамы, у малышки туберкулез кости начался. Врачи сказали: затормозить процесс может только усиленное питание. А тут, как назло, война началась. Оккупация. В городе хозяйничают фашисты. Какое уж тут усиленное питание...

Однако Зина рук не опустила. Даже деда ослушалась, который строго-настрого запретил дочерям работать при немцах. Устроилась сортировщицей на почту: посылки на конвейере по ячейкам рассовывать. Бывало, сортирует-сортирует, а как приметит совсем малюсенькую — хват! И за пазуху...

В бандерольках, присланных из Германии, иногда оказывалось такое, что советские женщины даже в мирное время не видывали. Например, тонкое кружевное нижнее белье. А уж модными капроновыми чулками со стрелками редкий день Зина не «отovarивалась». На рынке их можно было выменять на любой продукт.

Немцы, конечно, периодически меняли персонал. Уволили в конце концов и Зину. Она не растерялась: устроилась посудомойкой в немецкую столовую. Но вскоре и оттуда вылетела, когда в мусорном пакете обнаружили припрятанные вареные яйца. Удивительно, но ей опять удалось куда-то встать. Так «бесшабашная Зинка», как окрестили ее в семье, и крутилась почти все два года оккупации.

К чему мне вдруг вспомнилась эта история — сама не знаю. Наверное, потому, что за Клавочку родственники всегда переживали: кто хромоножку замуж возьмет? Зря, оказалось, переживали.

— Когда же мама с базара придет? — с тоской в голосе вопрошаю я Валечку.

— Вот как картошка сварится, так и придет, — отделяется та шуткой, водружая на плиту чугунный казан.

— Тогда дальше рассказывайте!

— О чем?

— В комнату, которую у вас ЖЭК отобрал, кого поселили? — напоминаю ей прерванный разговор.

— Серьезную одну женщину, — неохотно отзывается Валечка. — Партийную. Завучем работала в техникуме.

— А где она сейчас? — не унимаюсь я.

Ответ получаю не сразу. Видимо, для этой темы моей собеседнице требуется настрой.

— Погибла Ольга Тимофеевна, — со вздохом выдавливает из себя Валя. — Немцы как пришли, в первые же дни всех членов партии ликвидировали.

— А как они поняли, кто член, кто не член?

— Говорят, списки в горкоме нашли. А может, подсказал кто.

Валечка многозначительно вздыхает:

— Людям в душу не заглянешь...

— А пришли немцы как? — спрашиваю с замиранием сердца.

— Да так и пришли, — вздыхает тетка. — Говорят, в тот день на окраине города какая-то стрельба шла, но у нас в центре ее и не слышно было. Утром, как всегда, выходим со двора и глазам не верим: едут по нашей улице фашисты на мотоциклах! Целая колонна движется. Рослые, справные, формы темно-зеленые, на касках очки. Восседают на мотоциклах по двое: один за рулем, другой в коляске с пулеметом. Так и кажется: сейчас как пухнут по нам... Что тут началось! Люди работу побросали, милиция разбежалась. Магазины открытыми стоят: заходи — бери что хошь: никому до тебя дела нет. Смотрю, соседи наши справа уже рулон шерсти из магазина «Ткани», что на углу, тащат, а продуктами в гастрономах только ленивый не запасался. А нам отец запретил. Сидите, сказал, и не рыпайтесь, а то когда наши вернутся, проблем не обещаясь. В том, что наши придут, он даже не сомневался.

Валечка на секунду смолкла и жалостливо продолжила:

— Говорят, в горкоме партии как раз заседание шло. Решали, как нас эвакуировать будут. Так им, беднягам, даже удрать не удалось. Всех прямо на ступеньках горкома немцы из автоматов и постреляли.

— А дальше что?

— Дальше? Ближе к вечеру фрицы в наш двор заходить стали. На постой определяться. С жильцами не церемонились, забирали себе лучшие помещения. В основном солдаты. Офицеры тоже, наверно, были, я в их нашивках не разбираюсь, скажу только, что к Зинке в пристройку один такой заселился. Пожилой, лысоватый. Светлую спальню занял, а Зина с больной дочкой в темную перешли, где проклятый сарай свет загораживает. Господи! Доживу я до времени, когда его снесут?

— А как его звали?

— Пауль. Между прочим, нам с этим немцем еще повезло. У других постояльцы страшнее оказались. А этот особых хлопот не доставлял. Вежливый. Утром попросит бабушку сварить кофе, а вечером приемничек свой, похожий на чемодан, слушает или письма пишет. А как выяснил, что все мы одна семья и что мать твоя французский знает и по-немецки шпрехает, заулыбался, фотки семейные показывать стал.

— А к вам с бабушкой кто-нибудь заселился?

— К нам, слава богу, ни один не сунулся. Фрицы было заглянули, но как увидели, что в тесной кухне да в полутемной комнате шесть человек ютится, хохотнули и дверь закрыли.

— Ты же говорила, у вас все поразъехались.

— Все, да не все. Илья и Сергей, конечно, уже на фронте были. Тася с мужем в Средней Азии, Аня с дочками в коммуналке, что от Завода Ильича успела получить. Нас здесь трое оставалось: отец, мать да я, вчерашняя десятиклассница, недавно выпускной отгулявшая. Да, как на грех, незадолго до оккупации к нам Алешка с женой прикатили из Минска. Вот тебе уже пятеро.

— Меня не забудь, — раздался у калитки веселый мамин голос. — Помнишь, как я примчалась за три дня до прихода немцев?

Мама, обвешанная кошелками и сетками, была явно довольна походом на базар. Мы бросились ее разгружать, ставя на лавочку принесенные продукты.

— Да уж, тебя забудешь, — насмешливо вторит ей сестра и, повернувшись в мою сторону, добавляет: — Представляешь? Мы ужинаем, а она влетает и прямо с порога: «Вы шо сидите? Немцы вот-вот в Мариуполе будут! Тикать же надо!»

— Так я ж от Днепропетровска под бомбами на попутках добиралась! А они тут, понимаешь, чаи гоняют, — театрально возмущается мама.

Почему она в Днепропетровске оказалась — отдельная история. Возможно, сыграли роль те французские книги, что когда-то управляющий в Аджахах бросил. Уж очень в детстве хотелось ей их прочитать. А может, просто совпадение. Только поступила она после школы в Днепропетровский институт иностранных языков, именно на французское отделение.

Начало войны совпало у пятикурсников с госэкзаменами. Артналеты пережидали в подвале института, а получив дипломы, торопились разехаться.

И только мама продолжала сидеть в опустевшем общежитии. Уехать, не дождав-шись ответа на письмо, посланное товарищу Сталину, она не могла. А вместе с ней в томительном ожидании застыли в своих кабинетах парторг института и комендант общежития.

Когда спустя годы она рассказала эту историю моему отцу, тот отреагировал по-своему:

— Представляю, какими матюгами крыли тебя меж собой эти начальники! Фашист вот-вот город займет, а тут какая-то чудачка на самый верх пишет. Сиди теперь возле нее и ответа жди.

Не верил он и в то, что мамино письмо дошло до адресата.

— Подпись на ответе чья стояла? — прокурорским голосом вопрошал он супругу.

— Ворошилова — честно сознавалась мать.

— Ну вот. Не читал, значит, генералиссимус твое послание.

— Быть такого не может! Без его ведома никто...

Не дослушав, отец уморительно пародирует грузинский акцент:

— Товарищи генералы, отвлекитесь от карты военных действий, пожалуйста. Тут мне одна студентка пишет: «Возьмите меня, товарищ Сталин, в авиационный полк. Пилотом-стрелком. С какой стороны оружие стреляет — знаю. С парашютом прыгала. Правда, один разок, и то с вышки. Как думаете, товарищи? Может, взять?»

— Не смешно, — обиженно заявляет мать. — Я, между прочим, четыре года в ОСОВИАХИМе занималась. Матчасть самолета назубок знала, а на соревнованиях по стрельбе первые места в институте занимала.

Отец не унимается:

— Ах, бедняжка! На фронт она не попала. Да тебе, может, повезло, дурочка...

— Это почему? — с вызовом вопрошает жена.

Отец делает паузу, видимо, раздумывая, как бы помягче ответить, и наконец нехотя добавляет:

— С вашим братом там не особенно церемонились.

— Циник! — вскипает мать.

Супруг не отвечает. Разговор обрывается.

Жаль, конечно, что из Кремля пришел маме отрицательный ответ. Не требовались на тот момент женщины в авиации. Это потом, когда Красная армия побеждать научит-ся, женская эскадрилья на Берлин полетит. Будут еще и Расковы и Гризодубовы. Но до этого нужно было еще дожить... как в прямом, так и в переносном смысле.

— Надо Женю попросить стол во двор вынести, — озабоченно замечает мама. — Пора уже. Давайте, девочки, чтоб всем хватило, из фарша котлеты наделаем.

— Чтоб всем хватило, лучше фрикадельки, — хихикает Валечка, ловко добавляя в сковороду нарезанные овощи.

— А помнишь, — говорит она сестре, — как тебя Ольга Тимофеевна быстро в чув-ство привела?

— Еще бы! Она как голос мой услышала сразу тут как тут: «Мария, вы, что себе позволяете? Вы же образованный человек! Когда потребуется — всех эвакуируют. Вы нам тут панику не сейте. Хотите, чтоб вас забрали куда следует? Нет? Тогда успокойтесь».

Все это мама произносит, подражая голосу покойной соседки, но потом тихо добавляет:

— А ведь еще можно было на поезде уехать...

Много лет спустя попалась мне случайно в Интернете информация об этих событиях. В ней сообщалось: «Эвакуация проходила не так гладко, как писали в советское время. Например, на Мариупольском заводе имени Ильича, где делали броню для „тридцать четверок“, когда немцы вошли в город, не успели даже погасить плавильные печи».

— Пойду посмотрю, не проснулась ли наша юбилярша, — с этими словами мама на цыпочках уходит в дом.

— Только бы не сглазить! Только бы сегодня бабушку не сглазить, — как молитву повторяет ей вслед тетя Валечка.

Глава пятая. Ее звали Рита

С расстрелом коммунистов испытания в жизни мариупольцев не закончились. О том, что произошло дальше, могу судить по рассказам близких, сохранившихся в моей детской памяти.

С первых же дней оккупации фашисты установили комендантский час. Люди боялись где-нибудь задержаться: страшные слухи ходили про гестапо. Неработающие должны были регистрироваться на «Бирже труда» и выходить на так называемый «общественный труд».

Осень сорок первого выдалась холодной и дождливой. Многим жителям приходилось ездить «на отработку» за город к сельхозпредприятию, называемому «Агробазой», копать в чистом поле огромный многокилометровый ров. Никто не знал, зачем он понадобился, но тревожные предчувствия не покидали людей.

Наступил день, когда от имени новой власти всем евреям Мариуполя было приказано явиться на сборный пункт якобы для переселения в компактное место проживания. И они явились. Их были тысячи. Многие думали, что фашисты их действительно куда-то переселят. Однако вскоре по городу молниеносно пронеслось: «Евреев расстреливают на „Агробазе“ у тех самых ровов».

Страшная тишина опустилась на Мариуполь. Казалось, город лишился речи. Люди в ужасе забились по домам, боясь выйти. Мама говорила, что такой жуткой гнетущей тишины она потом уже никогда в своей жизни не испытывала.

А вскоре после этих трагических событий к ним неожиданно приперся солдат, что квартировал в крайнем доме у входа во двор.

— Чего тебе Курт? — спросил дед.

Немец достал из мешка неошипанную курицу и положил на стол.

— Бабка! Шарь! — приказным тоном обратился он к бабушке. — Всем евреям капут. Я и друзья, вечером праздник. Шарь!

Курицу, судя по всему, подонки с «Агробазы» и приволок, где в предыдущие дни с утра до вечера шли расстрелы.

— А шоб ты сказивься, — тихо пробормотала бабушка, понимая, что отказ плохо для семьи кончится.

И пришлось ей готовить эту проклятую курицу в продолговатой чугунной посудине, называемой в семье «утятницей».

День незаметно подходил к концу. На Мариуполь спустились сумерки. Подошли Зина с Клавочкой. Всей семьей сели ужинать.

— Когда раздался стук в дверь, — вспоминала мама, — мы подумали, что это Курт вернулся за своей курицей.

Но это был не он. На пороге стояла одноклассница Валечки, семнадцатилетняя Рита, девушка из еврейской семьи. Вид у нее был вполне приличный: аккуратно причесана, в осеннем костюмчике, в руках сумочка.

— Мария Яковлевна, к вам можно?

— О, Господи! — всплеснула руками бабушка. — Заходи скорее.

Оказавшись на кухне, Рита затравленно огляделась:

— У вас тут немцев нет?

— Слава богу, нема. Да ты присядь, поужинай с нами.

— Спасибо! — Рита опустилась на придвинутый табурет. — Добрые люди меня уже накормили и, как видите, одежи не пожалели. Может, и вы поможете? Мне ночевать негде... Всех моих расстреляли...

Закрыв лицо руками, девушка скорбно опустила голову.

— Мы уже все знаем. Ох, ироды проклятые! — прошептала бабушка. — А как же тебе, милая, сохраниться-то удалось?

То, что поведала Валечкина одноклассница, было настолько жутко, что почти не укладывалось в сознании.

Глотая слезы, рассказала она, как фашисты привезли их на «Агробазу», закрыли в сарае, приказали раздеться донага, а потом, выпуская группами, под дулами автоматов заставили идти по краю огромного рва. Трещали автоматные очереди, и люди падали. Чудом удалось Рите прыгнуть в страшный ров, полный трупов, раньше, чем над ней просвистели пули.

До глубокой ночи, не шевелясь, слыша вокруг себя хрипы смертельно раненных, пролежала она там. Наконец кое-как выбралась и, прячась по кустам, побрела вдоль дороги. Дошла до какого-то хутора, постучалась в дом. Дверь не открыли, но из окна протянули ветхую робу и кусок хлеба. День пересидела в чьем-то сарае, а ночью продолжила свой путь.

Наконец добралась до Мариуполя. Но к кому обратиться за помощью? На стенах домов висели объявления: «За укрывательство евреев — расстрел».

Рита на минуту смолкла и, раскрыв сумочку, вытащила какие-то бумаги.

— Вот, — сказала она. — у меня теперь документ есть. По нему я гречанка.

Как оказалось, Рита отважилась постучаться к знакомым грекам. И те помогли: накормили, переодели в приличную одежду. Но главное, одна женщина, дочь которой успела уехать из Мариуполя до оккупации, отдала ей не то свидетельство о рождении, не то какую-то справку с печатью, удостоверяющую личность. Возрастом девушки немалого отличались друг от друга.

Однако ночевать у греков было опасно: к вечеру дом наполнялся возвращавшимися со службы фашистами. Рита снова оказалась на улице. Замирая от страха, бродила она по переулкам. Приближался комендантский час. Тут и вспомнилась ей одноклассница, семья которой ее хорошо знала.

— Успокойся, милая, — бабушка Мария обняла девушку. — Тебе надо отдохнуть. Пойду постелю тебе в спальне.

Но не успела она удалиться, как у входной двери раздался настойчивый стук.

— Это Курт! — ахнула Валечка.

Жуткая история Риты заставила присутствующих на время забыть о его существовании. Теперь он о себе напомнил. Все моментально вскочили и, не сговарива-

ясь, бросились в «темную» комнату, плотно затворив за собой двустворчатые двери. В кухне остались только родители и мама.

Дедушка повернул ключ входной двери, пропуская немца.

— Гутен абенд! — нарочито громко произнес тот, вваливаясь на кухню.

Курт был явно навеселе: шинель нараспашку, на щеках румянец, глаза блестят.

— Ты все хорошеешь, — отвесил он маме комплимент.

— Твоя курица готова, — ответила та. — Забирай.

Немец подошел к печке, поднял крышку «утятницы» и недовольно заявил:

— Подогреть!

И пока бабушка хлопотала, вороша тлеющие поленья, стал прохаживаться по кухне. То ли еда на столе, явно брошенная впопыхах, озадачила его, то ли капризный голосок Клавочки, раздавшийся из спальни, но он вдруг остановился перед закрытой дверью и пнул ее ногой. Сворки распахнулись, и перед ним предстала вся компания: Зина с Клавочкой, Алеша с женой, Валечка и Рита.

— О, да у вас гости! — игриво заявил он, уставившись на Риту, так как лица остальных были ему знакомы.

— Ты прав, — невозмутимо подтвердила вошедшая за ним мама. — у нас в гостях Валина одноклассница.

Стараясь не выдать волнения, Рита натянуто улыбнулась. Шустрый Алешка снял со стены гитару и, взяв несколько аккордов, всем видом дал немцу понять, мол, мы тут развлекаемся: чего тебе надо?

Однако тот продолжал стоять, внимательно разглядывая девушку.

— Юден? — наконец с удивлением произнес он.

Рита побледнела.

— Ты ошибся, — урезонила его мама. — Она гречанка.

— Нет, — уверенно проговорил тот. — Еврейка.

— Тебе что? Документ показать? Так он у нее есть.

— Мне не нужен документ. Я евреев за километр узнаю.

В этот момент, держа в руках обернутую в полотенце «утятницу», в спальню влетела бабушка и громко запричитала:

— Да уйдешь ты когда-нибудь со своей курицей или нет! Дашь нам спокойно поужинать?

Страх придал ей смелости. Она буквально насильно впихнула в руки Курта горячее блюдо. Немец вынужден был перехватить чугунные ручки. Теперь, стоя посреди комнаты с тяжелой посудой в руках, чей жар уже начинал чувствоваться через полотенце, он выглядел довольно глупо. Возможно, осознав это, Курт внезапно развернулся и, ни слова не говоря, быстрым шагом покинул помещение.

— Слава богу, ушел! — перекрестилась бабушка.

— Он сейчас вернется, — с ужасом проговорила мама.

Нужно было срочно что-то предпринять. Курт, живя в крайнем доме, конечно, перехватил бы девушку, если бы та попыталась выйти со двора.

— Ведите ее ко мне! — скомандовала Зина и, подхватив на руки Клавочку, побежала отворять свою пристройку.

Вскоре мама и Рита уже стояли в Зинкиной прихожей. Пауль был дома. Из-под двери его комнаты пробивался свет. Мама тихонько постучала:

— Гер Пауль, можно вас на минутку?

— О, Мария! Рад тебя видеть. Как поживаешь? — с улыбкой отозвался тот, выйдя в прихожую.

— Спасибо. Хорошо. Но у нас к вам есть небольшая просьба...

— Какая?

— К сестре пришла знакомая, мы заболтались и не заметили, что скоро комендантский час. Наша подруга может не успеть добраться до дома. Позвольте ей переночевать в Зининой комнате. Они постараются ничем вас не беспокоить.

Немец мельком глянул на скромно стоящую у уголке Риту.

— Пусть ночует. Я разрешаю, — добродушно согласился он и скрылся за дверью.

Оставив Риту у Зины, мама бросилась назад. Хорошо, что калитки палисадников были рядом. Буквально через пару минут в бабушкину дверь уже колотил пьяный Курт.

— Где юден? — заорал он, едва переступив порог.

Вид у него был грозный.

— Евреев у нас нет, — спокойно ответила мама.

— Но она только что была здесь!

— Здесь была наша подруга гречанка. Она ушла домой.

— Ты врешь, — заявил немец. — Я следил: никто из двора не выходил. Она где-то прячется...

Не обращая внимание на встревоженных домочадцев, он вбежал в «темную» комнату и распахнул платяной шкаф. Там никого не оказалось. Под кроватями тоже было пусто.

— Ты ж курицу свою уже получил, — развела руками бабушка. — Шо тебе еще от нас надо?

Вместо ответа Курт вытащил из кармана круглую жестяную коробочку из-под монпансье и аккуратно ее открыл. Вместо леденцов коробочка была набита золотыми серьгами и кольцами. Драгоценные камни ярко заблестели в электрическом свете.

— Вот. Это все юден, — торжествующе провозгласил он, демонстрируя свои сокровища. — У кого-нибудь из вас есть такие белые камешки? Нет? А у них есть! Они вас рабами сделали, а вы их спасаете... Кретины.

Негодующим взглядом Курт обвел присутствующих. Все молча ждали, когда он наконец уберется.

— А! Понял, — неожиданно воскликнул немец, пряча коробку в карман. — Как же я сразу не догадался? Она в пристройке... У офицера.

С этими словами Курт выскочил из дома. Мама и Валечка, в попытке хоть как-то его задержать, бросились за ним. Но тот, быстро миновав палисадник, уже колотил в дверь Зининой пристройки.

— Кто там? — послышался испуганный голос хозяйки.

— Открой немедленно! — потребовал немец.

Зина через цепочку слегка приотворила дверь.

— У нас все спят... чего тебе нужно?

Не отвечая, Курт что есть силы рванул ручку на себя. Звенья цепочки разлетелись в разные стороны. Оттеснив перепуганную Зину, солдат мгновенно оказался в тесной прихожей. Теперь перед ним было две двери: первая в светлую спальню, где жил Пауль, вторая в «темную», где пряталась Рита. Немец распахнул первую и перед ним предстал полураздетый Пауль, готовящийся ко сну.

— Как ты смеешь! — заорал Пауль. — Кто позволил тебе войти?

— Простите, господин офицер, — смешался Курт, — я не хотел, но ситуация...

Нужно заметить, что в немецкой армии существовала строгая субординация: солдат не имел право без разрешения войти в помещение, где жил офицер.

— Вон! — снова зарычал Пауль, надевая китель.

— Извините, господин офицер, но здесь прячут еврейку, — оправдывался Курт, пятясь обратно в прихожую, где уже стояли подоспевшие мама с сестрой.

— Гер Пауль, он пьяный, пристаёт к нам, мы не знаем, что делать! — со слезами в голосе взволнованно проговорила мама.

— Это они, — Курт кивком показал на вошедших, — они ее здесь спрятали. Я хотел найти...

— Молчать! — скомандовал Пауль.

Солдат осекся на полуслове.

— Смирно!

Курт вытянулся в струну, опустив руки по швам.

— Кругом!

Описав полукруг, тот повернулся лицом к выходу.

И наконец Пауль отдал последний приказ:

— Шагом марш!

После чего солдат Курт тотчас покинул помещение и, чеканя шаг, прошествовал по палисаднику до самой калитки. Когда дверь за ним наконец закрылась, Пауль быстро сказал маме по-французски:

— Чтоб к утру ее здесь не было...

И скрылся в своей комнате.

— Он, конечно, все понял, — вспоминала потом мама. — Но сделал вид, что настолько возмущен несоблюдением солдатом установленных правил, что ни о чем больше слышать не хочет. Дал нам время найти выход из ситуации.

И такой выход и в прямом, и в переносном смысле действительно нашелся. Как ни странно, но именно распроклятый сарай соседнего двора, загораживающий окна, неожиданно оказался кстати. Ведь если вылезти из окна, то за его стеной можно незаметно переждать окончание комендантского часа, а утром выйти с чужого двора на параллельную улицу.

Это они и сделали. Мама с Валечкой вернулись обратно в дом. Дед с Алешкой, стараясь не шуметь, вытащили гвозди из заколоченной рамы в своей «темной» комнате и, открыв окно, вылезли наружу. Прошли несколько метров вдоль дома и подошли к окну «темной» комнаты Зины. Открывать не стали, лишь аккуратно вынули стекла из рамы. Худенькая Рита протиснулась в пустой переплет и тоже оказалась за сараем.

Оставалось дожидаться утра. Конечно, в доме никто не спал.

Наконец рассвело. Комендантский час кончился. Первым из чужого двора на параллельную улицу вышел Алешка. Удостоверившись, что опасности нет, подал знак остальным. Рита под руку с дедом прошествовали следом. Так втроем, все дальше удаляясь от дома, пошли они по извилистым улочкам Мариуполя.

Время шло, а дед с Алексеем не возвращались. Чего только не передумали домашние! Неужели в гестапо попали? Но нет, оказалось, что вместе дошли они почти до самого вокзала. А там уже толпился народ, люди приезжали, уезжали, можно было затеряться в толпе. На этом месте они расстались.

Что произошло потом? Удалось ли Рите спастись? О дальнейшей судьбе Валечкиной одноклассницы мои родственники больше ничего не знали. Бабушка, правда, уверяла, что если Господь однажды спас девушку, то и дальше будет о ней заботиться. Верить в это хотелось всем.

Через много лет, вспоминая этот случай, я неожиданно натолкнулась в Интернете на статью «История гибели евреев Мариуполя», размещенную на сайте Stengazeta.net. В ней рассказывалось не только об ужасах массового расстрела мариупольских евреев в октябре 1941 года, но и о тех, кому чудом удалось остаться в живых.

И среди них есть упоминание о семнадцатилетней Рите Темник, которая буквально спаслась из уже присыпанного землей захоронения. Впоследствии, выдавая себя

за гречанку, Рите удалось сесть в поезд, увозивший людей на работу в Германию. Там она и находилась до прихода Красной армии, а после Победы вернулась в Мариуполь. Сведения о ней теряются в сорок седьмом году.

Была ли это та сама Рита, о которой рассказывали мне родные? Очень многое совпадает. Однако уточнить фамилию, к сожалению, не у кого. Все участники этой истории уже давно в мире ином.

Глава шестая. Не сглазьте бабушку!

— А вот и я! — на пороге дома, отодвинув марлевую занавеску, появляется бабушка.

Издали ее можно спутать с десятилетней девочкой: маленькая, худенькая, в пестром фланелевом халатике и белой косыночкой на голове. И хотя вблизи становятся заметны глубокие морщины на лице, весь облик старушки излучает детскую непосредственность.

— Мапочка, дорогая, это мы тебя своим шумом разбудили? — обнимает ее тетя Валечка.

— Та я уже давно проснулась. Дай, думаю, послушаю, шо они там за войну балакают.

— Кушать будешь?

— Молочка, пожалуй, выпью. Да и от свежей булочки не откажусь.

Бабушка усаживается на скамейку.

— А ты помнишь, что за день сегодня? — ласково спрашивает ее мама.

— Помню, конечно. Сегодня мой юбилей.

Бабушка, обнажив беззубый, как у младенца, рот, счастливо улыбается.

— А сколько тебе лет, помнишь?

— Ой, много! — старушка смущенно отмахивается рукой. — Семьдесят пять, кажется.

— Правильно! — радостно восклицает мама и, победно глядя в нашу сторону, шепотом добавляет: — Вот видите: сегодня она все помнит.

Лучше бы она этого не говорила! Ведь так можно и сглазить ненароком. Не зря Валечка с самого утра повторяла: «Только бы бабушку не сглазить! Только бы не сглазить...»

— Сегодня все детки твои к нам заявятся, — лукаво улыбается мамина сестра. — Поесть-попить, друг перед другом покрасоваться.

— Все приедут, чтобы тебя поздравить, — доходчиво, словно переводчик, поясняет мама.

— И Илюша приедет? Вот радость-то! — оживляется бабушка. — А то что-то его давно не видно.

Мы ошалело переглядываемся. Ну, вот и сглазила мама бабушку. Даже я знаю, что дядя Илья погиб в сорок четвертом, освобождая Крым. Заметив мое смятение, мама выразительно прикладывает палец к губам, предупреждая, что бабушке лучше ничего не объяснять.

— Мы к Илье сами все когда-нибудь в гости поjalуем, — глубокомысленно изрекает Валентина.

Настроение у бабушки чудесное. Осилив булочку с молоком, она обращается ко мне:

— Илюша таким умненьким рос. Учился на пятерки, как и твоя мама. Только он по комсомольской линии пошел, а она нет. Однажды прибегает домой и говорит: «Мама, ко мне сейчас товарищи из райкома партии придут. Попряхь скорей свои иконы. А то подумают, что семья наша идейно отсталая». А я ему: «Куда же я их спрячу, сынок? Их же вон сколько! Да и грех это — икон стыдиться». А он: «Ты неприятности мне хочешь? Пряхь!» Ну, я тогда Спасителя, Илью Пророка, Николая Угодника, святого Пан-

телеймона в комод затолкала, а «Троеручицу» втиснуть не могу. Не помещается. Чувствую, не случайно это. Не желает Матерь Божия прятаться! Ведь недаром люди говорят, что «Троеручица» дом от огня оберегает. Поругалась я тогда с Ильей. Не сняла со стены икону. И что ты думаешь? Отплатила она потом добром за добро. Когда немцы, отступая, Мариуполь жгли, она не только наш дом, весь двор от пожара спасла!

Бабушка просто светится от радости, видя, какое впечатление произвел на меня ее рассказ.

— Мамочка, дорогая, все немножко не так было, — мягко поправляет ее Валя. — Немцы не спалили наш двор, потому что он вплотную к медицинскому техникуму примыкает, а там во время оккупации Красный Крест размещался, международная организация.

— Да разве ж фашистам это указ? — удивляется бабушка.

— Не знаю. Немцы всех нас тогда из города за двадцать километров выгнали, помнишь? Но те, кто все же ухитрились остаться, прибежали потом к Красному Кресту. Врачи их в больничные халаты переодели, а сами вышли на крыльцо и стали умолять зондеркоманду не поджигать здание. И немцы его обошли. А наш двор и музей не тронули, опасаясь, что огонь может на здание перекинуться.

— И глаза будете иметь и не увидите, — цитирует бабушка Святое Писание. — Вам «Троеручица» помогла, а вы и не поняли.

Лично мне бабушкин вариант кажется более убедительным.

Между тем к нашей калитке подошли первые гости: прилетевшие из Сухуми тетя Зина с Мишей-греком и дядя Сережа с женой Раей.

— Мама Зина приехала! Ура! — заорал Венька, выскакивая из пристройки.

При слове «мама» та расцвела и заключила племянника в объятия:

— Ах ты, мой соколик!

Начались восторженные «ахи-охи», целования и обнимания всех со всеми. А мы с Венькой, не теряя времени, уже дербаном из чьего-то рюкзака сухумские гостинцы: чурчхелу и сушеные корольки.

Наконец мужчины принимаются за дело: выносят во двор здоровенный дедов стол. Но даже он мал для предстоящего торжества. Разживаются у соседей еще одним. Столы сдвигают вместе и накрывают вышитыми скатертями. Потом делают лавки: на табуретки кладут длинные доски, припасенные на такой случай в сарае, и тоже чем-то оборачивают.

С этого момента бабушкин юбилей обретает реальность. Женщины с царственным видом нарезают салаты, раскладывают по мискам домашние «закрутки», расставляют столовые приборы. В воздухе аппетитно пахнет жареным и томленным.

— Мужчины, будьте в форме. После обеда пойдем фотографироваться, — заранее предупреждает мама.

— Это можно и завтра сделать, — откликается дядя Сережа. — Ты нам удовольствие не порть!

— Завтра вас не соберешь.

Мама знает, о чем говорит: дядя Сережа считается в родне любителем выпить. Только терпеливая женщина Кавказа, абхазка Рая, могла выносить его причуды. Детей у них с Раей не было. Зато имелся двухэтажный дом с верандой и большой мандариновый сад. Собственно, дом и сад были раиным приданым, сам же дядя Сережа ничего не имел. Еще до войны он, чтобы не обременять дедово семейство, снял в доме неподалеку комнату, где хозяйкой была горбатенькая Катя. Однако прожил он там недолго: неожиданно собрался и рванул к другу в город Сухуми.

Вскоре выяснилось, что горбатенькая Катя беременна. Родившегося мальчика дядя Сережа признавать не торопился, хотя, по утверждению бабушки, тот был его точной копией. И только теперь, когда Катя отошла в мир иной, а Виктор, отслужив армию, женился, решился он с сыном наконец познакомиться. Как нельзя кстати пришелся для этого бабушкин юбилей.

— Айда на велике кататься, — дергает меня за руку Венька.

Прекрасная мысль! Вдвоем мы выкатываем из общего коридора, заставленного всякой рухлядью, ржавенький велосипед. По нему видно, что пережил он не одно поколение наездников. Правда, до педалей мой двоюродный братик пока не достает, но он и под рамой отлично ездит.

— Куда это вы собрались?

Вездесущая мама тут как тут.

— Покататься хотим.

— Только во дворе. Слышите? На улицу ни шагу!

Спорить с ней бесполезно. Мы соглашаемся, хотя нарезать круги вокруг старых сараев — сомнительное удовольствие.

«Эх, мама-мама, — с досадой думаю я, открывая калитку палисадника. — Все бы тебе командовать нами. А сама с утра бабушку сглазила! Да еще в такой день...»

Какое-то время мы с Венькой катаемся на велике во дворе. И конечно, нам это быстро надоедает. Убедившись, что родительница за нами не следит, меняем тактику: с каждым новым кругом вокруг сараев все больше приближаемся к выезду на улицу. Мне даже показалось, что наш велосипед, как умная лошадка, сам направился куда надо. А мы если и порулили, то совсем немножко.

И вот наконец-то мы на улице Первого Мая! Одной из красивейших улиц старого Мариуполя. У дверей Музея краеведения, как всегда, застыли две каменные бабы. Большеголовые, коротконогие, с сомкнутыми на животе руками. С языческих времен молча наблюдают они за людьми и давно уже ничему не удивляются.

Мы едем: я за рулем, Венька на багажнике. Мимо нас проносятся легковушки, слева и справа по краям улицы мелькают симпатичные особнячки с майоликой на фасадах. Слово «майолика» нам пока еще неизвестно, как, впрочем, и то, что в начале двадцатого века здания в Мариуполе оформлялись в модном тогда архитектурном стиле модерн.

Проехав пару кварталов, я сворачиваю направо и, миновав переулок, оказываюсь на параллельной улице. Это Апатова. При желании по ней можно долго ехать вдоль моря, но через пару кварталов я опять сворачиваю направо и уже через другой переулок снова попадаю на нашу улицу.

У Музея краеведения мы с Венькой меняемся. Теперь багажник — мое место. Изогнувшись под велосипедной рамой, мой двоюродный брат изо всех сил жмет на педали. И хотя везти такую дылду ему трудновато, парень виду не подает.

— А давай до театра доедем! — вконец раздухарился Венька.

Идея мне нравится. От нас до оперного театра даже пешком не очень далеко, а на велосипеде тем более. Решено!

Театр — мое самое любимое место в городе. Светло-желтый дворец с белыми колоннами, окруженный тенистым сквером, величественно замыкает Ленинский проспект. Со всего Советского Союза приезжают сюда летом на гастроли разные знаменитости. Мама и Валечка так любят оперетты, что ни одну из них не пропускают.

— Любовь такая — глупость большая, — запеваю я, предвкушая встречу с прекрасным.

— Влюбленных всех лишает разума любовь, — подхватывает Венька, который тоже не чужд оперному искусству.

Теперь нам остается только, миновав музей, быстренько свернуть в переулок, ведущий к Ленинскому проспекту.

Но не тут-то было. Возле музея нас уже поджидает рассерженная мама.

— Вы русский язык понимаете? — грозно вопрошает она нас. — Я кому сказала не выезжать на улицу?

Она демонстративно отбирает у нас велосипед. Угрюмые, плетемся за ней в надоевший двор.

За наше отсутствие гостей у бабушки прибавилось. Мамина старшая сестра Тася с мужем Иваном и беременной дочкой Нелей подошли. Ребеночка Неля ждет от какого-то известного певца, не так давно посетившего Мариуполь. Почему-то имя певца все произносят шепотом.

Явилась с тремя дочками и тетя Аня, мамина сестра-погодка. Ее старшие девочки, Люда и Тома, уже в невестах ходят, а младшая, Аленка, совсем еще сопливая. Тетя Аня говорит, что третьего ребенка она рожать не хотела, потому что ее муж Тимка, хоть и завербовался на Север, денег почти не присылал.

— Но что поделаешь? — объясняет она со вздохом. — Сталин после войны аборты запретил, а к бабкам-знахаркам идти побоялась. Столько женщин от них на тот свет отправилось. Вдруг и мои девочки сиротами останутся...

Женщин в нашем роду всегда почему-то рождалось больше, чем мужчин: у Таси — Неля, у Зины — Клавочка, у Ани — Люда, Тома и Аленка, у мамы — я. Возможно, так высшие силы заботились о том, чтобы красавицы в Мариуполе не переводились. И только Валечкин сын Венька прервет впоследствии эту традицию: выдаст «на-гора» аж четырех сыновей! Но об этом пока еще никто не знает. Даже дядя Алеша и тот с дочкой из Минска прилетел.

— Знакомьтесь, — подводит он к нам с Венькой девочку лет десяти. — Это ваша двоюродная сестра Ядвига.

Рыжеволосая девочка в белом батистовом платье с рюшечками напомнила мне большую куклу в витрине «Детского мира». А таких красивых красных туфелек, как у нее, я не видела даже в Москве.

— Ядвига — белорусское имя? — зачем-то интересуюсь я.

— Европейское, — с достоинством отвечает та.

Сразу видно: девочка неглупая.

— А как сокращенно? — спрашивает Венька.

— Никак. Имя Ядвига не сокращается.

— Ядя, иди сюда! — зовет ее отец. — С тобой бабушка поговорить хочет.

Мы с Венькой переглядываемся: а девочка-то, оказывается, воображала...

Бабушка в новом шелковом халатике и неизменном белом платочке на голове сидит на лавочке и с детским любопытством наблюдает за всеми.

— Ах ты, рыжуля! — восклицает она при виде внучки. — Как же на отца похожа! А знаешь, чего я больше всего боялась, когда они с твоей матерью во время оккупации у нас жили?

— Чего? — настораживается Ядвига.

— Чтобы Алешенька к немцам в полицаи не угодил. Они такую работу среди молодежи проводили! Фильмы крутили, брошюрки раздавали, деньгами заманивали. Многие поддались.

— Зря ты, мамочка, волновалась, — смеется сын. — Не к фашистам, а к партизанам мы с Агнешкой попали, пока домой добирались. Так в отряде и воевали.

— Знаю-знаю. Жена писала: наградили вас. Медаль-то покажешь?

— Как-нибудь, — смущается мамин брат.

Бабушка вновь переключается на Ядвигу:

— А платье-то какое красивое на ней! Ну-ка покрутись...

Ядвига послушно поворачивается.

Неожиданно взгляд старушки задерживается на мне.

— А твой красный сарафанчик где? — хмурит она брови.

— Какой сарафанчик, бабушка?

— Тот, что я тебе к Пасхе сшила: тебе и Анечке.

— Ничего ты мне к Пасхе не шила.

— Да как же не шила? Красный сарафанчик! Испачкать, что ли, уже успела?

Ядвига слушает нас, вытаращив глаза. Ситуацию спасает подросшая мама. Обняв юбиляршу, она шепчет:

— Мамочка, красный сарафанчик был у меня. Только я с того времени выросла, а это доченька моя — Наташа.

Старушка недоверчиво смотрит на нас обеих:

— Ну, может быть... может быть...

— У бабушки сегодня много волнений, — поясняет нам мама. — Столько народу пришло! Идите-ка лучше пока во дворе поиграйте. Когда нужны будете — позовем.

И снова, теперь уже вдвоем, мы во дворе. Пока мои друзья решают, чем бы заняться, думаю, успею рассказать еще одну небольшую историю.

Мама считала, что бабушка не зря во время оккупации волновалась за Алешу. Уж очень он легковверным был. Как-то приносит домой немецкую брошюрку и говорит:

— А что? Может, и ничего еще этот «новый порядок». Немцы — народ организованный...

Тут вскоре с ним случай произошел. Дело в том, что в оккупации главным средством существования для многих жителей был рынок. Там люди меняли или покупали разные дефицитные товары: хлеб, керосин, мыло, спички. Как могло, выживало в этих условиях и дедово семейство.

На рынке Лешка продавал синьку. Недаром дед когда-то на заводе в Аджахах мастером работал: знал, где в отвалах она еще осталась. Съездит он туда, накопает, а дома бабушка с домочадцами по кулечкам расфасуют. Хоть и копеечное дело, а на хлеб за день набирается. Потому как война не война, а хозяйки белье все равно подсинивают.

В тот день мамин брат, как обычно, пошел утречком на рынок. А ближе к обеду вдруг возвращается: губы разбиты, рубаха в крови и в синьке перепачкана.

— Ой, лышенько! — запричитала бабушка. — Кто тебя? За шо?

Как оказалось, едва встал он со своим лоточком у входа, а на базаре это самое бойкое место, как подошел к нему немецкий офицер. Рывкнул что-то по-своему и показал жестом, мол, пошел отсюда вон. Лешка послушно отошел. Потолкался по рынку. Торговля не шла: синькой никто не интересовался. Смотрит, а фриц ушел: час нет, два нет. Взял он да и вернулся обратно. И вдруг, словно из-под земли, вырос перед ним этот немец.

От сильного удара кулаком в зубы у Лешки потемнело в глазах. Потом уже тумаки посыпались градом. Лешка упал. Немец пинал его ногами, не жалея сил, и лишь когда притомился и отошел в сторону, люди паренька подняли. Долго потом мамин братик отлеживался дома. Жена и бабушка повязки на голове меняли да бодягу к синьякам прикладывали. Больше немецких брошюр Лешка домой не приносил. А в партизанском отряде за все отомстил проклятым фашистам.

Глава седьмая. Вместо эпилога

За праздничным столом

Боясь испачкать белоснежное платье, играть в прятки Ядвига не захотела. Брызгаться у колонки тоже. И тогда мы с Венькой решили показать ей наше самое сокровенное место: дворик Музея краеведения. Интересного там было много: куски древних колонн, плиты с полустертыми надписями и, конечно, каменные бабы — гордость приазовских степей.

От нашего общего двора дворик музея был отгорожен небольшим забором, но смотрительница Василина нас обычно туда пускала. К счастью, она оказалась на месте: как всегда, кисточкой очищала какие-то черепки.

— Не безобразничать! — строго предупредила смотрительница, открывая калитку. — Здесь очень ценные экспонаты.

Три каменные бабы, выстроившись вдоль дорожки, смотрели на нас круглыми глазами. Ростом они были поменьше тех, что стояли у дверей музея, отчего казались их младшими сестрами.

— Это наши богини, — торжественно разъяснил Венька.

— Такие страшные? — хихикнула Ядвига. — Пузатые. Сиськи до пояса висят.

— А им красота не нужна, — неожиданно вступилась за каменных дам Василина. — Мужики перед ними и так на карачках ползали. Женщины тогда в мире царили!

Ядвига недоверчиво покосилась на смотрительницу:

— А почему сейчас не царят?

— Потому, что наследницы их дурами оказались. Просрали власть. Теперь завивочки делают, губки красят, бровки выщипывают, лишь бы только мужикам понравиться. А те еще и носом крутят...

Больше не обращая на нас внимания, Василина вновь принялась за дела, а мне почему-то захотелось повиниться перед истуканшами:

«Вы уж простите нас, недотеп, что так получилось. — обратилась я мысленно к ним. — Не удержали... Сами теперь от этого страдаем».

Мне показалось, что в ответ мудрые богини слегка улыбнулись: «Ничего. Все еще вернется на круги своя».

— А что это за дерево с синими ягодами? Их можно есть? — неожиданно спросила Ядвига, заметив у забора молодую шелковицу.

— Ты что, шелковицы никогда не видела? — удивился Венька.

Мы подошли к дереву. В Мариуполе шелковицу никто не сажает, она сама растет. Прошлым летом, расстелив под ней старые газеты, мы с Венькой натрясли целую миску сочных темно-бордовых ягод. Но сейчас зрелых плодов не очень много. Задрав головы, разглядываем будущий урожай.

— Ну-ка сорви нам вон тех, — прошу я Веньку, приметив вверху аппетитную спелую гроздь.

Венька подпрыгивает и вместо того, чтобы схватить несколько ягодок, зачем-то тянет вниз всю ветку, после чего, оторвав гроздь, отпускает. Ветка резко взлетает вверх, и... — о, ужас! На нас градом сыплется недозрелая шелковица.

— Вот это да! — глуповато улыбается братик.

На моем пестром штапельном платье пятна от ягод почти незаметны. Венька тоже не сильно пострадал. Зато белое платье Ядвиги выглядит так, будто кто-то заляпал его чернильными кляксами. От неожиданности девочка остолбенела:

— Вы... вы это специально подстроили? Да?

— Нет! Смотри: нам тоже досталось, — пытаюсь вразумить гостью.

— Подстроили...Специально... Вот гады!

Не в силах больше сдерживаться, она, громко рыдая, бросается вон из музейного дворика. Мы с Венькой выскакиваем следом.

— Ах, безобразники! Не пушу больше, — возмущается Василина, закрывая калитку. Ядвигу мы нагоняем уже почти возле бабушкиного дома.

— Сейчас нажалуется, и нам влетит, — предполагаю я самое худшее.

Однако взрослым вовсе не до нас. Родственники, близкие и дальние, прямые и не-прямые, чинно сидят за длинным столом, выпивая и закусывая. Их голоса, словно пчелиный рой, сливаются в монотонный гул.

— Вот молодцы! Сами пришли, — обрадовалась слегка подвыпившая Валечка. — Быстро руки мыть и за стол!

После чего, не вдаваясь в подробности, ведет расстроенную Ядвигу переодеваться.

— Завтра платье выварим, и будет как новое, — успокаивает она девочку.

Валечка явно лукавит: пятна от шелковицы не отстирываются никогда.

Тем временем нас с Венькой сажают между Людой и Томой, взрослыми дочками тети Ани. Те сразу принимаются накладывать в наши тарелки все, до чего могут дотянуться. Овощное рагу, крученики, фаршированный перчик, зразы, котлеты, бычки в кляре, маринады — чего только нет на столе! И конечно, шкварки: насквозь прожаренные кусочки сала. Их в любое блюдо можно добавлять. Куда же без них...

Ковыряя вилками еду в тарелках и, отхлебывая лимонад из граненных стаканов, мы с братом с интересом разглядываем гостей. За столом напротив нас сидят дядя Сережа с женой и его новоиспеченный сын Виктор.

Объяснение между ними, очевидно, уже произошло. Радостный дядя Сережа по-отцовски приобнимает отпрыска, а тот не забывает «освежать» рюмки себе и бате.

— Приезжайте к нам в конце августа, — говорит Рая юной жене Виктора. — Этот год в Абхазии очень урожайный на виноград.

— Обязательно приедем! — с улыбкой обещает Оксана.

А в самом конце стола Ядвига, теперь уже в розовой блузке и синей юбке, сердито зыркает глазами в нашу сторону.

С некоторым опозданием, подходит к пирующим еще одна приглашенная — Лида Поволоцкая.

— С днем рождения, дорогая Мария Яковлевна! — поздравляет она бабушку, вручая ей шикарные розы.

— Спасибо, милая! Рада тебя видеть.

Эти слова старушка произносит сегодня множество раз.

Считается, что Лида Поволоцкая приходится нам дальней родственницей по линии бабушкиного отца — Якова Демидовского.

— У нас в роду большая любовь, — говорила мама, рассказывая мне эту историю. — Но трагическая, — добавляла со вздохом.

По ее словам, мой прадед, мариупольский юрист Яков Демидовский, еврей по национальности, влюбился в бедную, но очень красивую украинскую девушку. И, несмотря на недовольство своих родственников, женился на ней.

Катерина, так звали мою прабабку, родила Якову троих детей, старшей из которых была моя бабушка. Четвертые роды молодая женщина не пережила. Безутешный супруг так сильно горевал, что вскоре и сам последовал за любимой: простудился, заболел и умер. Поскольку покойная была сиротой, детей приютили у себя родственники Якова.

Когда бабушке исполнилось семнадцать, к ней посватался мой дед Александр Зозуля. В то время он в Азовском торговом пароходстве работал: сопровождал грузы, идущие за границу.

Однажды, стоя на палубе, он, перегнувшись через борт, крикнул юной невесте: — Что тебе привезти?

Бабушка попыталась ответить, но протяжный гудок отходящего судна заглушил ее голосок. Тогда она просто прижала обе руки к мочкам своих ушей. Дед закивал головой: «Понял! Понял!»

И привез ей из Марселя золотые сережки. Их по схожести с полевым цветком бабушка называла «ромашками». В этих «ромашках» и проходила она всю свою жизнь.

Забегая вперед замечу, что мы, бабушкины внуки, были, по сути, последними, кто видел, знал и общался со всеми представителями этого большого дружного рода. Следующие поколения, рассеянные по миру событиями разной степени давности, уже не знали ни этих людей, ни их историй. В других странах и городах у них теперь свои точки отсчета, а в Мариуполе почти никого не осталось.

Но это будет потом, а сейчас, в этот прекрасный июльский день, вместе со мной за огромным столом сидело столько родных! Глядя на них, даже не верилось, что бабушка, эта крохотная, похожая на воробышка старушка, родоначальница таких крепких, красивых и жизнерадостных людей. А сколько прекрасных тостов прозвучало в тот день в ее честь!

Перед десертом решили сделать небольшую передышку. Мамино предложение пойти сфотографироваться все дружно поддержали и веселой компанией двинулись к фотоателье на Ленинском проспекте.

По дороге мы с Венькой снова оказались рядом с Ядвигой, которой явно надоело на нас дуться. Примирение прошло быстро, и уже втроем мы первыми прибежали к дверям фотоателье.

Желая достойно отработать заказ, фотограф долго всех усаживал. Кроме обычных стульев, у него имелись еще коротконогие пуфики и длинная низенькая скамья. В центре композиции он поставил бабушку, а рядом с ней по бокам, как часовых, Веньку и сопливую Аленку. Дядю Сережу посадил возле Аленки на обычный стул, а его жену Раю на такой же около Веньки. Рядом с Раей поставил Зину с внуком на руках, а рядом с дядей Сережей тетю Анечку.

Фотограф все рассчитал точно: бабушка, стоя в середине, оказалась почти вровень с сидящими на стульях. Что же касается меня и остальных детей, то нам отвели скромные места за спинами Веньки и Аленки.

На самый первый ряд фотограф усадил молодежь. Счастливых молодоженов, Виктора и Оксану, расположил на низеньких пуфиках у бабушкиных ног. С обеих сторон добавил к ним «томных девушек»: Люду и беременную Нелю. Обе хорошенькие, в модных платьях из тафты.

Оставшихся родственников: Клавочку, ее мужа Женю, тетю Валечку, дядю Алешу, маму, Мишу-грека, тетю Тасю, ее мужа Ивана и Лиду Поволоцкую фотограф максимально спрессовал, поставив на длинную низенькую скамью позади всех. Получилась весьма живая композиция.

Как же мало нужно в детстве для радости! И как неожиданно порой сбываются детские мечты. Когда примерно через неделю в витрине фотоателье на Ленинском проспекте на всеобщее обозрение была выставлена наша большая «семейная фотография», счастливей меня, наверное, не было человека на земле.

К 120-летию Г. М. Козинцева

Михаил КУРАЕВ

ЧЕЛОВЕК ЗА ГОРИЗОНТОМ

Помню, как в фойе ленинградского Дома кино после просмотра «Гамлета» к Григорию Михайловичу Козинцеву протиснулась энергичная молодая журналистка: «Григорий Михайлович, только один вопрос! Что для вас фильм „Гамлет“?»

Ответ последовал мгновенно: «Агитка за человечность».

Ответил так, словно и не выпускал никогда из своих рук малярной кисти, той самой, какой малевал «агитки» на стенах красноармейских теплушек в 1919 году, а в 1923-м подтвердил верность жанру агитбоевиком в трех актах «Внешторг на Эйфелевой башне» собственного сочинения с хором банкиров:

Нас вести дела уполномочил мир
Знает, как вселенной править,
лишь банкир.
Мы ждем от вас оваций,
Мы, члены Лиги Наций...

От «агитбоевика» к «агитке за человечность».

Вот и я хотел бы, чтобы эта публикация, приуроченная к 120-й годовщине со дня рождения удивительного человека, неповторимого мастера, выдающегося педагога, стала агиткой: читайте Козинцева! смотрите его фильмы! размышляйте вместе с ним, в чем назначение человека...

А назначение искусства?

На этот вопрос Григорий Михайлович, по-моему, ответил исчерпывающе и кратко: «Не дать человечеству оскотеть».

За двадцать восемь лет работы в сценарном отделе «Ленфильма» я имел возможность убедиться, и неоднократно, в том, что история создания фильма, не говоря о судьбах его создателей, бывает насыщена непредсказуемой драматургией, бывает интересней

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». По сценариям М. Кураева снято 14 полнометражных фильмов («Сократ», «Господа присяжные...», «Раскол» и др.). Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

и поучительней, чем сам фильм, обреченный мелькнуть на экранах всеядного кинопроката и быть навсегда забытым.

Что ж говорить об истории создания лучшей в фильмотеке «Ленфильма» картины «Гамлет», лучшей, разумеется, после «Чапаева». Здесь объемная исследовательская работа, глубокий научный труд, представляющий самостоятельную ценность. А многолетняя борьба за право поставить фильм — сюжет для «злословного» фильма. И сами съемки оставили в дневнике коротенькую запись: «Какая это мука снимать кино».

О работе над фильмами, сценариями, ролями, о работе каскадеров и художников существует обширная литература. Но пожалуй, и не вспомню, кто еще рассказал о своей работе, о своем пути к кинозрителю так, как в своих книгах, в «Рабочих тетрадях», в «Записных книжках» даже не рассказал, а, скорее, поведал (признался?) Григорий Михайлович Козинцев. И сам путь от озорной клоунады, буффонады («Похождения Октябрины») до высокой трагедии («Король Лир») — это воистину роман с «Девятой музой», созданный кинорежиссером и режиссером своей биографии, педагогом и писателем Григорием Михайловичем Козинцевым.

Козинцев родом из Киева, быть может, и поэтому, пытаясь представить его жизненный путь, я вспоминаю Кирилловский храм на Подоле, один из старейших храмов на Руси. Княжеская усыпальница Ольговичей!

Как-то в 70-е годы в досужий час командировки мне случилось войти в пустующий храм. Шли к завершению многолетние реставрационные работы, но ни сторожей, ни мастеров в эти минуты в храме не было. Безлюдный храм кажется всегда особенно значительным — ты и Он!

Такой *диалог* напрягает нервы и воображение.

Я поднял голову вверх и не поверил своим глазам. Как оказалось, была раскрыта роспись подкупольной апсиды чуть ли не XIII века.

В центре, как и полагается, Спаситель.

Но каков!

Налитой здоровьем жизнерадостный парубок, только что без чуприны. А двенадцать апостолов вокруг — праздничный хоровод.

Да может ли такое быть?!

Но я тут же перенесся на семь веков назад...

Христианство, православие, Спаситель совсем недавно пришли на эту землю. Пришли как праздник! Как обещание жизни вечной... Как светлое будущее.

Душа воспарила! Захотелось встать в этот хоровод, да только он в храмовом поднебесье, а может быть, и того выше...

Опускаю взгляд вниз.

Алтарный Деисусный чин. Центральный ярус иконостаса.

Прекрасный лик Богородицы...

Но я же видел такие лица на улицах Ленинграда после войны, на кладбищах, у братских могил...

В центре — образ Спасителя.

С таким лицом можно видеть людей в минуту скорбного молчания...

Лик Иоанна Крестителя, архангелов Михаила и Гавриила, апостолов — в них мужество претерпевших...

Среди прямоугольных колонн, расписанных полупрозрачными фресками, с плоскими фигурами святителей, эти лики кажутся лицами только что не с улицы, они

из нашего века — века небывалых за всю историю человечества испытаний и силы духа, и крепости веры, и гражданской стойкости.

Деисусный чин исполнил Врубель.

Какая бездна времени, какие не охваченные ни мыслью, ни взглядом события разделяют счастливый хоровод под куполом и застывших в скорбном молчании стражей алтаря...

Почему вдруг припомнил храм на Подоле, собираясь рассказать о своем современнике, с которым пятнадцать лет ходил по коридорам «Ленфильма», с кем служили общему делу, каждый в меру своих способностей и возможностей?

«Бывают странные сближенья», — сказал поэт.

В начале 20-х годов неподалеку от «Свободной государственной мастерской», как в ту пору именовалась Академия художеств, в каком-то высоком пустом помещении была выставлена модель памятника III Интернационалу — башня Татлина.

«Я стоял в штанах, сшитых из портьеры, — вспоминал Козинцев, — в полушубке не по размеру, перепоясанный солдатским ремнем, — один из множества точно таких, как я, молодых художников того времени, и смотрел на башню Татлина. Пар валил изо рта... Передо мной был воочию мир будущего: огромная закрученная спиралью железная башня... Я свято верил (как и ее автор. — М. К.), что в самое ближайшее (!) время башня вознесется над городом, торжествуя победу над Росси и Растрелли».

Прошло сто лет, и вместо башни Татлина готов был вознестись в центре города, напротив Смольного, торжествуя победу над Растрелли, Кваренги и Росси, четырехсот-метровый клинок из стекла и металла. Сияющий бизнес-центр могущественной фирмы!

Что видел, глядя на макет башни Татлина, юный студент в штанах, сшитых из портьеры?

«Передо мной был воочию мир будущего».

И вот оно наступило.

Не стану гадать, о чем мог думать мечтатель-идеалист, случись ему увидеть циклопических размеров башню на берегу Маркизовой лужи.

Идеалист? Автор трилогии о «Максимах»? Режиссер, три года готовившийся снимать фильм о Карле Марксе? Один из основоположников советского кино? Лауреат, наконец, Ленинской премии...

Конечно, идеалист.

А кто герои его трех последних фильмов: Дон Кихот, Гамлет, да и король Лир? Каждый по-своему — идеалист. А движущая пружина всех трех картин одинакова: непримиримое, безысходное столкновение идеала и реальности.

Ему казалось, что в жизни, выпавшей нам, все можно поправить, в том числе и управление искусством (!), надо только признать ошибки.

«Необходимо издать малым (!) тиражом „для служебного пользования“ подборку материалов „О браке в руководстве искусством“».

Почему «малым тиражом», почему «для служебного пользования»?

Чтобы не дискредитировать тех, кто в руководство искусством сажает бракоделов?

Его не стало в мае 1973 года. Советская власть стояла незыблемо, и если что и не так, то, казалось, можно поправить.

Козинцев был в полном смысле советским человеком. Более того, об Эйзенштейне, Маяковском, Мейерхольде он писал: «Они и есть советская власть».

Достаточно прочитав переписку Козинцева со своим другом юности Юткевичем, осуществившим постановку фильма «Рассказы о Ленине» и сомневающимся, ставить ли ему «Ленин в Польше».

«Меня огорчил какой-то тон твоего письма о будущем фильме. Это будет *замечательный, прекрасный фильм* (подчеркнуто Козинцевым. — М. К.). И даже не смей думать ни о чем другом. Так мы рассоримся и, боюсь, по техническим причинам не успеем уже помириться. Все, что я читал, — прекрасно: фильм-монолог Ленина, действие в тюрьме, но и на широте — беспредельной — ленинской мысли... Прекрасно придумано! И картина будет небывалой по ходу к основному в ленинской теме». И т. д.

Минувшие времена подкрашиваются, перекрашиваются, ретушируются.

У Козинцева в дневнике есть веселая запись о том, как он пришел сфотографироваться на паспорт. Фотограф смотрел и так и этак, вздохнул и произнес: «Придется ложиться на ретушь».

«Роль ретуши в изображении нашего настоящего и прошлого», — материала на десять докторских диссертаций.

Сегодня советское время не умеющим думать и не желающим знать представляют попросту: «одни сидели, другие сажали».

Откуда же взялся востребованный зрителем по сей день советский кинематограф?

Почему в новогодние дни и ночи ТВ, чтобы привлечь зрителей, показывает не сентиментальное про Колчака и не «Честь киллера», не «Слепой стреляет дважды», а неувядаемый советский лубок «Свадьбу с приданым», фильм-спектакль времен малокартинья, производства, подумать только, 1953 года! А если поновей, конечно, «Ирония судьбы» пятидесятилетней давности, правда, раскрашенная. Как говорится, не от хорошей жизни.

А почему же это после таких перемен, после таких свобод и опять — «не от хорошей жизни»?

Полстолетия небывалой свободы творчества, а последний съезд кинематографистов стонет: «Верните Госкино!»

Контроль государства, чиновников над киноискусством?!

Но чиновники, какие ни на есть, люди, и люди разные, и осторожные, и посмелей, с ними можно было разговаривать, кто-то и во ВГИКе учился...

А когда контроль денег?

С калькулятором не поговоришь, не поспоришь.

«Бизнес, господа, и ничего личного!»

Так что контроль денег оказался еще хуже.

Все непорочно.

Советская власть кому мать родна, а кому и мачеха.

Кому-то попеременно, кому-то одновременно.

У народного артиста СССР, лауреата Ленинской и дважды лауреата Сталинской премий, награжденного дважды орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени Григория Михайловича Козинцева набралось дневниковых заметок на книжку «Черное, лихое время», существенно дополняющую наше представление о судьбе и работе замечательного мастера.

Вот и хотелось бы представить его портрет без ретуши.

Сегодня мы видим, как сложились две легенды о временах советской власти; каждая выдает себя за истину, не опровергает другую, а просто ее не замечает. Одна легенда — «как много было хорошего», и куча примеров. Другая — «это был сплошной ужас», и снова навалом примеров.

И обращение к судьбам выдающихся людей советской эпохи, быть может, поможет увидеть времена минувшие не из рук творцов легенд и мастеров «ретуши».

В 20-е годы ни для кого не было тайной, как снимать кино.

Кто только не брался за киноаппарат.

«Профессиональная сфера работы режиссера, очевидно, не так трудна, — говорил Козинцев во вступительной лекции слушателям режиссерских курсов на „Ленфильме“ в 1965 году. — В двадцатые годы, когда мы начинали работать, мы пришли в совершенно кустарную дореволюционную кинематографию и делали профессиональные картины. Не было ни одного человека, который не овладел бы этой спецификой в течение одного фильма».

Как в этой связи не вспомнить, что уже в иные времена, в наше время, своими первыми картинами Глеб Панфилов («В огне брода нет»), Савва Кулиш («Мертвый сезон»), Илья Авербах («Степень риска»), Сергей Овчаров («Небывальщина») сняли не только все вопросы о полноте овладения профессией, но и заявили о себе как о художниках.

С первых же шагов в искусстве Козинцев строго различал два понятия — «мастер» и «художник»; работа мастера может восхищать, работа художника — вызывать душевный отклик. И «Броненосец „Потемкин“», как писал Козинцев, «показал не только историю броненосца „Потемкин“, он показал, что такое духовный мир художника революции».

Умельцы в 20-е годы стали режиссерами-метрогонами (племя оказалось неистребимое!), они снимали «фильму» за «фильмой», как тогда выражались. Они снимали, а Эйзенштейн, Кулешов, Дзига Вертов, Пудовкин, Довженко, а с ними и Козинцев с Траубергом делали кинематограф, учились «отражать жизнь силой душевного отклика», «не показать, а пробудить».

А начали Козинцев с Траубергом с «Похождения Октябрины».

Первая, по сути, ученическая короткометражка; Козинцеву — девятнадцать, Траубергу немногим больше. Юные режиссеры, желая в первую очередь утвердить свои права на профессию, спешат предъявить зрителю, как говорится, полный преискурант киноприемов.

И доказали, что снимать могут и трюки, и погони даже на куполе Исаакиевского собора, а дальше, дело за малым, осталось только стать *художниками*, «со всеми бесплановыми чувствами и косматыми страданиями».

И процесс этот, становления художника, занял у Григория Михайловича Козинцева все оставшиеся ему сорок два года жизни.

Именно этот процесс исполнен мучительной неудовлетворенности, незнания, сомнений и постоянного, до последнего часа, стремления и умения учиться.

Все пять томов его сочинений, фундаментальные работы — книги, очерки, публицистика, «Рабочие тетради» и «Записные книжки» — все можно было бы объять одним заголовком: «Заметки ученика». Оставленный нам в наследство «ученический» опыт выдающегося педагога, воспитавшего несколько поколений киномастеров, воистину бесценен.

Литературное наследие Козинцева — это прежде всего свидетельство пожизненной способности учиться, подтвержденной опытом, множеством ссылок на собственную практику.

«Похождения Октябрины», «Чертово колесо» — почти детская увлеченность ярким, броским, необычным. И вот следующая работа — «Шинель», и открытие: «Нам не приходило в голову, что поэтическое неотделимо от прозаического».

Этому не учат, в искусстве надо самому пройти детство, отрочество, даже перебеситься, чтобы повзрослеть.

Учились у Гоголя.

Невский проспект гоголевских времен был невысокой застройки, витрины магазинов были небольшими, да и движение было сравнительно тихим. Эта обыденность воображением Гоголя превратилась в «ослепительный морок», завораживающий читателя: «дома росли», «мосты дрожали», «мириады карет валялись с мостов», «все превращается в гром и блеск». А гулящие девки вдруг предстали «небесными созданиями».

Преображенная реальность! Не ради аттракциона (attraction — по-французски всего лишь «приманка»). Это в прошлом. Реальность Невского проспекта преобразена до выявления его фальшивого противоестественного нутра.

Это в Диканьке — луна, это в Диканьке — солнце, а здесь фонари, зажженные самим дьяволом.

«Мы еще не знали, что только зоркость зрения способна открыть в жизненном потоке образное, что интересное обычно не обнаруживает себя броской внешностью, анеобыденное часто заключено в самом обыкновенном».

Уроков прозрения нет в учебниках.

«В искусстве зоркость нельзя усвоить, до нее нужно дорасти». Она нужна для того, чтобы, как сказал Гоголь: «сквозь хаос внешних проявлений стали проступать какие-то характерные черты, и эти характерные черты дали интерес к обыденному».

Да, фильмы, созданные Козинцевым и вместе с Траубергом, и в одиночку, нашли свое место в мировых синематеках, изучаются, расценены как значительный вклад в мировое киноискусство, это бесспорно.

Но уникальны и педагогический опыт Козинцева, и опыт самовоспитания.

Как педагог он на Фабрике эксцентрического актера (ФЭКС) в свои семнадцать «воспитал» великолепных актеров: Герасимова, Кузьмину, Жакова, Жеймо, Костричкина. Учитель был младше своих учеников. В двадцать два преподавал в Техникуме сценических искусств (вскоре ставший Театральным институтом), уже во ВГИКе и на режиссерских курсах на «Ленфильме» его учениками стали Ростоцкий, Рязанов, Авербах, Масленников...

И все это время он учился сам, и его «ученический» опыт, сохраненный в литературных трудах, дневниках и рабочих тетрадях, имеет непреходящую ценность.

«Разумеется, для каждой профессии необходимо усвоить свои знания, однако главная трудность иного рода: программу обучения „на человека“ каждый проходит по-своему».

Одним из пунктов в этой программе у Козинцева значится: «преодоление душевного невежества».

Понять педагогический феномен Козинцева помогает он сам. Григорий Михайлович пишет о своем коллеге, великолепном писателе, выдающемся исследователе литературы, ставшем еще и сценаристом, о Юрии Николаевиче Тынянове: «Он пришел в Севзапкино, чтобы учиться. Потому он смог учить».

Едва ли сегодня кто-нибудь не занимающийся историей отечественного кино добровольно и до конца досмотрит даже нынче озвученный музыкой изначально немой фильм «Чертовое колесо», Севзапкино, 1926 год. А вот рассказ о том, как двадцатидесятилетний Григорий Козинцев вместе с ненамного его старшим Леонидом Траубергом работали над первой своей полнометражной (40 минут!) картиной, не устарел и едва ли устареет как для тех, кто любит кино, и тем более для тех, кто готов искусству кино служить.

«Мы умели быть молодыми», — свидетельствует Козинцев.

Это не значит задирать нос перед «стариками», хотя и это было, не значит не бояться ошибиться, не значит бросаться в неизвестное очертя голову¹.

Быть молодым — это в первую очередь искать свою дорогу, временами на ощупь.

Коллега и старший друг Козинцева, всемирно известный впоследствии режиссер, в свой час призывал заменить театры «показательной станцией достижений в плане квалификации бытовой оборудованности масс». И в подтверждение своей правоты режиссер заставлял героев Островского («На всякого мудреца довольно простоты») ходить по проволоке и петь: «У попа была собака...» Режиссер спектакля и автор манифеста Сергей Эйзенштейн значился в кругу друзей «Стариком», но ведь тоже был молод и тоже умел быть молодым.

Время было молодое, и академиков кино еще не было.

Умельцы снимали кино; молодые, неоперившиеся создавали кинематограф, какого еще не было.

Картина «Чертовое колесо» какая-то дерганая, сумбурная, у сценария минимум четыре ахиллесовы пяты. Клиповый набор крупных планов. Мелькание типажей. Один колоритней другого. А уж как они лепятся к сюжету, неважно. Глаз отдыхает на долгих, поясняющих сюжет титрах, рассчитанных на читающего по складам зрителя: «*Валя. Еще не шпана. Актриса Л. Семенова*». Нелепостей хоть отбавляй. Вечером крейсер «Аврора» уходит в поход, все матросы должны быть на борту, горе опоздавшему, а утром крейсер уже у причала... Опоздавшего тут же на палубе то ли судят, то ли осуждают, то ли награждают...

Сегодня трудно представить, чем была эта работа для режиссеров, переболевших эксцентрикой, аттракционами, клоунадой.

«Впервые мы задумались над сочинением, связанным с жизнью».

По сюжету матрос с «Авроры» Ваня и его девушка Валя, «*еще не шпана*», стали жертвами уголовников. Появился консультант Иван Бодунов, работавший в угрозыске по ликвидации бандитизма.

Вечера съемочная группа проводила в саду Народного дома на Петроградской, в парке среди аттракционов, среди гуляющей, пьющей и танцующей толпы. Именно здесь познакомятся герои будущего фильма Ваня и Валя. А днем «осваивали» странный и уродливый мир ленинградских окраин, отправляясь в «творческие командировки» на трамвае. Больше того, даже было совершено учебное плавание на крейсере «Аврора», поскольку герой картины был из этого экипажа.

Казалось бы, идет подготовка для съемки вполне реалистической драмы.

А где же радость кино, где же чудо преображения?

Не фон, не место действия, а «действующие места»!

«Предметы вовсе не „игровой реквизит“, это — играющие вещи»!

Не игра на бильярде, а играющий, расставляющий точки, бильярд.

Режиссеры, судя по всему, вовсе не хотели овладевать киночистописанием в орфографии своего времени, они не мыслили снимать *правильное* кино.

Форму диктовало содержание. Последние времена нэпа. Смятение. Зыбкое время. Уголовщина чувствует себя хозяевами жизни. Словно в бреду танцующие в парке толпы.

Это не пересказ придуманной истории о влюбившемся и загулявшем матросе, истории самой по себе весьма наивной, это рассказ о стихии, о жизни (брожении?) городских толп, порождающий образ времени. И тогда возникает желание, потребность включить бесхитростный сюжет в историческое пространство. Как? Да очень просто:

¹ Лозунг ФЭКСа: «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей!»

«к переживаниям мальчишки–призывника мы припутывали кадры... „Авроры“ в октябрьскую ночь» (?!).

Первые фильмы Козинцева были немыми, но в них слышался голос времени, его последние фильмы были черно-белые, и это был цвет времени.

«Вырваться из натуралистических связей, открыть возможность иных связей».

«Бродильное начало замысла постановки».

«Несхожие стремления теснили одно другое».

Это и есть поиск пути, который приведет к «Шинели», «С. В. Д.», «Новому Вавилону», а еще дальше, через много лет, быть может, к «Цвету граната» (реж. С. Параджанов), «Интервенции» (реж. Г. Полока), «Первороссияне» (реж. А. Иванов и Е. Шифферс), «Покаянию» (реж. Т. Абуладзе), к тому, что не вписывается в «нормальное», привычное кино, не повергающее начальство в недоумение.

Ну что ж, классики учат свободе!

«Чертовое колесо» — это еще и упоение оператора Андрея Москвина ожившей камерой, сорвавшейся с места, летящей с «американских гор», взлетающей над многолюдством, продирающейся сквозь непролазные толпы, упирающейся в не моргающий во весь экран, еще до Бунюэля и Дали.

Нетрудно заметить в «Чертовом колесе» эмбрионы будущих эпизодов, сцен, образов грядущих фильмов. Первый кадр: остов сгоревшего дома с черными проемами окон. Разом во всех окнах пятиэтажки появляются пары: парни в клешах и девчонки в коротеньких юбках — и начинают бить тустеп. Придумано. Снято. Забавно. Не больше. Не каждая картинка — образ. И вот через десять лет в таких же черных оконных проемах сгоревшего дома в «Юности Максима» так же разом появятся в белых гимнастерках полицейские. Зловещий пролог схватки. Совсем другое дело. И мелькнувший в «Чертовом колесе» бильярд перекоцует в «Юность Максима» и надолго запомнится зрителям.

История работы над фильмом, будь это «Чертовое колесо», или «Дон Кихот», или «Гамлет», в записках Козинцева это еще и история становления художника.

Вот в «Рабочей тетради» усердного ученика знаменательная запись: «Материал воспитывает».

А для чего?

Казалось бы, вопрос праздный. Ан нет!

В зависимости от того, как человек творческой профессии отвечает на этот вопрос, легко отличить художника от тех, кого зовут *крепкими профессионалами*, составляющими, наверное, в каждом виде искусства большинство.

Козинцев не раз формулировал кредо художника, вот одно из них: «Выразить своим искусством не только то, что несложно объяснить словами, но и те трудно определяемые ощущения, без выражения которых искусство безжизненно».

«...Трудно определяемые ощущения...» — это и есть дорога в неизвестное.

Наступило время, когда захлестнутые газетно-журнальной стихией коллеги, и не только они, бросились разоблачать и перестраиваться. Козинцев и не разоблачал, и не перестраивался, но во времена перемен его не оставляло чувство ответственности художника:

«Мы еще не можем сказать то, что обязаны были бы сказать. Почему? Потому что мы знаем часть правды, возможности нашего обзора поля трагических событий ограничены, угол зрения — узок».

Удивительная дальнорукость, потребность и, продиктованная чувством художника *обязанность* не из газеты, не по радио и не на митинге понять движение истории.

Не так ли относился к *очевидным* для большинства историческим событиям Лев Толстой? Графиня П. С. Уварова в первую годовщину убийства Александра Второго

просит Льва Николаевича выступить 1 марта 1882 года на благотворительном концерте в память убитого. «...Несчастье 1-го марта, — ответил граф Толстой, — есть, по моему мнению, такое событие, которое еще не пришло время обсуждать».

Как видим, подлинники художники не сродни бойким комментаторам газетной хроники, тем более не ее иллюстраторы.

Не случайно в планах Козинцева был фильм о «бегстве» Толстого из Ясной Поляны. Мало кому из наших современников было сродни масштабное мироощущение, сближающее Козинцева с Толстым.

Вопрос сложный, важный и потому требующий хотя бы краткого пояснения.

Мне кажется, что разность в «масштабе ощущения жизни» может быть проиллюстрирована хотя бы фрагментом переписки Толстого с Н. Н. Страховым, человеком ему во многом близком.

В статье «Парижская коммуна» Страхов отрицательно отозвался о революции 1871 года. Толстой ответил: «Вы отрицаете то, что делают люди. Вы говорите — они делают вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они это делают... Отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее».

Вот и вся разница между художником и журналистом, один пытается жизнь понять, другому все ясно, и он выставляет истории отметки.

Что ж, Козинцев прошел этот путь от фельетониста и репортера («Похождения Октябрины», «Чертовое колесо») до подлинного философа — «Гамлет», «Король Лир».

«Глубокий экран», «Пространство трагедии», «Наш современник Вильям Шекспир» по праву считаются классическими трудами в литературе о кино, о философии искусства, но нам, служившим рядом, видевшим Козинцева в работе, слышавшим его на худсоветах и вечерах памяти коллег, необычайно интересно разглядывать «Рабочие тетради», листать «Записные книжки» этого удивительно закрытого человека публичной профессии.

Ему нравилось блоковское слово «неслиянность», быть может, потому, что сам он, как мне казалось, существовал в одном пространстве, а «Ленфильм» в его повседневности в другом. Отсюда и ощущение *неслиянности*. При этом «студия» была естественной для него пожизненной средой обитания, начиная с ФЭКСа; он слышал изначальноный смысл этого слова — «школа, где он был и учеником, и учителем».

Мастер с мировым именем готов был, нет, не учиться, конечно, но впитывать опыт, к примеру, Питера Брука. В молодом, на двадцать лет моложе, постановщике «Трагической истории доктора Фауста» и «Короля Лира» Козинцев нашел близкую душу, они существовали в разных поколениях, в разных странах, исповедовали разные традиции, но существовали в одном пространстве.

Козинцев был рядом с нами, но, как мне кажется, душой, мыслями, делом был обращен к тем, кого рядом уже не было, с кем начинал, с кем дружил, у кого учился: Маяковским, Эйзенштейном, Мейерхольдом, Тыняновым, дорожил теми, кто еще не ушел: Эренбургом, Шостаковичем, Шкловским, Альтманом, Пастернаком.

Вот и получается, Антонен Арто и Питер Брук ближе тех, кто рядом.

А рядом — одиночество.

Перейдя Кировский проспект, разделявший киностудию и дом, где жили заслуженные ленфильмовцы, он пишет в своем дневнике:

«Горе в том, что здесь я вовсе никому не нужен. Ленфильму, который я когда-то создавал, семи (кажется, столько?) поколениям учеников. Про меня вспоминают, когда нужно где-то бессмысленно выступить или что-то протолкнуть...»

Может быть, что-то проясняет запись, помеченная годом работы над «Королем Лиром»: «От чего же я прихожу в такой непролазный мрак отчаяния? От неинтеллигентности собеседника».

«Как в этой атмосфере ремесленничества, грубости, плоских острот, ловкачества, ржания над старыми анекдотами, хамстве может возникать что-то сложное и глубокое?»

«Я не то что плохо живу, я вроде как уже и не живу — жизнь загнала меня в угол, в Комарово. Кругом уже никого и ничего нет».

Как никого нет? А коллега, тот, что за невысоким заборчиком, тоже народный артист СССР?

Каково это было читать его преуспевающему соседу по даче, и не ему одному.

Эти горькие слова не жалоба, а, скорее, недоумение.

Высокая сосредоточенность, определявшая стиль его жизни, наверное, обрекает на одиночество.

Нет сомнений, что у Козинцева, как в свое время у Герасимова, Юткевича, того же Трауберга и заканчивая Панфиловым, были возможности переехать в Москву.

Он работал в Москве! Служил во ВГИКе. Вел режиссерские курсы. Как в свое время Шостакович ездил, живя в Москве, преподавать в Ленинградской консерватории, так же и профессор Козинцев ездил на занятия в столицу, но жить там не хотел.

Что удерживало? Ленинград? Неповторимый город? Но он через всю жизнь пронес любовь к родному, теплomu, зеленому, не давящему на тебя архитектурной громадой Киеву.

Тогда, может быть, «Ленфильм», который он создавал? Но это уже был другой «Ленфильм».

«Если брать советскую кинематографию, то именно образцом такого кинематографического творческого организма, совершенно слитного, несмотря на разнообразие духовного мира художников, является „Ленфильм“ двадцатых—тридцатых годов. — Говорил Козинцев на Худсове студии в 1966 году. И заключил: — „Ленфильм“ как художественный организм, с мой точки зрения, исчез».

Здесь важно «с моей точки зрения», то есть это уже не его «Ленфильм», того уже не было.

Почему же не Москва?

Могу только предположить, что в Москве, именно в кинематографической среде, невозможен тип жизни, избранный для себя Козинцевым.

Именно на «Ленфильме» он был одинок... и свободен!

И «неслиянность» тому подтверждение.

Одиночество — чувство тягостное, но в служении оно необходимо. Аналогия — монашество как принцип.

Это при взгляде со стороны в монашестве видны только ограничения, а спросите монаха: монах выбирает свободу! Выбор не из легких, но собственный, а не навязанный извне.

Привычка с ранних лет, со времен ФЭКСа, судить о работе своих коллег по «гамбургскому счету» сохранилась на всю жизнь. Сохранились его нелицеприятные суждения, от иронических до саркастических, о работах Михаила Ромма, Сергея Герасимова, Ивана Пырьева, Владимира Вайнштока, о режиссере Юлии Солнцевой, сценаристке Елене Серебровской и др., но самый строгий суд был обращен на себя.

«Быть самому себе судьей. Не дай бог испытывать этот суд. А без него — ничего делать в искусстве нельзя».

«Единственное, что я еще не утратил: способность ненавидеть свои постановки. И способность терзать себя глубоко, с истинной страстью. Каким я кажусь себе счастливым во время работы над книгой, постановки. И какой ужас снимать: чувствовать и понимать, что ничего из замысла не получается, что ничего не в силах добиться... „Безвыигрышная лотерея“ — вот что такое работа в кино».

«Замысел фильма — вода, уходящая из-под пальцев.

Режиссер не ставит, он выкручивается.

Я бездарный, неопытный профессионал. Единственное утешение: таким я чувствовал себя всегда».

И это не поза, это позиция. Мы видим результат работы художника, и он может нас удовлетворять, даже радовать... Но что было в замысле? В какой мере замысел осуществился, знает только художник.

Очень точно иллюстрирует эту антиномию, замысел и воплощение эпизод с отливкой колокола в «Андрее Рублеве» Андрея Тарковского, ученика М. Ромма, но режиссера во многом близкого Козинцеву, о чем свидетельствует их переписка.

Отлит и прозвучал огромный колокол. Общее молитвенное ликование. Лишь молодой мастер (арт. Н. Бурляев), вложивший в работу всю душу и все умение, плачет: тайну, унесенную старым мастером, он разгадать не смог... И знает об этом он один.

Во все времена существовала и будет существовать при всякой перемене власти уклончивая в сторону собственной выгоды неуязвимая мораль «спевшихся лавочников», как определяли суть мещанства и Дж. Стюарт Милль, и Герцен, и Мережковский, и Маяковский.

Царство самодовольной посредственности!

Нынче слово «мещанство» из словаря выпало. Козинцев, пожалуй бы удивился. Мещанский дух торжествует, но хочет быть в маске существа «умеющего жить». Пушкин давно разглядел эту породу: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой».

Россия, так уж исторически сложилось, выработала сословие, по природе своей противостоящее мещанству, социальное противоядие, препятствующее «человечеству оскотеть», — интеллигенцию.

Вокруг этого сословия много споров, но стоит понять, что при всей разнице общего между врачом Чеховым, врачом Булгаковым и сыном врача Козинцевым и понятие интеллигент материализуется.

«Та самая эстетика коммерческого кино, в борьбе с которой выросла советская кинематография, пляшет и песенки поет».

Пожива, обслуживание «рынка» под видом служения искусству для Козинцева неприемлемы.

«Оказывается, что у нас — судя по экрану — не возделывают землю, не строят заводов, не лечат, не учат детей... На экране господствует один вид труда: наши славные чекисты».

Что из того, что место «славных чекистов» заняли не менее славные «менты», сыщики и полицейские.

Слово «дидиктив» произносилось Козинцевым явно уничижительно. При этом он деятельно поддержал дебютанта Савву Кулиша в работе над «Мертвым сезоном», приветствовал картину Герберта Раппапорта «Два билета на дневной сеанс». Отличал «индпошив» от «ширпотреба».

Что такое сегодня «типичный многосерийный детектив»? «Ну, погоди!» для взрослых. Волк и Заяц поменялись местами. Милиционер, то есть полицейский, в форме вплоть

до генеральской, ловит, а главный бандюган, купающийся в роскоши Заяц все убегает и убегает из серии в серию, из серии в серию...

Полвека, как с нами нет Козинцева, но он решительно — наш современник, вместе с нами смотрит телевизор, ходит в кино.

«Насилие, безумие, сексуальная патология прорывают цензурные рогатки и занимают сцену и экран Западной Европы и США послевоенных лет».

Дорогой Григорий Михайлович, сегодня вы принадлежите к консервативному меньшинству. Цензурные рамки прорваны! Жестокость? Да без мордобоя и стрельбы разве кино? А сексуальная патология? Как жаль, что вам не близки успехи человечества в борьбе за право каждого человека на «содомский грех»!

Если книги Козинцева — это история кино («Пространство трагедии»), это история становления художника («Глубокий экран»), осмысление классики («Наш современник Вильям Шекспир»), то совершенно иное «Рабочие тетради» с девизом на обложке: «Совость — вот главная тема века» — и дневники: «Черное лихое время», ни в каких девизах не нуждающихся.

Если вам вдруг окажется нужен прямой, острого ума, широко образованный, знающий свое дело, безжалостный к себе и знающий цену своим коллегам, скажем, *собеседник*, посвятивший свою жизнь кино, полистайте «Рабочие тетради» Козинцева, откройте его дневниковые записи.

Там уплотненные до наглядности мысли художника о времени и о себе.

Так уж повелось, что во всех бедах, житейской неустроенности принято искать виновных или где-нибудь рядом, или поодаль, а то и совсем далеко и высоко. Но любое худое дело, впрочем, как и доброе, воплощают в жизнь люди, единицы человечества, потом уже составляющие общества, кланы, партии, классы и т. д.

Козинцев видел перед собой не зрительный зал, а зрителя, как бы каждого зрителя отдельно, своего современника, с его заботами, надеждами, душой. И на монтажном столе, и в просмотровом зале в десятом корпусе каждый кадр своих картин он старался увидеть глазами зрителя, оставшегося с глазу на глаз с экраном.

А у толпы, сообщества, класса глаз нет, да и совость — вещь исключительно индивидуальная и очень непростая. Недаром же вопросы совести занимали, к примеру, Достоевского больше, чем прогресс.

Козинцеву в этой связи, смею думать, были бы близки слова Гамлета, обращенные к матери, королеве Гертруде: «Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь».

Ясное дело, такую роль может исполнить только правдивое зеркало, чтоб «повернуть глаза зрочками в душу».

Что же видел источником множества бед умудренный опытом и знанием людей режиссер?

Зло, прежде чем явиться в мир, рождается в душе отдельного, реального, неповторимого человека.

В этой связи интересна такая запись в дневнике Григория Михайловича, словно в предчувствии грядущих «рыночных времен»: «Продажа души черту. Раньше: „отдам весь мир“. Ныне: „сосчитаемся. Не обижу“... Страшное падение цен на души. Заговаривание душ. Очередь такая, что не сравнится с хвостом на машину „Победа“».

И цены за сделку разные, вот, к примеру, за вожделенные заграникомандировки: «Любишь кататься, люби и саночки лизать».

Наглядно сказано!

Как известно, душу продают не просто так, а из самых лучших побуждений. В этом случае Козинцев находит немало солидарных с ним собеседников и единомышленников, а слова Герцена и его рассуждение о «торговле с дьяволом» вносит в свою записную книжку:

«Я дал себе слово многое сделать, во многом уступить, чтобы добраться до свободы... Вероятно это то самое чувство, которое испытывают публичные женщины, первые раза продавая себя за деньги — хотя и защищаясь нуждой и etc. Полного отпущения сознательному греху нет. J'homme se sent fletri. („Человек чувствует себя запятнанным“, фр.) Да, может, я спасу свою индивидуальность. А тут вопрос: да нужна ли индивидуальность моя для чего бы то ни было или нужна ли на что-нибудь индивидуальность, спасаемая таким образом?..»

Человек чувствует себя запятнанным?

Это смотря какой человек.

И конечно, «полного отпущения сознательному греху нет», это убеждение Козинцева, иначе трудно было бы понять и его отношение к коллегам, и к самому себе.

«Горе талантливому писателю Германа в том, что он прославляет правду ложью, чтобы прошла правда. Но ложь кладет тень на писателя, следовательно, и на правдивые страницы, которые он написал. Трудность в том, что испуг перед правдой стал уже условным рефлексом...»

Юрий Герман был человеком, близким Козинцеву, автором сценариев его фильмов «Белинский» и «Пирогов».

«Правда»? Случалось ли людям, причастным к искусству, не рассуждать о «правде». Что есть правда?!

«Как гении казуистики и софистики крутились вокруг слова „правда“. И били за то, что ее изображали. Правда — не то, что в жизни, правда — это то, что в газете. Типичное, не типичное...»

А кто не знает различия между лгушим и правдивым. Знает каждый ребенок, которому надрали уши за то, что наврал».

И вот Козинцев пишет в дневнике, не нам, себе: «А ну, скажи еще раз, попробуй сказать правду. Это не трудно. Нужна только привычка. Сосредоточимся».

Привычку к правде надо воспитывать!

Правда — это жизнь, а не подделка под жизнь.

Подделки бывают красивыми, мастерски исполненными, хорошо оплаченными.

«Картина Ромма „Убийство на улице Данте“. Искусство ландскнехтов. Есть вооружение, осанка, умение делать военные экзерсисы. Бескровное убийство на условных пространствах.

А для кого? Кто платит».

И еще одна картина Михаила Ильича Ромма.

«„Адмирал Ушаков“. Гуманизм. Турки, татары. Полевой. Кукольник. „Как пышно, как красиво!“ Ушаков ненавидит турок, очевидно, потому, что они все служат в оперетте. Пафос оттого, что Ушаков не понимает по-французски».

И никакого «льготного тарифа», снисхождения к «братям с окрестных кинематографий».

Или кино — или не кино. Или искусство — или что-то другое.

«Как мы три десятка лет пытались имитировать элементы американского кино (без его внутренней силы — реалистической гриффитовской или поэтически-комедийной — чаплиновской) так они (новое поколение грузинских режиссеров. — М. К.) имитируют элементы неореализма...

...Все „как у людей“ Но что итальянцам здорово, то грузинам смерть. Ничего от жизни. Ни слова. Ни взгляда. Ничего от исследования. Упражнение на имитацию...»

„Аннычка“ Ивченко. Провинциальная ярмарочная „малороссийская“ мелодрама в этнографических костюмах...

Тут же война, фашисты, партизаны. Фальшь и бессмыслица.

Студия Довженко!»

«Узбекский фильм „Возвращение командира“».

Ну, братцы!.. После такой картины порастаешь шерстью, становишься на четвереньки».

«Актриса Скобцева, отправляясь в Канн, спрашивала: нужно ли ей брать туда меха?

Во всяком случае, не нужно брать фильм, в котором она играет Дездемону.

Советскую кинематографию некогда представлял Эйзенштейн. Теперь Касаткина и Скобцева. От кого? Вероятно, от трудящихся блондинок. Наши блондинки самые прогрессивные».

И это о фильме друга на всю жизнь Сергея Юткевича.

Как говорится, старого воробья на мякине не проведешь. Впрочем, скорее: «Платон мне друг, но...»

Не щадил Григорий Михайлович на студийных худсоветах изделия «тематические», да еще к круглой дате, столь желанные и высоко ценившиеся начальством в Москве:

«Давайте скажем честно — плохое дело делаем, когда уходит народ из кинотеатра и говорит: „Опять про Октябрь, опять Ленина показывают, скучно...“»

«Мы иногда говорим, что зрители не поняли, не доросли, а не бывает ли часто так, что зритель перерос это искусство, что зритель перерос „Залп «Авроры»“, что не доросли те люди, которые делают такое искусство... Почему я так нападаю на „Залп «Авроры»“? Потому что это антифильм. „Ленфильм“ показывал человека на экране, а не фигурантов».

Если в «ленинском» фильме режиссера И. Ольшвангера «На одной планете» Козинцева огорчило исполнение Смоктуновским роли Ленина, то идея режиссера вставить в фильм «Двенадцать» Блока привели почти в ярьость:

«Когда я вижу кадры, в которых на грузовик водружают распятие и он едет по улице, то есть прямую иллюстрацию „венчика из роз“, мне хочется просто швыряться стульями в экран, потому что для моего поколения „Двенадцать“ Блока было потрясением, и эти штуки из капустника мне отвратительны. Кажется, режиссер называет это „находкой“».

В 1994 году в только что переименованном на старый манер Ленинграде проходили спортивные Игры доброй воли. На стадионе им. Кирова, украшая, надо думать, «по-сент-петербургски» спортивный парад, на гаревую дорожку выехал празднично декорированный грузовик. В кузове атлетического сложения украшенный крыльями спортсмен, изображая ангела с Александровской колонны, держался за огромный крест. Крест раскачивался. То ли крест держал спортсмена, то ли спортсмен держал крест. Раскачивались готовые то ли к полету, то ли отвалиться плохо укрепленные на спортсмене крылья. Спортсмен держал лицо и удерживал крест. По телевизору показали счастливое лицо мэра и его команды, принимавших парад и приветствовавших «ангела» на гаревой дорожке.

Пошлость неистребима! Пока есть спрос.

Вернувшийся из Москвы директор «Ленфильма», бывший секретарь Василеостровского райкома КПСС, спешит «довести» до Григория Михайловича настоятельное пожелание тов. Б. В. Павленка, всесильного первого заместителя председателя Госкино, в ответ слышит: «Передайте товарищу Павленку, что я у него не служу».

Не служил народный артист Козинцев и министрам.

Давая разрешение на съемки «Гамлета», министр культуры Е. А. Фурцева просила Григория Михайловича снимать в цвете, «чтобы зрители видели затраты». Опять же, в цвете — красиво!

Козинцев спорить не стал, просто не внял мудрому совету министра.

А как же: «Были такие времена...»

Время для всех было одно, а держали себя люди по-разному, в том числе и кинорежиссеры.

«...Я не припомню случаев, когда мы (Козинцев и Трауберг. — М. К.) брались бы за материал по посторонним существам нашего дела — искусства кинематографии — причинам, когда нас принуждала к этому выгода или приказы».

Вот такое свидетельство, ни прибавить, ни убавить.

Ну а как же «народная мудрость»: «С волками жить — по волчьему выть»?

Но это «мудрость» стаи.

В «Рабочей тетради» записано, словно производственная заметка:

«С волками жить — по-волчьему выть».

Ни в коем случае.

Изо всех сил сохранять человеческий голос».

И записанное не теория, а прямо руководство к действию.

«„Мы все напишем так, — сказала мне журналистка, просившая интервью для «Литературной России», — что и волки будут сыты, и овцы целы“. — „Нет, — ответил я, — нужно, чтобы овцы были целы, а волки сдохли“».

Речь шла о молодых режиссерах».

«Феномен Козинцева», да простится такая терминология, заслуживает изучения и осмысления как опыт жизни и работы свободного человека в условиях *несвободы*.

На протяжении всей жизни Козинцев был верен заповедям своей юности, о чем писал Сергею Юткевичу. Чтить заповеди и принципы — одно, жить по заповедям, не изменять принципам дело другое.

«В самой атмосфере ФЭКСа, коллектива первых десятилетий моей работы заключалось глубоко важное: необходимость борьбы с рутинной и коммерческим некультурьем; была духовная чистота ненависти к денежным служебным интересам».

Видимо, именно здесь и находится причина разрыва с Траубергом: об эстетике мы еще бы могли договориться, об этике — никогда; разрыв делался все сильнее и сильнее».

Сегодня такая позиция не ко времени, скажем, не в моде. Но мода, как известно, по природе своей вещь не постоянная, и можно отнестись к этическому, скажем, консерватизму Григория Михайловича с пониманием, глядя в перспективу.

В цитированной выше вступительной лекции на режиссерских курсах Григорий Михайлович прочитал слушателям стихи Баратынского:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:

Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах: как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Почти «Памятник»: «...душа в заветной лире...» Такое вот высокое напутствие молодым на долгую дорогу.

В течение пятнадцати лет я видел на киностудии человека, благодаря которому, быть может, и через много лет не будет забыто слово «Ленфильм». Когда я видел его в студийных коридорах, мне казалось, что я вижу человека у горизонта. Видеть можно, приблизиться — нет.

Горизонт — воображаемая линия, удаляется по мере приближения к ней.

Вот уже много лет Григорий Михайлович Козинцев — мой современник, а теперь еще и человек за горизонтом. А удаляется он по мере приближения к нему лишь потому, что и по сей день открывает для тебя новое пространство, новые рубежи, зовет тебя к новым горизонтам...

Вера КАЛМЫКОВА

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ — КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

Статья третья. Драматургия. Действие

Написанное Брюсовым столь обширно, что ни он сам, ни его вдова и близкие, ни позднейшие ученые не сумели собрать и опубликовать его наследие. Не говоря уже о полном, академического толка собрании сочинений — до сих пор никто даже не отваживается за него приняться. И все же нельзя сказать, что Брюсов обойден вниманием. Его произведения по-прежнему публикуются и находят читателей. Блестящие работы о его творчестве написаны ведущими учеными XX столетия, научную биографию Брюсова создал Василий Элинархович Молодяков — мало кто из авторов Серебряного века представлен жизнеописанием такого класса.

Драматические произведения, о которых пойдет речь, подготовлены и опубликованы Анной Витальевной Андриенко, Николаем Алексеевичем Богомоловым, Сергеем Иосифовичем Гиндиным, Ольгой Константиновной Страшковой.

Но о Брюсове сколько ни говори — все мало: айсберг он и есть айсберг, и чем виднее кажется вершина, тем глубже оказывается подземная часть. И если его поэзию и прозу мы мало-мальски представляем себе, то драматургия — воистину *terra incognita*. Кстати, на театре она ставится редко.

Удивительно, как мастерски Брюсов использовал возможности каждого из литературных родов. Если представить их как три концентрические окружности, то центральной окажется лирика: предмет ее — отношения человека с самим собой. Дальше расположится драма, исследующая отношения человека и другого человека. Самое широкое кольцо составит эпос, показывающий взаимодействия человека и мира.

Лирика Брюсова с ранних лет основывалась на идее «все в жизни есть средство для ярко-певучих стихов»: гуттаперчевая душа поэта растягивалась до космических пределов и не знала хронологических рамок. Эпос, представленный романами и малыми прозаическими формами, сближавшимися с лирикой (да и темы зачастую были одними и теми же), изображал не только чувственно воспринимаемое и умопостигаемое: Брюсов-спирит был твердо убежден, что запредельные миры близко, надо только ключ подобрать, и трактовал как реальность сны, видения, предчувствия. Поэтому в его прозе рамки обыденного расширяются настолько, насколько позволяла фантазия автора.

Героям своих драм Брюсов оставил важную функцию — задавать миру вопросы, бросать ему вызов.

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

* * *

Для начала укажу, что не было на тогдашней русской театральной сцене ни одного крупного деятеля, который не ценил бы Брюсова, не обращался бы к нему за консультацией, советом, словами одобрения. Все началось со статьи 1902 года «Ненужная правда (По поводу Московского Художественного театра)», в которой Брюсов решительно восставал против метода Художественного театра К. С. Станиславского, чрезвычайно популярного к тому времени: «Для москвичей Художественный театр сделался каким-то идолом, они гордятся им и прежде всего другого спешат показать приезжему. <...> Художественный театр завоевал сочувствие толпы именно новаторством, нововведениями в обстановке, в игре актеров и смелостью в выборе пьес».

«Сочувствие толпы» для автора-символиста, в недавнем прошлом декадента (впрочем, зрелый Брюсов никогда не отрекался от установок молодости), конечно, приговор. Собственно, разбор он и начал с этой темы:

Что же такое Художественный театр? Действительно ли это сцена будущего, как иные его называли. Сделан ли им шаг вперед по пути к одухотворению искусства, к побеждению роковых противоречий между сущностью искусства и его внешностью? Простая вероятность говорит, что нет. Если бы Художественный театр ставил бы себе такие задачи, вряд ли он так быстро добился бы такого всеобщего признания. Успех свидетельствует о том, что Художественный театр дает зрителям не истинно новое, а подновленное старое, что он не посягает на укоренившиеся привычки театралов. <...>

Современные театры стремятся к наиболее правдивому воспроизведению жизни. Им кажется, что они достойно выполняют свое назначение, если у них на сцене будет все, как в действительности. Актеры стараются говорить, как в гостиницах, декораторы срисовывают виды с натуры, костюмеры кроют свои костюмы согласно с данными археологии. Несмотря на то, остается еще значительная доля такого, чего театры не умели подделать. Художественный театр и задался целью уменьшить эту долю. <...>

Прежде всего надо сказать, что эти нововведения очень робки. Они касаются второстепенного и оставляют нетронутыми основные традиции сцены. А пока не будут изменены эти традиции, составляющие сущность сценического представления, никакие видоизменения подробностей не приблизят театра к действительности. Все театры, а с ними и Художественный, стараются сделать все происходящее на сцене видимым и слышным. <...> Точно так же заботится Художественный театр, чтобы в зрительном зале были слышны все разговоры, ведущиеся на сцене. Если даже изображается большое общество, все же говорит только один актер. Когда заговаривает новая группа, прежняя «отходит в глубину сцены» и начинает усиленно жестикулировать. И это четверть века спустя, как Вилье де Лиль Адан в своей драме «Новый свет» отчеркнул скобкой две страницы и отметил: «все говорят сразу»!

Но если б Художественный театр и был смелее, все равно он не выполнил бы своих намерений. Воспроизвести правдиво жизнь на сцене — невозможно. Сцена по самому своему существу — условна. Можно одни условности заменить другими и только. <...> В Художественном театре актера впускают в маленькую прихожую, где он снимает шубу и ботинки, в знак того, что он пришел издалека. Но кто же из зрителей забудет, что он пришел из-за кулис! Чем условность снимания шубы тоньше той условности, что актер, выходящий слева, идет с чужбины?

То, что для современников было торжеством сценического реализма, для Брюсова — еще одна иллюзия в ряду традиционных, причем не самая лучшая. Для него ис-

кусство — *реальность среди других реальностей*, столь же правомочных; и создавать оно должно *эстетическую* правду, а не *иллюзорную*, что неизбежно возникает при аристотелевском подходе — подражании жизни и природе. *Условности* искусства *условны* лишь в одном случае — если критерием достоверности художественного создания мы выбираем жизненный аналог. Если же мы допускаем *особость* искусства, его параллельность обыденному миру, то тогда условность превращается в язык, на котором изъясняется... да-да, та самая душа художника, известная нам по брюсовским статьям о лирике. Кстати говоря, недаром чеканную формулировку задач искусства автор привел именно здесь, в «Ненужной правде»:

Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить себе свои тайные, смутные чувствования. Где нет этого уяснения, нет творчества; где нет этой тайности в чувстве — нет искусства. Художник в творчестве озаряет свою собственную душу, — в этом наслаждение творчеством. Знакомясь с художественным произведением, мы узнаем душу художника, — в этом наслаждение искусством, эстетическое наслаждение. Предмет искусства — душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея — это форма; образы, краски, звуки — материал. Каково содержание гётевского Фауста? — душа Гёте. Что же такое взятая им легенда о Фаусте и различные философские и нравственные идеи, объединяющие драму? Это — ее форма. А образ Фауста, Мефистофеля, Гретхен, Елены и все частные образы, наполняющие отдельные стихи, — это материал, из которого ваял Гёте. Подобно этому содержание любой скульптуры — душа ваятеля в те мгновения, которые он переживал, замышляя и создавая свое творение; сцена, изображенная в скульптуре, — ее форма, а мрамор, бронза или воск — материал.

Понятно, почему Всеволод Мейерхольд поднял брюсовскую статью на щит и буквально сделал ее краеугольным камнем своего метода. После посещения Брюсовым генеральной репетиции спектакля «Смерть Тентажиля» в 1905 году он признавался: «Обаяние ваших слов все еще витает в стенах нашего Храма, и мы ждем вас снова к себе с нетерпением». Один из представителей режиссерского управления студии Мейерхольда высказался даже конкретнее: «Слышать ваше мнение, ваши замечания праздник для труппы». Спустя пару лет, читая книгу прозы Брюсова «Земная ось» (туда была включена и драма «Земля»), Мейерхольд продолжал еще более решительно: «Вы должны отдать частичку себя Театру. Это будет очень важно для Русского Театра, который без кормчего».

Заметим мимоходом — в пику тем, кто любит мусолить идею «вождизма» Брюсова: Мейерхольд, сам прирожденный лидер, ждет от Брюсова именно того, чтобы тот — встал у руля современного... театрального процесса.

А что же Станиславский? Наверное, смертельно обиделся на «Ненужную правду»... Отнюдь. «Помогите нам вашим советом и не откажитесь посмотреть нашу работу перед тем, как показывать ее публике», — этот тоже 1907-й, речь идет о спектакле «Драма жизни» по пьесе Кнута Гамсуна, этапной постановке Станиславского, над которой он работал два года.

С Верой Комиссаржевской, легендарной Комиссаржевской, театрального кумира тех лет, Брюсова связывали глубокие личные отношения. «Федра» Расина шла в Камерном театре Александра Таирова в переводе Брюсова, и «чувственный» текст помог Алисе Коонен блистательно выступить в главной роли. «Термин „театр будущего“ повторяют, даже не зная, что он появился благодаря лекции Брюсова „Театр будущего“ (1907)», — писала Анна Андриенко.

* * *

Что же это за концепция «театра будущего»?

Что искусство, по Брюсову, — специфическая реальность и что оно существует как воплощение или, говоря чуть проще, проекция души художника на тот материал для творчества, который поставляет мир, видно не только по статье «Ненужная правда», но и по другим сочинениям. Пять лет спустя Брюсов активно разрабатывал еще одну линию, заявленную еще в ранних эссе: *искусство — метод познания*.

Задача искусства — познание. К этой цели искусство стремится путем сокращения действительности. Искусство ни в каком случае не воспроизводит действительности в ее целом, но лишь выбирает и подчеркивает отдельные стороны ее.

Редукция жизненных явлений — раз, преодоление, как мы только что выяснили, иллюзорного жизнеподобия — два. Но ведь театр не может, как кажется, не быть иллюзорным, потому что актер — человек, его тело, его голос не могут избежать *смешения* с жизнью. Здесь включается Брюсов-теоретик искусства, автор идеи о содержании, форме и материале искусства:

Разъяснить эти противоречия возможно, только признав, что разыгрываемые артистами перед зрителями сцены еще не есть самое искусство театра, но лишь материал его. Артисты, декорации, вся сценическая обстановка для театра то же самое, что для скульптора мрамор, для художника краски и холст. Театр, как и другие искусства, не имеет притязания сосредоточить внимание зрителя сразу на нескольких сторонах видимости. Подобно тому как, рассматривая скульптурное произведение, мы воспринимаем только его форму, забывая не только о его весе, но, большей частью, даже о его окраске, — так в театральном исполнении мы должны забыть, должны отвлечься от всех других сторон видимости, кроме одной, на которой и сосредоточено внимание драматурга. <...> Содержанием драмы являются не сами по себе зрительные образы, получаемые нами со сцены, и не речи, произносимые актерами, но причинная связь изображаемых ими действий. Скульптуре — формы, живописи — линии и цвета, лирике — настроения, эпике — события, но действие, непосредственное действие — остается уделом только драмы.

Здесь Брюсов шел за Аристотелем и сам это признавал. Восставал он против другого — концепции театра в частности и искусства вообще как сферы услуг, нужной лишь как увеличительное стекло или зеркало для укрупнения голых жизненных явлений или акцента на них:

И мечтая о будущем театре [о театре будущего], хочется прежде всего надеяться, что он перейдет, наконец, исключительно в руки поэтов, в руки художников. Только действительно художественные создания, служащие великим целям искусства, достойны того, чтобы быть воплощенными на сцене. И напротив, целые классы разнообразных произведений, заполняющих современный театр, должны быть решительно отвергнуты. Так, должны быть отвергнуты обычные в современном репертуаре драмы тенденциозные, драмы, развивающие какой-либо тезис. <...> Рядом с тенденциозными драмами должны быть отвергнуты драмы бытовые, вроде, например, драм Максима Горького, как противоречащие самой сущности искусства. Пытаясь представить перед зрителями как бы кусок жизни, они ставят зрителя опять лицом к лицу с действительностью, с тем хаосом впечатлений, из которых иску-

ство должно было сделать свой выбор. Представим себе, что драматургу-реалисту в самом деле удалось бы (что, конечно, невозможно) сфотографировать действительность и что перед зрительным залом в самом деле словно упала бы стена одного из домов, за которой кипит жизнь. Что увидали бы зрители, кроме того, что видят ежедневно не идя в театр? Какую помощь в понимании, в познании действительности оказал бы нам театр? В подобном случае художник исчез бы, превратившись в простое [прозрачное] белое стекло, стоящее между зрительным залом и жизнью, а вместе с художником исчезло бы и искусство. Бытовые драмы могут быть полезны в той же мере, как стенные объяснительные таблицы в школах <...> По другой причине должны быть отвергнуты драмы настроений, каково большинство драм Чехова. Настроения души полнее и сильнее умеет передавать лирика и музыка. Чтобы воспринять настроение с театральной сцены, надо стараться забыть образы актеров, надо пытаться не замечать тысячи мелочей, отвлекающих внимание. Настроение по самому своему свойству интимно и неподвижно; в театре все внешне, все приспособлено к движению. Нет сомнения, что сильный талант может преодолеть эти трудности, сумеет даже в формах драмы передать нам лирическое волнение, как это и делает порой Чехов. Но это значит — пользоваться театром для меньшего, чем то, на что он способен.

Творчество драматургов-символистов, казалось бы собратьев, Брюсов так же безоговорочно не пустил бы в театр будущего. Итак, что он отвергал — понятно. Какова же его, говоря современным языком, позитивная, созидательная программа?

Истинное содержание драмы — в действии; но никакое действие, никакое сцепление ряда действий не может соответствовать отвлеченной идее. Это величины несоизмеримые, и никогда ни из одной истинно великой драмы нельзя вывести какой-нибудь философской, моральной или общественной сентенции. Законным властителем сцены остается и должен остаться тот род драмы, который нашел себе высокое воплощение у Шекспира, у Кальдерона, у Гете, у Пушкина. Эту драму нельзя назвать реалистической в том смысле, в каком мы применяем это название к драмам Максима Горького, потому что она не задается целью изображать действительность, но только пользуется иногда таким изображением как средством. Но эту драму и можно назвать реалистической <...> так как содержание ее будет иметь значение и будет важно само по себе, а не как символ, не как прообраз чего-то иного, что предстоит разгадывать уму. Драматург будущего, как и истинные драматурги прошлого, как еще Эсхил, Софокл или Калидаса, сосредоточит свое внимание и внимание своих зрителей на «едином в себе законченном действии», стремясь вскрыть причинную связь поступков людей, а вовсе не нарисовать картину нравов или доказать какое-либо отвлеченное моральное или политическое положение.

Так вот в чем дело: *действие драмы — это причинная связь поступков людей*. Вскрывающая и разворачивающая ее, драматург и становится в ряд достойных учителей человечества. Это, а не что-либо другое составляет, с точки зрения Брюсова, предмет театрального искусства. Вот какой опыт зритель получит, посмотрев спектакль, выполненный на любом, ничем не ограниченном уровне условности.

* * *

Нельзя сказать, будто Брюсов не отдал дань эпохе и не попробовал себя в «реалистической» или «символистской» драме. Разумеется, попробовал, и еще как. К 1893 году относится группа пьес, посвященных новой литературе (которая, заметим, еще только

нарождалась в России) и новой литературной ситуации (едва намечавшейся). «Дачные страсти», «Проза», «Декаденты» — оттенок иронии сопровождает героя, нового поэта, его образ смоделирован как бы глазами собирательного зрителя, привыкшего к художнику иного типа. Финдесьекле (буквально Концевеков, от французского *Fin de siècle*) из «Дачных страстей» смешон со своими ходульными поэтизмами; правда, издевающееся над ним общество — отвратительно. Владимир Александрович Даров из «Прозы» под нажимом родных готов отдать гонорар, полученный за публикацию романа (роман-то, стало быть, не так плох!), чтобы по желанию жены оплатить аренду дачи на лето, вместо того чтобы исполнить заветную мечту — издать свои стихи. Финал пьесы, кстати говоря, отчетливо «антипушкинский»:

Петр. Ник. <...> Дачку я вам уже высмотрел. Самое поэтичное место. Я буду приезжать к вам по праздникам, да и погостить заверну.

Даров. А как же мои стихи?

Петр. Ник. Ах, должны же заботиться о жене. Мы не для того ее за вас выдавали, чтобы она счастливого дня не видала. Наконец, зачем вам издавать свои стихи? Их никто не поймет; вы их сочиняли не для публики, а для себя, так и читайте их сами.

Даров. Да, вы правы. (*Рвет рукопись.*)

Талья. Ай, что ты сделал!

Петр. Ник. Пойдите, пойдите, может быть, рукопись можно продать?

Даров. Нет, никто ее не покупает. А теперь поедимте смотреть дачу, а, кстати, и тебе на платье, Талья.

Талья. Ах, милый!

Название пьесы двойко: с одной стороны, это «проза жизни», с другой — пресловутый роман, принесший молодому автору некоторый материальный достаток. В пьесе «Декаденты (Конец столетия)» конфликт интереснее и глубже. Поэт Ардые любит Лили, но ее отец Тиссо не желает, чтобы дочь связывала свою жизнь с декадентом. Любовь, как в «Прозе», торжествует, и герой готов отказаться от искусства:

Тиссо. <...> если вы можете писать только странные, непонятные произведения — это показывает, что они не из глубины души. Вам никогда не написать стихотворения, полного чувств.

Ардые. Может быть, я сумею разубедить вас. Вот томик моих последних стихов. Здесь я откинул все эти украшения символизма — эти стихи просты, как народные песни. Прочтите, может быть, они заставят вас переменить мнение обо мне. Простите, что я осмелился назвать этот сборник «Свадебная корзинка».

Тиссо. Я верю вам на слово. Но этого мало. Вы должны принести большую жертву. Что в настоящее время представляет ваше имя? Позорище всей Франции. Ваша известность достойна сожаления. Я требую, чтобы вы забыли все прошлое — порвали все прошлые знакомства и связи. Вы должны отказаться от своего звания вожака декадентов; больше того, вы должны отказаться от своей декадентской поэзии.

Ардые. Господин Тиссо, вы требуете, чтобы я свои мысли подчинил вам!

Тиссо. Почти. Я скажу вам вот как: вы не должны писать... нет, не должны печатать ни одного декадентского стихотворения.

Ардые. Ведь я живу этой поэзией! До сих пор если я знал истинное счастье, так именно за своим письменным столом!

Тиссо. Вы можете писать в другом роде, я не могу отдать свою дочь декаденту.

Позиция Тиссо, заядлого читателя и любителя литературы, далеко не так однозначна, как точка зрения какого-нибудь обывателя. Тиссо упрекает Ардые в «бесчувствен-

ности» и «холодности» его поэзии — кстати говоря, в будущем зрелый и признанный Брюсов не раз получит как раз эти упреки, — и возникает ощущение, будто пиши Ардые чувствительные стихи, отец дал бы согласие на брак. Но сцена так напряжена и динамична, что мы не обращаем внимания на эту фразу.

Однако в «Декадентах» победа Тиссо-ретрограда временна: отказавшись было от поэзии и вкусив радостей жизни с любимой, Ардые вновь возвращается к себе самому, Лили оставляет его, а Тиссо... благословляет поэта, превращаясь из антагониста в учителя:

Ардые. <...> Куда мне идти? Ведь я один, я не вижу своей дороги.

Тиссо. Учитесь! Да! Не смотрите так удивленно. Вам недостает знаний, серьезной подготовки к работе. Вы бросаетесь из стороны в сторону. Вы ищете своего пути и у вас нет помощников, чтобы найти его.

Ардые. Нет, Тиссо! Мне кажется, в моей душе воскресают новые силы. Вы действительно возвращаете мне жизнь.

Тиссо. У вас есть гений — и это предстоит вам. Я ошибался, когда требовал от вас отказаться от декадентства. Это только внешность, вам же надо преобразить вашу душу. Откажитесь не от декадентства, а от ваших ошибок, от желания быть странным, от постоянной погони за минутной славой. Верьте. Поймите, что счастье все в вас. Если мир уклоняется с прямой дороги, старайтесь твердо идти по ней, а не забегать вперед других блуждающих. Главное же пишите просто и искренно. Не насилюйте своего воображения, не извращайте своей души, пишите как хотите, будьте декадентом в стихах, если это вам нужно, но пишите то, что вы чувствуете, и с вашим талантом вы совершите свое дело!

Удивительно, как Тиссо, которого мы, ранее пропустив (по обычной читательской инерции) сказанное о поэзии Ардые, оказывается... героем-резонером, полностью выражающим авторскую позицию Брюсова! Тиссо и Ардые — две стороны, две грани одного и того же образа — *автора*, которого нет в списке действующих лиц. Справедливости ради нужно сказать, что ходульно-эпатажным Брюсов никогда не был, но мечты о славе и быстром скандальном успехе все-таки кружили ему голову; Тиссо же — словно гость из будущего, тот Брюсов, который уже пророс из себя самого в начале 1890-х годов, но вполне раскрылся ближе к концу десятилетия. «Вам недостает знаний, серьезной подготовки к работе»; «У вас есть гений»; «вам же надо преобразить вашу душу»; «пишите то, что вы чувствуете»... — эти слова Брюсов явно обращал к себе.

* * *

Опыт реалистической драмы для Брюсова оказался удачным, во всяком случае, в плане самопознания. Символистская драма — другое дело: здесь главным было создать настроения, передать неуловимые ощущения, но не путем ассоциативного обогащения словесного образа, а с помощью действия. В пьесах «Красная шапочка» и «Урсула и Томинета» (1895), написанных под очевидным влиянием Метерлинка, Брюсов пытался коснуться непознаваемой стороны бытия. В «маленькой драме для марионеток» престарелая тетюшка Томинета перед смертью слышит «шаги умерших» и видит давно покойного возлюбленного Такелэна. Итог подводит Плотник со своими меланхолическими замечаниями: «Я ведь твердил вам, что вам нужно бы мебель из лучшего дерева. Ваша слишком полна воспоминаниями. Скажите, тетя, ведь вам нужен хороший гроб, чтобы не слышать вашими старыми ушами то, что происходит у нас?»

Символистская драма оставила в брюсовской драматургии важнейший мотив — смерти. Как в пьесах Гоголя смех почти является главным действующим лицом, так и у Брюсова подразумевается постоянное присутствие смерти, которая, кажется, стоит в нескольких шагах от персонажей. Мотив этот — едва ли не самый ранний, он появился раньше стилизаций в духе Метерлинка: уже в «Учителе» (1891–1892), драме по евангельским мотивам, смертность человека связывается с любовью ко всему человечеству с одной стороны, с творчеством — с другой и с человеческим достоинством — с третьей. Алэт, пророк Любви, отторгнут своей семьей, у него нет близких, он любит «из ничего», проповедует единого Бога и единство человечества.

Проба человека *на излом*, развитие действия в чрезвычайных обстоятельствах, внешних или внутренних, характерно и для лирики, и для прозы Брюсова. Надо сказать, что во многом он опирался на античную драматургию, преимущественно трагедию. Сильные характеры, горящие страсти, эффект катарсиса — все это пионеру русского модернизма оказалось близко. Это очень заметно в ранней пьесе «Каракалла», где *заглавный* герой вовсе не является *главным* двигателем сюжета: в роли такового выступает любящая Каракаллу Атра, он же — скорее, объект воздействия, чем центральный персонаж.

* * *

Незадолго до Первой мировой войны Брюсов задумал издать полное собрание сочинений в 25 томах. Вышло восемь: четыре тома поэзии, два тома с романом «Алтарь победы», один том переводов и еще один — драматургия. В него автор включил следующие произведения: «Земля» (сцены из будущих времен), «Путник» (психодрама в одном действии, 1911), «Протесилай умерший» (трагедия с хорами, 1913), переводы «Амфитриона» Мольера и драмы «Пеллеас и Мелизанда» Метерлинка. Перед нами отчетливо выраженная авторская воля касательно трех оригинальных пьес.

Сюжет «Путника» ничтожен: некая девушка по имени Юлия, живущая с отцом в лесном уединении, остается на ночь одна и испугана стуком в ворота; после некоторых колебаний она впускает в дом немого путника, замерзшего и голодного; неожиданно она раскрывает перед ним веер своих надежд и ожиданий от жизни. Пока Юлия говорит, юноша умирает. Действие психодрамы состоит фактически только из монолога героини.

«Протесилай умерший» значительно сложнее. В основу положен эллинский миф о Лаодамии, ставшей символом супружеской верности. Сначала брюсовская Лаодамия не верит, что ее муж, царь Протесилай, действительно погиб в бою у Трои. Но ей представлены бесспорные доказательства, и она должна вновь выйти замуж — необходим новый владыка-мужчина, хотя Лаодамия вполне справлялась с задачами правления в отсутствие мужа. Она обращается к Заклинательнице, и та вызывает Протесилая из Тартара. Но царь не рад временному избавлению и не хочет посмертной славы: его гнетет пережитый загробный ужас и мучает мысль о возвращении в царство мертвых. Лаодамия говорит, что готова расстаться с жизнью, чтобы в Тартаре соединиться с мужем. Тогда наступает катарсис:

Протесилай.
Я чувствую блаженство беспредельное.

Лаодамия.
Мы победили Тартар и как боги мы!

Вновь основной двигатель сюжета — выбор женщины.

Самая «мужская» пьеса Брюсова, пожалуй, — драма «Земля». Здесь действуют и принимают решения только мужчины, а женщины живут любовью или фанатично исполняют волю мужчин. В 1907 году, когда вышла книга прозы «Земная ось», в которую вошла «Земля», Александр Блок написал в рецензии:

Драма «Земля» называется «сценами будущих времен». Земля обращена в гигантский город, о котором Брюсов мечтал уже давно:

Огромный город — дом, размеченный по числам,
Обязан жизни — машина из машин —
Колесам, блокам, коромыслам, —
Предчувствую тебя, земли желанный сын!

Воздух, свет, вода доставляются искусственным путем, системой машин, приводимых в движение центральным огнем. Но земля стынет, вода в бассейнах иссякла, последние люди в отчаянье не видят исхода. Только один из них, решаясь подняться на головокружительную высоту городских этажей, увидел сквозь стекла крыши «кроваво-огненный победный шар» — Солнце. С учителем своим — мудрецом — он спускается в «Зал первых двигателей», к центру Земли и поворачивает колесо, которое стояло неподвижно века. Движением колеса разверзаются все крыши последнего города, и сноп солнечного света врывается в залу. «И медленно, медленно вся стихнувшая зала обращается в кладбище неподвижных, скорченных тел, над которыми из разверстого купола сияет глубина небес и, словно ангел с золотой трубой, ослепительное солнце...»

Интрига в том, что мудрец Теописки с самого начала знает: если поднять купол, человечество погибнет, поскольку за пределами купола земной атмосферы нет, она рассеялась. Знает об этом и ученик мудреца Катонтли (от него всю правду узнает и читатель), но не рассказывает даже жене. Причина носит чисто этический характер:

К а т о н т л и . Учитель хотел, чтобы человечество вместо позорной дряхлости узнало гордую смерть. Он хотел, чтобы конец его был красив. Он хотел, чтобы не вырождение совершило свою казнь над людьми, а что бы они сами были своими добровольными палачами.

Мечта мудреца сбылась: человечество погибло в апогее надежды на новую прекрасную жизнь. Люди увидели вожденное Солнце — и умерли от удушья, не успев растерять ощущения победы над жалким уделом замкнутых под куполом, обреченных существ. Действие драмы ведет к торжеству идеала человеческого достоинства. В него входит, между прочим, и труд, в этой ситуации, то есть перед лицом неминуемой гибели, совершенно бессмысленный; однако мудрец говорит: «Не презирай работы. Работа — прекраснейшее, что есть на Земле. Человек, который трудится, являет всю красоту своего тела; который трудится для других — и всю красоту души».

Брюсов не был бы Брюсовым, если бы не упомянул одну из важнейших творческих ценностей — и если бы хоть один из его персонажей не подумал о будущем, о *потом*, которое наступит после человечества, о возможных во Вселенной других существах, которые, возможно, найдут останки планеты и захотят узнать, что же произошло. Катонтли кладет завершенную рукопись на видном месте: «Вот пишу последнее слово. Пусть лежит здесь эта рукопись. Если когда-либо житель иных миров посетит нашу Землю и войдет в этот покой, вот эти листы расскажут ему все о последних

днях Земли». Смерть вовсе не пугает молодого ученого, последние минуты он проводит с возлюбленной:

К а т о н т л и . Нет, я хочу провести эти часы с тобой. Дай мне посмотреть на тебя. Не забыла ты, как — уже давно теперь — мы встретились в первый раз? Помнишь, на праздник в Зале Народов? Как рассказывается в старых книгах, я тоже почувствовал сразу, что вся моя жизнь с этого мига — в тебе. Сердце мое сжалось какой-то прямо телесной болью. И, против моей воли, во весь тот праздник, куда бы ты ни шла, мои глаза следили за тобой. Я ловил себя на этом и смялся.

А т л а . А я тебя боялась. Мне сказали, что ты — ученый, и мне все казалось, что я говорю с тобой не так. А потом мы гуляли вдвоем по галереям третьего этажа. А потом ты меня поцеловал в первый раз, я помню хорошо, у статуи Свободы. А еще потом...

К а т о н т л и . И знаешь, в те наши дни, при всем моем блаженстве, что ты — моя, я не любил тебя так, как теперь. Тогда я любил тебя именно за это блаженство, за счастье страсти, которое ты давала мне... Ах, тогда я ужаснулся бы твоей смерти! Я отдал бы все, все, только, чтобы ты жила. Теперь я люблю тебя чище, совершенней. Теперь я люблю тебя за тебя. Теперь моему чувству все равно, жива ты или нет. Теперь моя любовь выше смерти.

Такая любовь также выражает человеческое достоинство и знаменует полную победу над смертью.

* * *

«Земля» не предназначалась для сцены, и все попытки поставить ее не увенчались успехом. При создании текста Брюсов вернулся к милой его сердцу античности, правда, не к драматургии, а к жанру философских диалогов. И «Земля» — пример применения этого жанра в новой литературе: здесь каждая фраза насыщена внутренним действием, эмоции большинства персонажей накалены, читатель захвачен ходом их размышлений едва ли не в большей степени, чем событиями пьесы, не такими уж и скучными, кстати говоря.

Так Брюсов соединил в одном произведении элементы всех течений, которые исследовал: здесь и реалистическая драма с психологическими и даже социальными противоречиями (пусть ситуация перенесена в далекое будущее), и символическая — с очевидным присутствием неведомого, и, разумеется, научно-фантастическая линия, занимавшая Брюсова на протяжении многих лет.

Но в результате появилась пьеса, в 1900-е не знавшая себе равных по жанру. Конечно, не будь Метерлинка, Гамсуна, Верхарна, французских поэтов-символистов, а с другой стороны — античных мифов и драматургов Эллады, вряд ли такая форма родилась бы. Но все они были усвоены и освоены Брюсовым; в результате перед нами — вероятно, первый в мире образец «драмы идей», традиционно закрепленной за Бернардом Шоу и его последователями.

Немного дат из истории литературы. Как известно, Шоу начал выступать как драматург с 1892 года, однако первые пьесы, «Дом вдовца» и «Профессия миссис Уоррен», как и несколько последующих, написанных в остросатирическом ключе, еще вполне типичны для своего времени. Новаторский авторский метод Шоу сформировался к концу 1900-х годов. Но ведь брюсовский замысел «Земли» относится к 1890 году! Понятно, что воплотить его было не под силу 17-летнему автору, однако и 1904–1905 годы, когда Брюсову исполнилось тридцать и он находился в расцвете популярности

и творческих сил, — все равно намного раньше, чем зрелые вещи Шоу, тем более драматургия французского экзистенциализма. Было бы забавно подсчитать, на какое время Брюсов с «Протесилаем умершим» опередил Жана Жироу...

Словом, и здесь Брюсов — культурный герой русского модернизма как новатор.

* * *

Фантастический элемент и в прозе, и в драматургии Брюсова обеспечивает, безусловно, дополнительный читательский интерес. Но если вернуться к теоретическим положениям «Ненужной правды», то для автора создание образа будущего служебно и относится к области формы художественного произведения. Что же насчет содержания?

В «Земле» главная художественная идея — человеческое достоинство, которое важно *сохранить само по себе, при полном отсутствии стороннего наблюдателя*: нет никого, кто мог бы оценить нравственный подвиг персонажей. Может быть, когда-нибудь некие пришельцы... но ведь это лишь зыбкая надежда Катонтли.

Вокруг центральной идеи в пьесе вертятся все размышления персонажей. Если логика мудреца Теописки и его ученика Катонтли нам уже понятна, то третий персонаж, Теотль, до сих пор оставался в тени, а ведь он важен. Нравственная победа остается за Теописки и Катонтлем, а вот моральная — за Теотлем: он с самого начала не верил в возможность выживания для землян и требовал от своих сторонников, чтобы они умерщвляли тех, кого определял жребий, пусть это даже были их близкие. Мудрец умер раньше, чем поднялся купол, и даже перед смертью не раскрыл тайну: его предсмертные сообщения — не прямые высказывания. Напротив, Теотль, с самого начала ратовавший за постепенный уход людей в мир иной и получающий в финале то, о чем не мог и мечтать — одновременную кончину всех жителей Земли, — переходит, согласно своим верованиям, в область всеобщего воссоединения:

Теотль (*молитвенно*). Вижу твой исполинский лик, о, Смерть! Он смотрит на меня пристально. О, блаженство, что вижу твое торжество! Вот ты возносишь на нас все мощную руку. Рази! Искуplen грех разъединения. Ликует душа, предчувствуя последний миг. Солнце, солнце! Твои лучи не прожгут того мрака, в который ринусь я! (*Штатается, хватаясь за грудь.*)

Образ человека у Брюсова настолько широк, что сказанные мудрецом слова: «Если я недаром был среди вас, вы исполните мой единственный завет: останетесь людьми, в великом значении этого слова» — можно трактовать и как «останетесь различными, неоднозначными, внутренне непохожими друг на друга». Минимум три «истины» (мы сказали бы «правды», но Брюсов говорил о множественности *истин*) — Теописки, Катонтли, Теотля — торжествуют в драме, равные друг другу по эстетическому и этическому послы.

* * *

Художественная идея одной из наиболее значительных драм Брюсова, «Диктатора» (1921), запрещенного советской властью — хотя действие и здесь происходит в будущем, — еще шире, чем в «Земле». Природа стремления к власти и вопрос личностной деформации, неизбежной, когда человек получает всю полноту управления другими людьми, в пьесе раскрыта настолько широко и глубоко, что оторопь перед текстом вполне понятна. Брюсов осуществляет акт художественного познания, посте-

пенно размышлявая установки диктатора Орма и всего лишь доводя каждую до логического предела. Интересно, что в начале пьесы нет ни одного монолога, в котором диктатор излагал бы свою позицию, оправдывал бы постепенное возвышение и борьбу с инакомыслием: обо всем мы узнаем из реплик его антагонистов. Когда же Оорм наконец говорит, его тезисы выглядят безупречно с точки зрения *общего блага землян* — но только если не принимать во внимание то, о чем читатели-зрители уже узнали от других персонажей:

О р м . Здесь говорили, что кризис вызван моей политикой. Какое наивное обвинение. За веком век, за годом год земля истощалась, а ее население возрастало. Более медлить нельзя. Голод во всей Америке. Азия не может прокормить себя. Население Африки волнуется. Австралия переполнена. Здесь, в Европе, нет больше места, чтобы жить. Даже Антарктида, — и та опустошена ради удовлетворения наших нужд. Все, что можно было выжать из нее, мы извлекали из этого материка: растапливали ледники, добывали руды металлов, строили заводы. Изменение климата позволило превратить область Южного полюса в цветущий край, поставивший нам продовольствие. И вот наступил миг, когда уже и эта плохо известная нашим предкам часть суши дала нам все, на что была способна, и теперь стремительно превращается местами в пустыню, гораздо худшую, чем тогда, когда на нее не ступала нога человека. Каждый из нас должен работать вдвое и втрое больше, что сто лет назад. Между тем есть мир — и мир доступный нам, мир девственный, богатый, изобильный всем, — где условия жизни почти те же, что и на Земле. Я предлагаю обратить планету Венеру в колонию Земли. Венера может принять треть земного населения, которое будет там благоденствовать. А оставшимся на старой Земле станет свободно, как было пятьсот лет назад. Примите мой проект, приведите его в исполнение, и вы на тысячи, на десятки тысяч лет избавите человечество от страшного призрака вымирания. Вы откроете возможности новой жизни, спокойной, полной довольства, где труд вновь станет радостью, а досуг будет отдан разуму — науке, искусством!

Маленькое *но*: в ходе колонизации население Венеры (мы помним, что перед нами фантастика) почти неминуемо погибнет. Но об этой нравственной дилемме Оорм даже не упоминает — что, разумеется, свидетельствует: изменения внутри него необратимы, он утратил *человечность*.

Если для Орма *цель оправдывает средства* в плане уничтожения жителей целой планеты, то любящая его ясновидящая Лэр руководствуется той же формулой — но совершенно в другом плане.

О р м . Оставь старые бредни.

Л э р . Ты слишком хорошо знаешь, что это истина. Оорм, ты погиб.

О р м . Но ты сказала, что пришла спасти меня.

Л э р . Да, спасти от позора.

О р м (*гордо*). До этого еще далеко.

Л э р . Твой остров окружен. Через час ты будешь в плену.

О р м . Лжешь! Уходи, или я прикажу арестовать тебя.

Л э р . Прикажешь? Кому? Кто станет тебе повиноваться? Все уже знают, что ты обречен.

О р м . У меня еще достаточно власти, чтобы справиться с одинокой женщиной!

Л э р . Оорм, я — не женщина, я — твой брат в тех сферах, куда ты дерзнул заглянуть и от которых отрекся. (*Торжественно.*) Я любила тебя, Оорм. Я не позволю тебе узнать позор казни через палачей. Ты должен умереть от моей руки.

Орм. Проклятая колдунья! Прочь! Я не боюсь тебя! *(Внезапно.)* Но слушай... Пропеллер! Это... *(Радостно.)* Это — австралийский аэронеф! Это спасение! Это — победа!

Лэр. Вглядись хорошенько, что это за корабль!

Орм *смотрит на высоту. Лэр стреляет в него из пистолета. Орм падает. На выстрел вбегают Ига и стражи.*

Ига. Что здесь? Орм убит? Измена!

Лэр. Нет! Спасение! Орм! Орм! Я спасла тебя! *(Падает, рыдая, на труп Орма.)*

Решающее действие вновь предпринимает женщина, ставящая таким образом жирную точку в развитии сюжета. И заметим, вновь, как и в «Земле», речь идет о сохранении достоинства — неважно, что отдельного человека, а не целого человечества.

* * *

И в лирике, и в прозе, и в драме Валерия Брюсова постоянно звучит одна и та же тема — человека, его величия и достоинства, которое надо защищать, несмотря ни на что. От знаменитого «Будь прославлен, Человек!» («Хвала Человеку», 1909) до «Я не позволю тебе узнать позор...», если вдуматься, всего один маленький шаг. Смерть волновала Брюсова не как *уход из жизни*, но как *итог жизни*. Недаром его последние слова были: «Мои стихи...»



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Елена ТРАВИНА

ОБРАЗ ФИНЛЯНДИИ В ЗЕРКАЛЕ ЖУРНАЛА «НИВА» (1870–1918)

По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца...

А. С. Пушкин. Медный всадник

Страна молодая, просыпающаяся, — страна будущего. В прошлом у нее только детские странные сказки и саги детства.

П. П. Гнедич. Новелла наших дней.

Нива, 1906, № 9

Великое княжество Финляндское, прошедшее несколько русских завоеваний и включенное в Империю на правах автономии, на протяжении первой половины XIX, а тем более всего XVIII века, редко вызывало интерес у просвещенной российской публики. С легкой руки редких путешественников, чиновников генерал-губернаторства да офицеров тамошних гарнизонов расхожими фразами стали «бедная страна», «суровая природа», «неприхотливый народ». Самой часто цитируемой фразой

Елена Михайловна Травина родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет, кандидат философских наук. Сфера интересов — изучение истории дачных поселений Карельского перешейка начала XX века в рамках local history. Автор ряда книг и публикаций по данной теме. Лауреат премии журнала «Нева» за лучшую публикацию 2009 года в номинации «Публицистика».

стали слова А. С. Пушкина про «приют убогого чухонца». И казалось, что точка поставлена окончательно и можно забыть про север с его «немногословным» и «неприхотливым» народом и мечтать только о ярком юге и экспансивных итальянцах. Но север оказался не так прост. В годы романтизма последней трети XIX века он зачаровывал и манил красотами своей «дикой природы», а затем, в годы либеральных надежд, — энергией народа, который строит свою судьбу.

Эволюция образа Финляндии прослеживается в литературных произведениях того времени, а также на страницах периодических изданий. Наиболее репрезентативно такое изменение можно проследить на примере журнала «Нива». Во-первых, этот журнал охватывал почти полувековую и непрерывную историю издания (декабрь 1870 — сентябрь 1918). Во-вторых, это был общенациональный и практически общедоступный журнал для среднего класса с небывалым для России числом подписчиков (250 000 человек в 1904 году). Он одновременно и отвечал запросам своих читателей, и формировал общественные настроения.

Конечно, надо иметь в виду редакционную политику: «Нива» была детищем своего времени, когда на карте мира образовывались новые национальные государства и понятие «национального» было той базой, на которой должны были строиться политика, экономика и культура. Поэтому, рассказывая о других странах и народах, авторы «Нивы» пытались найти то самое «здоровое» национальное ядро, вокруг которого будет строиться новая жизнь. Финляндия в этом смысле для российского читателя была некоей экспериментальной площадкой, на которой из «приюта убогого чухонца» вырастал красивый, удобный, чистый город со справедливыми законами и трудолюбивым, образованным и патриотично настроенным населением. Если получается в Финляндии, почему не получится в России? Идеальная картинка, конечно, но это же было время героев Жюль Верна...

Журнал «Нива» был совершенно новым явлением среди периодических изданий своего времени. Издатель А. Ф. Маркс задумал его как практически первый российский иллюстрированный журнал для семейного чтения. Правда, вышел он, отстав от подобных изданий в Европе почти на 30 лет. Первой в мире иллюстрированной еженедельной газетой (а позднее журналом) была «The Illustrated London News», которая издавалась в Лондоне с 1842 года. По этому подобию в качестве лицензионного издания в 1843 году была создана «Illustrirte Zeitung», а с начала 1869 года (всего на два года раньше «Нивы») в Петербурге стала выходить «Всемирная иллюстрация» Германа Гоппе. Но несмотря на отставание по времени от европейских изданий, «Нива» не только прочно утвердила свое лидерство среди периодической печати в России, но и стала на равных в ряду европейских. При этом некоторые ее художники (как, к примеру, Густав Бролинг) работали сразу на нескольких работодателей, предлагая конкретные сюжеты, которые могли заинтересовать публику в Англии, Германии, Швеции и России.

Интересное и познавательное чтение для себя мог найти в «Ниве» и глава семьи — чиновник, и его супруга, участница многочисленных дамских кружков, и дети — студенты или гимназисты. Историческое развитие народов, политическое устройство различных государств, королевские дома и визиты коронованных особ, войны и мятежи, географические особенности той или иной страны с их природными красотами, архитектурные достопримечательности, повести, рассказы, стихи и раздел «Смесь» — все это было на страницах «Нивы». А кроме того — большое число иллюстраций: портретов исторических и государственных деятелей, картинок из жизни разных народов, бытовых зарисовок, фотографий городов, фотоотчетов со Всемирных выставок и прочее, и прочее.

Особое внимание редактор уделял страноведению и рассказам о жизни разных народов, живущих и в России, и в других государствах. Среди этих народов особое место занимали финны как народ, хотя и живущий по соседству, но отличающийся от остального населения России. Великое княжество Финляндское, формально вошедшее в Российскую империю в результате завоеваний, имело свой язык, органы управления, финансовую систему, национальную литературу и искусство. Это было необычно для других народов империи, административно включенных в систему губерний, и это необходимо было отразить для понимания места Финляндии в России и в мире. Именно такую рефлексию (в значительной степени неосознанную) оказалось возможно найти на страницах общероссийского журнала.

При этом на протяжении почти 50 лет издания журнала «Нива» образ Финляндии, этим журналом представляемый, менялся. Это было связано и с тем, что уточнялись, углублялись знания об этой стране и ее народе, и с тем, что в России в предреволюционные годы начала XX века возник запрос на некий идеал правильно управляемого государства с активным народом, который помогает движению страны по пути прогресса. Картинка динамично развивавшейся Финляндии, с ее железными дорогами и водным транспортом, системой народного образования, чистотой и порядком в городах и просто с запахом кофе, вьющимся над домами, рассматривалась в этой связи как некий образец. Но образец с поправкой на то, что это было не независимое государство, хотя и обладавшее значительной автономией в рамках Российской империи. Может быть, это даже добавляло привлекательности конструируемому образу: оказывалось, что в рамках разношерстной и крестьянской, в основе своей, империи есть некий оазис, где даже крестьяне выглядят и ведут себя иначе, чем в деревнях где-нибудь под Самарой. «Повсюду чувствовалась неторопливая, но упорная работа, желание вложить в общую деятельность и частицу своего труда», — наверное, это было общее наблюдение путешественников по Финляндии¹.

Конструированием такого образа удовлетворялся запрос на прекрасную мечту в духе романов Жюль Верна: трудолюбивый народ может построить свою жизнь на началах справедливости и равенства, пусть и в борьбе с суровой природой. Энергичные Соединенные Штаты Америки были далеко, Европа уже шла по пути прогресса семимильными шагами, а «своя собственная», выходящая из болот и лесов, выплывающая из фьордов Финляндия была рядом. И это был положительный демонстрационный эффект для либерально настроенной части общества, которая, конечно, присутствовала среди подписчиков «Нивы». Это была близкая «заграница», всего в 40 верстах от Санкт-Петербурга, и разницу мог почувствовать каждый, кто садился на поезд на Финляндском вокзале. В 1870 году была построена железная дорога, соединившая Петербург через Выборг с Риихимяки, а оттуда с Хельсинки. Путешествие в «страну озер» стало легким и необременительным.

Но перед тем, как сесть в вагон, путешественник должен был иметь хоть какое-то представление о предмете своего вояжа. Журнал «Нива» (равно как и другие журналы, газеты, путеводители) предоставляли такую информацию.

Начав с небольших географических и природоведческих очерков о Финляндии, впоследствии «Нива» стала помещать полноценные и информативные статьи о политике, литературе, музыке, архитектуре и обычаях финского народа. Некоторые авторы повестей даже поселяли своих героев в Финляндии или просто сталкивали их с финнами в различных житейских ситуациях.

Впрочем, начнем с самого начала.

¹ Уплыла. Повесть Г. Т. Полилова. Нива, 1907, № 29. С. 479.

Первым упоминанием о Финляндии в «Ниве» стало печальное событие. В 1866—1868 годах там случился страшный голод, вызванный естественными причинами: аномально дождливым летом 1866 года, холодной весной 1867-го и заморозками в сентябре того же года. Невозможность оперативного получения займа для закупки продовольствия, отсутствие дорог для его доставки, когда оно уже было закуплено, распространение инфекционных заболеваний — спутников голода, — все это привело к огромному числу смертей, а также к появлению большого числа сирот. Для сбора средств в пользу последних устраивались различные благотворительные мероприятия, и об одном таком и рассказал своим читателям журнал «Нива». Это было «общественное гулянье, устроенное под покровительством их императорских высочеств: великой княгини Елены Павловны и великого князя Николая Николаевича-старшего в воскресенье, 28 июня, в Летнем саду, в пользу 25 000 сирот, оставшихся без призрения после голода в Финляндии» (Нива, 1870, № 27). Гулянье сопровождалось оркестрами военной гвардейской музыки, военными песенниками, иллюминацией; для публики была устроена лотерея-аллегри и некие детские сюрпризы. Как пишет репортер, публики собралась «несметная толпа» и благотворительная цель гулянья была вероятно «вполне достигнута».

Возможно, что некоторые на этом гулянье из «простого народа» впервые тогда узнали о Финляндии как о стране, несмотря на то что жили в Петербурге издавна бок о бок с финнами, карелами и ингерманландцами.

В отличие от остальной России, для петербуржцев финны не были таким уж загадочным народом. Поселения так называемой «Русской Финляндии» окружали Петербург со времени его основания, а сами находились там с незапамятных времен. За границей по реке Сестре находилась «Чухонская Финляндия», как называли в просторечье Великое княжество. Чухнами называли всех финнов и карел, и первоначально в этом не было уничижительного значения: так было переименовано летописное название «чудь», объединявшее народности прибалтийско-финской группы (вудь, корел, ижор и эстов), издревле живших на этих землях. Жители «Русской Финляндии», жившие по эту сторону границы, привозили петербуржцам продукты сельского хозяйства, поставляли булыжный камень и песок, работали кухарками или городскими легковыми извозчиками. Последние были неотъемлемой частью Петербурга, их называли «вейками» в значении «братец», «приятель», «дружище». Вейки пользовались спросом и в обычные дни, поскольку брали меньше, чем другие извозчики (30 копеек за поездку в любой конец города), но особенно на Масленицу. «Масленичная картина будет неполна, если мы не вспомним о неизменном вейке, этом „убо-гом чухонце“, без которого, кажется, и представить себе петербургскую масленицу нелегко. Аккуратно одетый, с чистенькими санками, он мчится во весь дух, позвякивая бубенцами. И стар, и млад, и барин, и мастеровой считают своим долгом хоть раз покататься на вейке. Существуют любители, которые нанимают лошадь на целый день, вейку оставляют и едут сами большой компанией куда-нибудь за город, в Озерки, в Парголово, на лоно природы. Разумеется, все эти развлечения мыслимы только в хорошую снежную зиму: в бесснежную вейки не приезжают, и масленица не имеет обычного веселого характера»².

Или: «Житель Пб конечно не может себе и представить масленицы без множества чухонцев, наезжающих из окрестностей на своих бойких лошадках и в характерных маленьких саночках, ежегодно в количестве нескольких тысяч. Катанье „на чухонцах“

² Текст с рисунку Н. Лоренца «Масленица. Вейка». Нива, 1898, № 7.

издавна было одною из необходимостей, входивших в репертуар увеселений петербургского чиновничества. Горячая лошадка шибко перебирает бойкими ногами, кидая в стороны комья мягкого снега, и по гладкому льду Невы легко скользят саночки»³.

Если на Масленицу вейки приезжали в город, то на Иванов день любопытные петербуржцы отправлялись за город, чтобы увидеть старинные обряды. К пониманию увиденного они были приготовлены картинками и текстами в «Ниве». Иванова ночь, или Йоханнус, описывалась как «умирающий отблеск языческих поверий». Ее непременно атрибутами были костры на высоком месте на полянах, берегах залива или озера, хороводы с пением песен, сбегание с горы или скатывание зажженных смоляных бочек. В этот день собирали целебные травы, а особо храбрые люди искали цветков папоротника, дававший сверхъестественную силу.

Посмотреть на костры — «коки» — съезжались окрестные дачники. Вот как описывалась поездка в одном из рассказов: «На одном повороте лес внезапно начал редеть, мельчать и скоро перешел в кустарник, пологой волной скатывавшийся в ложбину. За ложбиной на противоположной горе пылал огромный столб пламени, взбрасывая совершенно перпендикулярно вверх снопы огненных охлопей, почти не давая дыма, ровно теплясь в безветренном воздухе, словно гигантская свеча. На „коках“ оказалась масса народа, и окрестных поселян, и дачников. Место празднества приходилось на холме, в нескольких саженях от перепутья трех дорог, из которых две перекрещивались, а одна, добежав до перекрестка, сливалась с ними. Все свободное пространство вокруг холма между кустами и деревьями, было запружено колясками, фаэтонами, тележками, дрожками, дрогами, дрожками, верховыми лошадьми. В воздухе стоял тот смутный говор, который, каким всегда сопровождаются подобные сборища»⁴.

Значительную часть финляндского землячества в Петербурге составляли железнодорожники: чиновники и технический персонал Финляндской железной дороги. С ними были хорошо знакомы петербуржцы, у которых были собственные или съемные дачи на территории Великого княжества Финляндского. А летом по Неве и малым рекам города бегали кораблики Финляндского легкого пароходства, которые связывали различные районы города. Они перевозили от 8 до 13 миллионов человек за сезон. Зимой же через Неву от Исаакиевской площади к Васильевскому острову устраивался рельсовый перекат. Путь занимал чуть меньше минуты и стоил всего 2 копейки. Ежедневно им пользовались от 8 до 10 тысяч человек (Рельсовый перека́т через Неву. Нива, 1894, № 5). Финляндское общество паровых катеров было основано в 1873 году Рафаэлем фон Хаартманом. В сфере интересов Хаартмана были также железная дорога, пароходное движение в Петербурге, Нижнем Новгороде и Севастополе⁵, а также благоустройство дачной местности в Терийоках, где у него была дача — вилла «Алиса»⁶.

Бойкие пароходики Финляндского легкого пароходства остались запечатлены на картинах художников «Нивы», а также в воспоминаниях современников.

Были еще «ледоколы», то есть те, кто вырубали на Неве лед, а затем доставляли кубы, или, как их называли, «кабаны», льда в многочисленные городские и пригородные домашние ледники⁷.

Несколько ранее по времени писатель, фольклорист и лексикограф Владимир Даль так писал о занятиях финляндцев в Петербурге: «Чухонца или финляндца вы не уви-

³ Текст к рисунку Н. Каразина «Масляница. На чухонских санях». Нива, 1879, № 6.

⁴ П. С-кий. Господин Бржестинский. Нива, 1878, № 18. С. 307.

⁵ Энгман Макс. Финляндцы в Петербурге. СПб., 2005. С. 214.

⁶ Вилла «Алиса», <https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?category/1894>.

⁷ В Петербурге на 1872 год насчитывалось около 20 000 домов, и в каждый на зиму требовалось по 25 «кабанов» от 10 до 30 копеек за каждый. Нива, 1872, № 2.

дите ни в дворниках, ни в сидельцах, ни даже в разносчиках, кроме привозящих яйца, масло и молоко [...]. Высший круг ремесленного или рабочего сословия из этого народа, это серебряники; за ними следуют трубочистные мастера; черный народ, оседлый в Петербурге, идет смолода в трубочисты, иногда нанимается в кучера; идущие на заработки промышляют легковым извозом, и то более зимой, из ближайших деревень, верст за сто, полтора; в ломовых же извозчиках вы никогда не увидите чухонца. Кроме того, Выборгские крестьяне возят в столицу песок, на лодках и гужем, булыжный камень и все вообще сельские припасы, пригоняя иногда на придачу, несколько голов своего малорослого рогатого скота»⁸.

Более знакомой была «Русская Финляндия», находившаяся в предместьях Петербурга, по эту сторону границы на реке Сестры. Но с годами рос интерес к «Чухонской Финляндии», за границей в Белоострове по Финляндской железной дороге, и именно о ней в основном повествовала «Нива». К 1890-м годам сформировался некий устойчивый взгляд на Финляндию и ее коренное население:

Финн — человек, к которому «приклеен» образ «печального пасынка природы» из поэмы Пушкина «Медный всадник».

Природа в Финляндии суровая: здесь ничего нет, кроме холодных озер, елей, мхов и гранита.

Такая природа вырабатывает тип упорных и молчаливых людей. Финны немногословны, неприхотливы и терпеливы. Всегда заняты тяжелым трудом: ловят рыбу, обрабатывают поля, освобождая их от вековых валунов, работают на кузнице. Работа суровая, без смеха и говора. Песни однообразны.

У финнов светлые волосы и глаза (фразеологизм «белоглазый финн»).

Мужчины с заскорузлыми трудовыми руками постоянно курят «вонючую трубку-носогрейку». Женщины некрасивы, но опрятны и целеустремленны.

Финны любят свою «родину-мачеху». Их учителя с малых лет учат детей любви к родине и к природе.

Народ здоровый, не боящийся зимних холодов.

В торговле и при заключении коммерческих сделок народ честный, «крепкий и верный на слово».

Везде чисто и дисциплинированно.

Не собирают грибы.

Пьют много кофе.

Со временем взгляд со стороны на Финляндию менялся. И природа не выглядела уже столь «сурово», и жители не были такими угрюмыми. А когда в журнале появились статьи о финских художниках, музыкантах и литераторах, когда оказалось, что в Финляндии кипит политическая жизнь, о которой только могли мечтать в России, то из любопытства и интереса возникло уважение. Понемногу стал формироваться образ Финляндии как европейской страны, руками трудолюбивого народа построившей жизнь на основе законов, — такой страны, которой когда-нибудь сможет стать и Россия.

Но первыми все же Финляндию стали открывать путешественники и туристы, которые оставляли самые общие впечатления об увиденном, и в первую очередь о природе.

ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Об этом рассказывали путешественники, которые бывали на Сайме и Иматре, Валааме и в Монрепо. Это были первые рекомендуемые маршруты для тех, кто хотел увидеть «дикую природу», кое-где преобразованную «трудолюбивыми руками».

⁸ В. Даль. Чухонцы в Питере, 1861.

Сайма и Иматра

«Нива» на протяжении десятков лет в целом ряде очерков рассказывала о красотах водной системы Вуоксы, о строительстве на ней судоходной системы, о прекрасном водопаде Иматра и о тамошних гостиницах.

Первым стал очерк, посвященный Сайменскому каналу, в журнале за 1874 год. И этот очерк стал поистине песнью покорения человеком дикой природы во славу прогресса и цивилизации. «Мы очень хорошо знаем все дикивинки Европы, и не иметь понятия о каком-нибудь туннеле, о каком-нибудь замечательном сооружении считалось бы у нас чуть ли не преступлением. Между тем, многие ли у нас имеют точное понятие о Сайменском канале, этом удивительнейшем создании труда и науки? Чтобы привести в исполнение колоссальную идею прорытия канала — нужно было предпринять не менее колоссальную борьбу с гранитными твердынями Финляндии, и тут человек явился полным победителем природы». Искусство строителей состояло не только в том, что надо было прорубать путь сквозь гранитные скалы, но и в том, что вследствие разницы высот между Сайменским озером и Финским заливом им пришлось построить 28 шлюзов и 9 мостов. Далее автор очерка пишет о том, что инженер Эрикссон обещал построить канал за 15 лет и всего за 3 миллиона рублей серебром, что было очень быстро и дешево для такого рода строительства. Объяснение он находит следующее: «Загадка эта объясняется непоколебимой честностью финского племени, порядительностью при работах, а отчасти также и относительной дешевизной рабочих рук и продовольствия».

Под конец журналист настоятельно рекомендует отправиться в летнее путешествие в Лауритсала, к началу Сайменского канала: «Дорога в высшей степени живописна, хоть и не оживлена памятниками человеческой жизни и деятельности; но тем сильнее впечатление, когда посреди этого безлюдья, посреди лабиринта скал и лесов, вдруг является одно из самых гигантских созданий человеческого гения. Это первый памятник человека в Финляндии, но такой, который никогда не перестанет возбуждать удивление в потомстве». Будущий путешественник непременно должен обратить внимание на грозные скалы, нависающие над каналом, шлюзы с зубчатыми колесами и воротами, на легкие резные чугунные мосты, «на великолепную гранитную набережную и гранитный тротуар для бичевника, там, где некогда была одна сплошная гора гранита, и везде поражает громадность труда и необыкновенное торжество человека над природой» (Нива, 1874, № 17).

Уже через год вышла новая статья о водной системе Сайменского озера и реки Вуоксы с водопадом Иматра. И если в прошлой статье упор был сделан на строительстве канала как творению человеческих рук, то здесь — на необыкновенной красоте озера и водопада. Журналист прошел на пароходе весь путь и подробно описал каждый вид, каждый поворот, каждую природную достопримечательность. В середине пути он достиг водопада Пикку Иматра, или Малая Иматра, затем, проплыв по тихим в этих местах водам Вуоксы, полюбовался окрестным, совершенно швейцарским пейзажем, с «засеянными и обработанными полями», «хорошенькими домиками» и пасущимися стадами со звенящими колокольчиками. Дальше он достиг Койвусаари — скалы, на вершине которой растет одна береза. И наконец, до него начинает долетать «страшный и вместе с тем величественный гул» водопада Иматра.

«...Вся необъятная масса сайменских вод стремится прорваться сквозь эту теснину, и можно судить, что за шум, что за могучий рев и грохот поднимаются здесь. Кажется,

будто вода стремится не вниз, как в других водопадах, а мчится вверх к небу. Красоты и величия этой картины, конечно, не передаст никакое перо; надо собственными глазами видеть эту огромную массу kloкочущей воды и ту гигантскую мощь, с какой она вскидывает вверх колоссальные бугры белой пены. Один за другим, выше и выше растут эти бугры и, достигнув высшей точки, рухают, рассыпаясь серебристыми, жемчужными, бриллиантовыми букетами. Трудно оторвать глаза от этих фантастических форм, от чудного перелива цветов, когда водопад освещен солнцем. Смарагды, рубины, сапфиры пересыпаются с крупными жемчужинами и бриллиантами, словно в волшебном калейдоскопе»⁹ (Нива, 1875, № 34).

Но и здесь человек не остался в стороне от природы, приспособивая ее для своих нужд. С одного берега на другой был переброшен стальной трос, изготовленный в Лондоне. По тросу на блоке передвигалась плетеная корзина, в которой могли уместиться два человека, летящие над водопадом «весело, как птица». А после этого аттракциона можно было отправиться в свой номер в отеле, построенном здесь же, на берегу, совсем недавно, в 1871 году. Этот роскошный отель в готическом стиле привлекал не только возможностью взглянуть на водопад, но также и светской жизнью — балами и музыкальными вечерами. Окончание статьи звало немедленно в дорогу: «Какую бы дорогу ни выбрать от Выборга до Иматры, всякая из них будет рядом самых живописных картин, а сама Иматра навсегда неизгладимо останется в памяти того, кто раз в жизни видел ее». Энтузиазм автора статьи по поводу увиденного не вызывает сомнения, но остается легкое подозрение, что его бойкое перо работало на Иматровское акционерное общество, доставлявшее путешественников к Иматре на своих пароходах, дилижансах и селившее их в своих отелях.

Следующей по времени была практически пошаговая инструкция путешествия по Сайменскому каналу к Иматре, написанная и проиллюстрированная начинающим тогда литератором Петром Гнедичем¹⁰. Вот как он описывал свою первую поездку в воспоминаниях: «Я уговорился с Матэ ехать вместе на Иматру. У меня тщательно сохранились 25 рублей на эту поездку. Ему нетрудно было тоже собрать такую же сумму из своего журнального заработка, и в начале июля мы поехали.

Нас захватила Финляндия. Тихие спокойные заводы и бурные пороги, запах ландышей, смолистый запах сосен, которым тогда была переполнена новая иматровская гостиница, — все это оставило на нас, молодых, полных сил, стоявших на рубеже будущей деятельности, — неизгладимое впечатление. Потом прошли двадцать и тридцать лет, и мы с упоением вспоминали это наше студенческое путешествие, — как бродили мы по лесам и берегам Вуоксы, как радостно приветствовала нас душистая северная весна. Как наслаждались мы природой, как полно дышали с нею одною общей грудью»¹¹.

Нельзя сказать, что автор сообщил что-то совсем уж новое об увиденном, но продемонстрировал редкую наблюдательность и даже цитировал «Калевалу». Его рассказ можно с полным правом назвать литературным произведением, поскольку, кроме самого рассказчика, его героями явились двое англичан-путешественников, над которыми автор постоянно подшучивал (они были даже более экзотичны, чем финские скалы и Иматра).

⁹ При описании водопада Иматра автор явно вдохновился стихотворением Державина, посвященном водопаду Кивач. Г. Р. Державин, «Водопад», 1794.

¹⁰ П. П. Гнедич. Поездка на Иматру. Из путевых впечатлений. Нива, 1877, № 30. Петр Петрович Гнедич (1855—1925) — писатель, художник, драматург, театральный деятель. На протяжении всей жизни сотрудничал с «Нивой».

¹¹ П. П. Гнедич. Книга жизни. Воспоминания. <https://readli.net/chitat-online/?b=426058&pg=18>

В 1892 году была открыта железная дорога от Выборга на Иматру и построен железнодорожный мост. По случаю этого события «Нива» снова вспомнила об этих местах и поместила подробный отчет с фотографиями о строительстве моста и о гостинице. Затем время от времени «Нива» возвращалась к этой теме, помещая рисунки художников и даже стихотворение Н. Б. Хвостова, посвященное водопаду:

Гремящим потоком навстречу преград,
Весь в брызгах жемчужных и пене,
Клубясь у порогов, несется каскад
И скачет, как барс, чрез ступени¹².

1907

В 1903 году состоялось открытие новой гостиницы на водопаде Иматра. «Красивый и эффектный финляндский водопад Иматра за последнее время все более и более привлекает к себе посетителей-туристов. Близость от Петербурга, удобство сообщения (беспересадочные поезда, хорошие вагоны) делают то, что поезда финляндской железной дороги, отправляемые прямо на Иматру и отходящие из Петербурга в предпраздничные дни, бывают обыкновенно битком набиты пассажирами, а на самой Иматре не хватает для них в отелях мест. Теснота стала особенно чувствоваться с тех пор, как два года тому назад сгорел на Иматре огромный отель. Сооружение нового приюта для туристов являлось поэтому крайне желательным, и вот, нынче на месте сгоревшей старой гостиницы возникла новая, поэтически названная Cascade d'Imatra.

18 октября состоялось открытие этой гостиницы, представляющей собою нечто замечательное по своей внешней и внутренней отделке и по красоте своего местоположения. Cascade d'Imatra удивительно подходит по своему стилю к окружающей местности и настолько дополняет ее, что теперь как-то уже не представляешь себе Иматру, ее бешеный каскад, несущийся среди скал и сосен, без этого оригинального здания, похожего на средневековый замок.

Отель расположен у правого берега водопада и представляет собою огромный дворец, выстроенный в модернизированном скандинавском стиле. Внутренняя отделка здания по своей красоте и художественной простоте вполне соответствует его величественному наружному виду. Входная лестница, великолепная столовая, отделанная деревом, мебель в стиле „empire“, — все это производит впечатление чего-то оригинального и в то же время изящного, не похожего на обычную „отельную“ обстановку. Стены оклеены светлыми обоями „нового стиля“, полы не крашены, но покрыты лаком; огромные окна. Вообще, всюду масса света, воздуха, простора и такая щепетильная чистота, которую дай Бог встретить даже в больнице.

В гостинице имеется около 100 номеров, большинство которых имеет балконы и выходит прямо на водопад. Сидя на этих балконах, можно непосредственно любоваться игрою водопада и вдыхать тонкую водяную пыль, носящуюся в воздухе. Кроме того, устроены и большие общие веранды, на которых в летнее время будут помещаться ресторанные столики.

Отель Cascade d'Imatra освещается электричеством, а отопливается центральным способом. На сооружение этого роскошного здания потребовалось два года; строил его архитектор Нюстрэм, и нашим соседям-финляндцам таким образом можно высказать по поводу этого „замка на Иматре“ много вполне заслуженных комплиментов. А заодно с этим, не мешает упрекнуть нас, русских, за леность и косность по отношению к на-

¹² Николай Борисович Хвостов был внучатым племянником поэта А. С. Хвостова из круга «Беседы любителей русской словесности», к которому принадлежал также Г. Р. Державин.

шему „собственному“ водопаду Кивачу: финляндцы так благоустроили свою Иматру, что побывать на ней — одно наслаждение, а до Кивача и добраться-то трудно, а жить там еще труднее» (Нива, 1903, № 44).

Но настоящей одой Финляндии можно считать строки вышеупомянутого П. П. Гнедича из его повести «Новелла наших дней», напечатанной в № 9 «Нивы» за 1906 год. И они заслуживают, чтобы привести их целиком.

«Вуокси, — или, как принято у нас неправильно называть, — Вуокса — самая красивая река в России, а может быть, и в Европе. Ее светлые, прозрачные, как горный хрусталь волны сносят из горных озер такую уйму воды, что местами, там, где скалистые кручи не сжимают ее, он разливается на версту и больше и затопляет веселые зеленые луга, покрытые пестрой сетью душистых ярких цветов.

Весною тянет с берега ароматом первых ландышей; потом на смену им поднимается сладкий запах клевера и земляники. Потом пряный запах сена дает смешанный аккорд всех цветущих трав и цветов. В августе — идет землистый грибной дух, когда приземистые крепкие беляки пробиваются на откосах своими крепкими головками наружу. А вслед за ними поднимается легкий, неуловимый, но очаровательный запах лиственного перегноя осени, — когда опавшая пожелтевшая одежда деревьев шуршит жестким шепотом при порыве ветра, и золотые листья молодых берез лежат по дорогам, как груды червонцев в кладовых скупого рыцаря — холодной осени.

Я люблю Финляндию за необъятный простор ее озер, за тихие разливы сонных заводей, за мощные вечнозеленые сосны и ели, за ее прозрачные, опаловые июньские ночи, — когда в полночь небо охвачено бледно-розовым полымем немеркнувшего заката, и на берегу, у теплой водной сырости, можно свободно читать, вслушиваясь в таинственную замороженную тишину, только изредка нарушаемую криком коростеля или всплеском крупного лосося.

Я люблю Финляндию глубокой зимой, когда она вся покрыта пушистым ароматным снегом. Этот при закате горит на ветвях елей и сосен, как расплавленное золото. Наверху, между чешуйчатых шишек, прыгает, раздувая веером хвост, красавица-белка. Лиса неслышно катится низом, поводя своей остроносою хищною мордою. Гигантский лось с целым лесом ветвистых рогов показывает свою допотопную морду из чащи молодой поросли. Заяц, как угорелый, мечется из-под ног и летит куда-то в свое укромное логовище, прядая пушистыми ушами и дергая носом. Серебряные звонки мягкой трелью звенят на уздечках мохнатых коньков. Быстро мчатся на лыжах стройные краснощекие девушки в коротких юбках и серых ушастых шапках.

Страна молодая, просыпающаяся, — страна будущего. В прошлом у нее только детские странные сказки и саги детства»¹³.

Так мог написать только человек, по-настоящему влюбленный в Финляндию и верящий в ее будущее.

П. Гнедич и другие литераторы формировали романтический образ природы Финляндии, где люди живут в гармонии с ней. И даже вторгаясь в ее царство, делают это бережно, не нарушая ее законов. Где сразу за полотном железной дороги или шлюзом снова начинаются чистые озера и леса.

Именно в таких местах жила героиня еще одного рассказа: «Она провела свое детство среди густых, ароматных лесов финской Карелии, на берегу чистых, как хрусталь, озер, отражающих на своей зеркальной поверхности вековые ели и сосны. Глушь, но глушь мирной пустыни, среди дикой, чуть ли не девственной природы, где появление постороннего составляет целое событие, где стадо диких оленей спокойно бродит

¹³ П. П. Гнедич. Новелла наших дней. Нива, 1906, № 9. С. 130.

недалеко от поселка, не опасаясь ничего для себя дурного, где бурый медведь, нередкий гость хлебного амбара, с целью покормиться овсом, где непуганные белки сотнями прыгают по деревьям»¹⁴.

Благодаря постройке Финляндской железной дороги русские художники дружно отправились на пленэры в «Страну озер». У кого-то были там построены собственные дачи, и для этюда было достаточно выйти на крыльцо или пройти к соседнему озеру. Кто-то приезжал специально в дальние и глухие места, чтобы запечатлеть их первозданную красоту. На протяжении почти 50 лет издания «Нивы» на ее страницах помещались гравюры с картин, акварелей и рисунков, изображавших финские пейзажи, виды городов, бытовые сценки, портреты известных и безымянных людей. Автор насчитала около 40 имен художников, в той или иной степени отобразивших тему Финляндии в своем творчестве. Среди них были и маститые академики Императорской академии художеств, и сейчас почти неизвестные выпускники этой академии, которые писали романтические пейзажи для продажи. Художники также выставляли свои произведения для всеобщего обозрения на ежегодных художественных выставках в Петербурге.

«Нива» с видимым удовольствием печатала на своих страницах эти романтические пейзажи, изображающие леса, высокие скалистые берега озер, где голос человека долетал до другого берега и возвращался эхом. Вот комментарий к одной из картин, принадлежавшей кисти художника Егорнова: «...типичный пейзаж, хорошо знакомый всякому, кто посещал „страну тысячи озер“ — каменистую и лесистую Финляндию. Огромные белесоватые валуны, на которых каким-то чудом растут огромные ели, светлая вода бесконечных озер и бледное небо — вся Финляндия пред нами в этой картине. Не та Финляндия, которая в своих городах так походит на культурную и выложенную Европу, но Финляндия лесов и гор, в которых как будто все еще звенит голос старого деда Вейнемейнена»¹⁵.

Валаам

Острову Валаам с его обителями было посвящено несколько статей на протяжении 20 лет. Главным образом, они предназначались для паломников, а потому содержали подробное описание того, как добраться, кто встречает, какие правила проживания, достопримечательности (скиты и могила мифического короля Магнуса), места поклонения.

Первым из журналистов «Нивы» туда отправился П. Гнедич и описал увиденное в 1878 году. Вначале из разговоров на пароходе: «Природа там грандиозная. — сообщает один из пассажиров. Это самая дикая Финляндия в самых мрачных проявлениях. Гранит, покрытый тонким слоем земли и травы, и громадный лиственный и хвойный лес». И далее весь очерк строится на сопоставлении дикой природы и творений рук человеческих. К творениям рук относятся не только монастырские постройки, причалы, дороги, мосты между островами, гончарный, кирпичный и смолокурный заводы, но также и сама «новая» природа. «Говорят, что иноки разводят и кедры, и лиственницы, и каштаны, и пихты: у них в саду и в оранжереях растут превосходные арбузы, дыни, тыквы...»¹⁶

Автор очерка, опубликованного в 1899 году, дополнял: «Богатейшие леса строго охраняются и расходуются с редкою экономностью. Стволы идут на постройку; на топку же употребляются только пни. Даже корни не пропадают даром, их вырывают и го-

¹⁴ Г. Т. Северцев. Проснулась женщина. Нива, 1907, № 22.

¹⁵ Текст к рисунку С. Егорнова «Финляндия». Нива, 1910, № 9.

¹⁶ П. П. Гнедич. Валаам. Путевые впечатления. Нива, 1878, № 30.

нят из них смолу. Кроме смолы, выгоняется трудами иноков скипидар и уголь для домашнего употребления. По своей чистоте Валаамский скипидар пользуется даже известностью. Гонка смолы — одна из самых грязных работ, и поэтому почти каждого монаха на первых порах, для знакомства с иноческим трудом, отправляют на смолевого завод. Что касается леса, то интересно, что на Валааме берегут не только его, но и все, что в нем водится. Всякое зверье — олени, зайцы — и птицы свободно бродят и порхают, и даже не убегают от человека, уверенные в своей неприкосновенности»¹⁷.

В день праздника Всех Святых (восьмая неделя по Пасхе) в одноименном ските собиралось множество паломников на крестный ход. Паломники из Петербурга — это старушки, мелкие купцы, мещане, отставные унтер-офицеры. Гнедич отмечал, что вокруг слышна и финская речь, потому что большинство богомольцев, пришедших на крестный ход, — финны, приплывшие сюда на соймах (понятно, что Гнедич, скорее всего, не делал различия между финнами и карелами: для него все были финны). «Для них Валаамский монастырь — великое дело; плохо зная по-русски, они исповедуют нашу веру: им выгодно ее исповедывать. Они знают, что монастырь, скорее, чем кто-нибудь, поддержит их в лихое время. В глухую осеннюю погоду с опасностью для жизни, пробираются они сюда, чтобы пожить неделю-другую на счет монастыря, исполнить кое-какие работы. В случае болезни их будут бесплатно лечить в монастыре и с собой выпустят лекарства. На дорогу дадут и сапог, и белья, и платья; дадут хлеба, сена, овса, — даже денег в крайнем случае»¹⁸.

Парк Монрепо и Выборг

Именно в такой последовательности, согласно их значимости в глазах туристов. Выборг поначалу — лишь железнодорожная станция и транзит для тех, кто едет дальше за впечатлениями.

Как пишет автор «Нивы» в номере за 1874 год, прежде Выборг был известен жителям Петербурга, в первую очередь... кренделями. Но в описываемое время нарастает число туристов. И тех, кто едет через Выборг на Иматру, и тех, кто под Выборгом снимает дачу на лето. В былые времена это был второй по значимости город старой Финляндии, сейчас же — простой губернский город с шеститысячным населением. Правда, здесь есть все удобства для жизни: мощенные улицы, освещаемые газом, каменные дома. В домах — книжные лавки и магазины, школы и отели. В городе можно осмотреть издали старую крепость и погулять в трех садах: городском, Promenade и Мон герос барона Николаи.

Автор статьи очень советует прогуляться по Монрепо: «Дорога к нему ведет через Выборгский форштадт, застроенный красивыми, утопающими в зелени дачами, и через полчаса езды вы уже подъезжаете к саду. Едва ли есть другой сад оригинальнее и живописнее Мон герос. К нему почти даже не идет название сада или парка в общепринятом значении этих слов. Это в миниатюре вся Финляндия со всей ее дикой природой и самобытной народной поэзией. Нельзя было придумать лучшего места для статуи Вейнемейнена, бога поэзии, первого языческого бога Финляндии, как поставив ее в этом необыкновенном саду, среди мрачных скал и угрюмых сосен с неподвижным зеркалом вод извилистого залива внизу. Никакое описание не передаст прелести Мон герос, где природа и искусство соединились вместе, чтобы на каждом шагу поражать вас новыми неожиданными красотами. Надо видеть его собственными глазами,

¹⁷ Валаамский монастырь. Нива, 1899, № 39.

¹⁸ П. П. Гнедич. Валаам. Путевые впечатления. Нива, 1878, № 30.

и Выборг много обязан этому очаровательному месту приливом посетителей в летнее время, приезжающих сюда нарочно, чтобы посмотреть Мон герос»¹⁹.

Спустя шесть лет «Нива» снова вспомнила о Монрепо, и корреспондент дал точные указания, как туда попасть. «Петербургскому жителю достаточно одного дня, чтобы съездить в Выборг и погулять в этом замечательном саду. Вы садитесь в 9 утра в вагон Финляндской железной дороги и в 1 часу дня подъезжаете к Выборгу. После завтрака в самом воксале, вы берете извозчика и едете в Монрепо, минуя громадную руину древнего шведского замка и живописные скалы с так называемым Променадом. От старых крепостных валов через небольшое поле и сосновый лес, усеянный валунами, вы приезжаете к воротам сада. На прогулку можно употребить часа три, а затем вы едете в Бельведер, прекрасную гостиницу, на городской Эспланаде, и с вечерним поездом в 11 часов возвращаетесь в Петербург»²⁰.

«Монрепо смело можно назвать миниатюрным изображением Финляндии со всеми ее своеобразными красотами. Он дик и живописен, как природа этой характерной страны, оригинален, как ее народная поэзия». Описание сада повторяло клише про камни, лабиринты скал, черные ели и усеянное валунами море. А вот новым было введение в лексикон имени «финского мифического бога поэзии Вейнемейнена». Так читатели «Нивы» подошли к знакомству с эпосом «Калевала».

«Несколько веков хранился он в народной памяти в виде отдельных песен, и только в нашем столетии песни эти, записанные с голоса простых поселян в разных частях Финляндии, были собраны, приведены в порядок, и из них составила́ся целая обширная поэма, известная теперь под названием „Калевалы“. Тут в живых образах представляется борьба зла и добра и торжество света над тьмою». Автор достаточно подробно излагает содержание «Калевалы», давая и общепринятую на то время трактовку ее смысла — победы христианства над язычеством. «В последнем эпизоде Вейнемейнен встречает молодую пастушку, деву Мариэтту, с прекрасным младенцем на руках. Тяжелое предчувствие поражает финского бога, и он громко требует смерти малютки. Тогда Младенец говорит ему: молчи старый корельский чародей; ты изрекаешь приговор самому себе! После сего Божественное Дитя становится царем лесов и плодоносных полей, а старый Вейнемейнен делает себе железную лодку и отплывает в далекие страны, оставя в Финляндии свою кантелу»²¹.

ГОРОДА

Если петербуржец хотел заехать подальше, за Выборг, то он открывал для себя большие города и маленькие городки, которые одновременно могли быть и курортами. В повести Г. Т. Полилова «Уплыла» (Нива, 1907, № 29) главный персонаж путешествовал на пароходе в Або. Город поразил его сочетанием первозданной природы и творениями рук человеческих. Судостроительные заводы и лесопилки соседствовали с лесами и каменными скатами берегов Аурайоки. А в 15 километрах находился Нодендаль — курортный городок с морскими купаниями.

«Устроившись в отеле, Барсуков отправился бродить по городку, желая с ним ознакомиться. Чистенькие улицы очень ему понравились; в полчаса он обошел весь городок и направился в пустынный теперь еще парк, проходя мимо зданий курортного вокзала, ванн, концертной и гимнастической зал, откуда доносился звук молотка, шуршанье рубанка; там шел деятельный ремонт. Древняя кирка мирно дремала под вы-

¹⁹ Выборг. Нива, 1874, № 32. С. 498.

²⁰ А. Милюков. Сад Монрепо под Выборгом. Нива, 1880, № 3.

²¹ А. Милюков. Вейнемейнен. Нива, 1880, № 5.

глянувшими из-за туч ласковыми лучами солнца; ей снились сны о славном прошлом. Барсуков обошел вокруг нее, с любопытством осмотрел ее низенькие деревянные двери, прочно сколоченные из толстых сосновых досок. Высокое здание церкви стоит на страже городка уже много лет, подавляя его своей величиною и высотой. По небольшому фьорду, расстилавшемуся перед Нодендалем, пробегала мелкая зыбь, дальние островки чернели на поверхности моря пятнами различной величины. [...]

В городок начали съезжаться его обыденные летние гости, к началу июня все свободные помещения были заняты, гостиница Суозио переполнена. Открылся курзал, потянулся дымок из труб здания ванн; на Meri salonki (морской террасе) /Мерисалонка/ зазвенели рюмки, стаканы, забелели на столиках салфетки, раздуваемые ласковым бризом. Терраса стала центральным местом всего курорта. Большинство приезжих составляли финляндцы и шведы из других городов, но были и русские. В маленьком парке, закутавшемся в густую зелень, раздавались мелодичные звуки небольшого оркестрика, настойчиво исполнявшего за малыми исключениями музыку северных композиторов: Свенсена, Грига, Каянуса. [...] Вообще же жизнь в маленьком курорте текла в строго размеренном темпе, безмятежном покое, нарушаемом изредка различными празднествами, из которых больше всего интересовались состязаниями в плавании, тем более, что на них являлись заезжие знаменитости этого здорового спорта»²².

Бесхитростное повествование петербургского обывателя не блистало глубиной анализа. Он просто фиксировал увиденное, и, как явствует из повести, оно ему нравилось. Наверное, еще и потому, что напоминало привычные картины сестрорецкого курорта или летних Терийок. В любой чужой стране человек стремится найти знакомое ему и, уже оказавшись на этой «твердой почве», исследовать чужую жизнь, сравнивать, принимать или не принимать.

Первое журнальное упоминание Хельсинки (тогда Гельсингфорса) относится к 1876 году, оно было помещено в журнале «Всемирная иллюстрация» (мы сочли возможным поместить его для понимания того, каким город предстал перед глазами путешественников в 1870-е годы) и связано с визитом императора Александра II. Автор статьи дает историю основания города и не скупится на эпитеты, описывая его красивое местоположение и регулярную планировку. «По красоте местоположения Гельсингфорс можно назвать великолепным. Он лежит на крутом холмистом полуострове, который несколькими мысами врезывается в залив. Кто, посетив главный город Финляндского княжества, пожелает вполне насладиться грандиозной картиною необъятных вод и могучей растительности, тому мы посоветуем отправиться на гранитную набережную Эспланадской площади. Отсюда открывается роскошная панорама залива. Многочисленные острова в беспорядке раскинутые, как нельзя более живописны. Их гористая поверхность покрывается густым лесом и зеленеющими лугами, или же представляет величественные глыбы гранита, громоздящиеся в высоту. По водному пространству между городом и островами скользят там и тут купеческие корабли. [...] При первом взгляде на Гельсингфорс всякому бросается в глаза необыкновенная правильность его постройки; в этом отношении он оставляет за собой даже такие правильно выстроенные города, как Петербург и Берлин. Замечательно прямые улицы дают возможность путешественнику, незнакомому с городом, освоиться с ним в несколько часов»²³.

Далее автор описывает достопримечательности: Сенатскую площадь со зданиями Сената и собора Св. Николая; университет, обсерваторию, ботанический сад, естественно-исторический музей, шведский театр в конце Эспланады, вокзал, русскую цер-

²² Г. Т. Полилов. Уплыла. Нива, 1907, № 29.

²³ В. И. Город Гельсингфорс. Всемирная иллюстрация, 1876, № 396.

ковь. Гельсингфорс, бывший экзотикой для русского обывателя (впрочем, как и все Великое княжество Финляндское в те годы), становится ближе и понятнее. Это — европейский город, даже более правильный по планировке, чем Петербург со всеми зданиями, полагающимися столице.

В 1872 году «Нива» поместила рассказ военного моряка, который бывал в Койвисто, а потому мог дать детальную картину этой деревни и быта ее жителей. «Койвисто — одна из достаточных деревень в Финляндии; в ней чухонская кирка, при кирке — кладбище, три лавочки, почтовая станция, не похожая на наши станции на Руси, отличающаяся необыкновенной чистотою и вежливостью смотрителей в отношении к проезжающим. [...] Костюм чухонца в Койвисто общий чухонский, т. е. женщины носят красный или белый с красными расшивами сарафан и красную кичку, покрытую или повитую сверху белым платком; мужчины — синие синелевые брюки или пиджаки, более зажиточные — серые бумажные или черные суконные; сапоги иногда заменяются башмаками или полусапожками. [...] Деревня Койвисто лежит на горе, из которой ближе к берегу бьет родник, дающий великолепную воду [...] Еще при входе в пролив ваше внимание невольно обращается на выделяющуюся из зелени довольно высокую колокольню и церковь, крытую гонтом, равно, как и большая часть селения, и от времени принявшие серый цвет, и на стоящую на мысу лоцвахту (лоцманская станция). Подъезжая ближе к Койвисту открывается красный домик и парк ландсмана, а еще ближе серый небольшой домик с красной крышей и с шестом на павильоне в день именин своего владельца украшающимся большим треугольным флагом — это баня здешнего зажиточного помещика; за ней виден и самый дом владельца — красный с мезонином, а вправо и влево по обеим сторонам почтового тракта разбросана деревня. Вправо же и несколько вниз дома кистера и пастора, окруженные великолепными березовыми рощами и лугами с высокой, чуть не по колено сочной травой...»²⁴

Занятия жителей — скотоводство, посадка картофеля и, самое главное, рыбная ловля сетями и острогой (ловят салаку, шук и сигов). Автор, как и прочие в это время, пытается и найти похожее, и отметить разницу в обычаях и поведении людей (чистота, честность; их извозчики ездят не так, как русские извозчики; жители не так танцуют и не едят грибов).

Еще четыре города, о которых рассказывает «Нива», — это Вильманstrand (Лаппеенранта), Таммерфорс (Тампере), Ловиза (Ловийса) и Тавастгус (Хямеэнлинна). В 1877 году была помещена небольшая статья о развалинах замка Расеборг с цитатой из Топелиуса (Нива, 1877, № 458). Собор в Або (Турку) и церковь в Рантамяки удостоились лишь фотографий.

В Вильманстранде около 2000 жителей (на 1885 год). И снова в очерке слова о красоте и чистоте: «...он расположен у озера, окаймленного лесом, с десятком маленьких островков, которые как будто брошены нарочно или посеяны какой-то исполинскою рукою, наворотившей кругом эти холмы и камни, эти скалы, точно щетиной покрытые остроконечными елями. Улицы, с их маленькими деревянными домиками и заборами, то взбегают на холм, то спускаются с него, то вдруг куда-то пропадают. С каждого холма, с каждой точки открывается новый вид; на озере катаются маленькие лодки и ялики, дымятся большие пароходы. На двух противоположных концах города, вблизи озера, возвышается башня лютеранской церкви (около нее была и триумфальная арка), и главы православного храма, а дальше за озером станция железной дороги, поле, лес и у опушки его, на холмах, палатки лагерных войск. Старый небольшой городок, весь деревянный, но чистенький, хорошенький с небольшим вокзалом

²⁴ Койвисто. Нива, 1873, № 16.

минеральных вод»²⁵. Очерк, иллюстрированный рисунком, был написан после визита туда императора Александра III.

Таммерфорс в очерке, посвященном ему, называют «финляндским Манчестером», и как полагается промышленному городу, здесь и население в разы больше — 15 000 на 1888 год. «Город расположен близ озера Несиярви на берегу горного потока, спускающегося стремнинами и водопадами, и воды этой быстрой речки приводят в движение колеса многочисленных заводов, ткацких, обойных и других фабрик»²⁶. Как отмечает автор, все эти фабрики не мешают путешественникам любоваться живописными пейзажами и одним их красивейших озер Финляндии.

Небольшой, как и Вильманstrand в те годы, всего с 3000 жителей, приморский городок Ловиза описывается в журнальной заметке скорее как промышленный, хотя и находящийся в живописной местности у моря. Правда, порт уже не работает, потому что море отступило, и суда останавливаются в пяти милях от города. Но здесь строят купеческие корабли, торгуют железом и лесом, и одновременно с этим процветает контрабанда спиртом. Рисунок представляет вид Ловизы с киркой на холме и стадом коров в предместье²⁷.

Тавастгус после пожара 1831 года был отстроен заново. На 1889 год там было 4000 населения, и, как «полагалось» всем небольшим финским городам, он находился в живописной местности у озера. Близость к Гельсингфорсу придала городу некоторые черты, свойственные большим городам: суетность, деловитость, спешку. Но в то же время, как отмечает автор заметки в «Ниве», остались неизменными «чудная природа, роскошная зелень и целебный запах обширных хвойных лесов»²⁸. А стараниями губернатора Ребиндера вблизи города был разбит «прекраснейший парк».

Выводы из прочитанного горожанин или сельский житель (учитель, чиновник, военный) делал сам, оглядываясь вокруг себя и сравнивая. И даже разделив восторги журналистов «Нивы» на десять, качество жизни в глубинке России явно было не в пользу последней.

ЛЮДИ

«Нива», печатавшая на своих страницах цикл о народах России, так писала о финнах: «Они вообще сильного телосложения, с полным длинным лицом, среднего роста, с жидкой бородою, белокурыми волосами, желтовато-коричневого или красноватого оттенка, выдающимися скулами, смуглым цветом лица, грязноватого оттенка, угрюмого вида, с грубым голосом и медленной речью. Они честны, добродушны, храбры, приучены к холоду и нужде, молчаливы и флегматичны. Финляндское упрямство вошло у шведов в пословицу. [...] Крестьяне трудолюбивы и довольствуются плохой пищей. Нравы довольно чисты, уважение к чужой собственности составляет главную черту в национальном характере финнов. Темную сторону этого характера составляет пьянство и лень. Северных финнов упрекают в хитрости — и они слынут у южных, которые их боятся, большими колдунами (в средних веках имя финн было равнозначительно имени волшебник»²⁹.

Далее автор статьи рассказывал о том, что неременной принадлежностью финского дома является баня, что их язык «чрезвычайно благозвучен», «прост и мужествен,

²⁵ Город Вильманstrand. Нива, 1885, № 35.

²⁶ Таммерфорс. Нива, 1888, № 22.

²⁷ Город Ловиза. Нива, 1884, № 41.

²⁸ Город Тавастгус. Финляндия. Нива, 1889, № 7.

²⁹ Народы России. IV. Финны. Нива, 1871, № 52.

и при этом богат и в высшей степени гибок», что вполне соответствует наклонности финнов к поэзии. Статья была иллюстрирована рисунком мужчины и женщины в национальной одежде. Со временем некоторые оценки, к примеру касающиеся пьянства и лени, подвергались сомнению и исчезали, а от описания внешности и мифического «национального характера» авторы статей переходили к более глубоким выводам, связанным, в том числе с личными наблюдениями, а не с устоявшимися клише. В обзорной статье 1886 года о Финляндии говорится о «порядочности и строгой правильности жизни» как чертах всего финского народа. Под «строгой правильностью жизни» подразумевалась честность и вежливость (без подобострастия). Отмечалась простота жизни даже состоятельных жителей в столице, которые не ездят в каретах, но в простых экипажах или зимой в санках.

Интересны описания финнов в литературных произведениях. Поначалу они поверхностны и повторяют сформированные штампы. Но с каждым годом и десятилетием чувствуется все большая симпатия к описываемым героям: за простой внешностью автор видел незаурядную личность. «В этот момент мимо нас проходил господин средних лет, типичный образчик финляндского гражданина. Плотный, загорелый, точно вырубленный топором из дубового корня, с маленькими голубыми глазками, от которых лучилась сеть добродушных морщинок. Борода его грязно-бурого цвета, чуть-чуть начавшая сесть, росла, конечно, не там, где она растет у других людей, а вылезала из шеи, оттеняя точно веером, крепкие челюсти. [...] А я Тиканен, Петр Тиканен. Торгую раской и расильную фабрику имею. Тиканен, — и он всем нам протягивал свою вытянутую дощечкой ладонь. — Тиканен, — это моя фамилия. Моего отца звали тоже Тиканен. А самое лово Тиканен, это лово носит такая тичка, маленькая тичка.

— Ничего не понимаю, — бормотал Кас.

— Да что тут понимать, — вмешалась Полина Мартыновна, которой финляндец сразу ужасно понравился. — Господин Тиканен — фабрикант красок, а самое слово Тиканен значит маленькая птичка. Не хотите ли присесть к нам, господин Тиканен? Можно вам предложить кофе?»³⁰

Или вот описание учительницы Ильты, которая учит детей в небольшой сельской школе: «Ее кругловатое чисто-финское лицо, с выдающимися скулами, признаком тюркской расы, было некрасиво. Широкий нос, довольно большой рот, крупные руки и ноги не говорили о породе. Темные, скорее даже черные волосы, сравнительно редкие в этой стране, ровно разделенные пробором, спереди плотно причесанные, спускались по спине двумя длинными косами. Девушку скрашивали только здоровый, бледно-розоватый цвет лица и глубоко сидящие темно-карие глаза. В них таилась мысль, нравственная сила недюжинного существа»³¹.

Женская эмансипация. Народное образование. Школы и университет.

Система народного образования в Финляндии на страницах российских журналов выглядела едва ли не идеально — такой, какой она и должна быть, чтобы воспитывать не только образованных людей, но и патриотов своей страны. И здесь многое зависело от роли женщины в обществе, то есть рука об руку шли женская эмансипация, качество и уровень образования в стране. «Нива» и «Всемирная иллюстрация» в этом вопросе были солидарны.

³⁰ А. Хирьяков. Под чужим знаменем. Нива, 1908, № 30.

³¹ Г. Т. Северцев. Проснулась женщина. Нива, 1907, № 22.

Уже в 1870-е годы автор одной из статей сетовал на то, что Россия отстает от маленькой Финляндии, где дело школьного образования собираются поставить во главу угла по рекомендациям общественного деятеля г. Гриппенберга. «Мать семейства представляется ближайшей руководительницей физического и духовного развития детей; она должна возбуждать и развивать первоначальные их понятия и давать направление склонности ребенка к известного рода деятельности... Для того, чтобы быть в состоянии исполнить добросовестно все эти обязанности, мать должна получить несравненно лучшее образование, чем то, которое дают наши школы. Затем г. Гриппенберг предложил устроить при существующих женских школах высший класс, с тем, чтобы в него допускались и женщины замужние. Преподавать в этом классе следует антропологию, психологию и литературу шведскую и финскую, кроме того должны читаться лекции об уходе за детьми, о детских болезнях и способах их лечения, и об основах общего воспитания. Для женщин, обнаруживших замечательные способности в живописи и музыке, должны быть открыты курсы изящных искусств»³².

Одновременно с этим проектом синодальным финляндским съездом в Борго был выработан проект об обязательном народном образовании. Согласно ему, в каждом приходе должна была быть учреждена школьная дирекция, состоящая из пастора и 4—6 прихожан. Дирекция разделяет приход на участки, решает вопрос о том, должна быть школа постоянной или передвижной, определяет число учителей и их содержание, представляет бюджет на содержание школ общинному совету для утверждения. Занятия предлагалось проводить с 15 января до конца мая и с 1 октября по 13 декабря. Обязательное обучение детей начинать с семилетнего возраста и включить чтение, письмо, счет и священную историю. Для тех детей, кто хочет продолжить образование, должна быть учреждена высшая начальная школа. «Было бы желательно, чтобы подобные учреждения возникли и у нас», — восклицает автор статьи. И с горечью продолжает, что пока это невозможно, потому что представители городского общества, избранные из купечества, сами являются людьми малообразованными и относящимися равнодушно к вопросам народного образования.

В Финляндии же процесс шел, и в 1894 году журналы уже говорят о женском образовании и участии женщин в общественной жизни как о деле практически свершенном, где всего один шаг до получения избирательных прав.

И имея такую информацию, читатель «Нивы» уже не удивлялся тому, какой путь может пройти простая девушка из рассказа Г. Т. Северцева «Проснулась женщина». В рассказе вновь встречаются клише о жизни в «девственной природе», сотнях «непуганых белок» и медведях, приходящих прямо к человеческому жилью. Но характеры описаны живо и ярко, рассказ читается с интересом даже сейчас, а 120 лет назад он вполне мог вдохновить русскую гимназистку на выбор своего жизненного пути.

Учительница Ильта Кервонен из этого рассказа, окончив учительскую семинарию, преподает в сельской школе, затем продолжает образование в университете, возвращается в деревню доктором философии, а затем идет в политику, став активисткой и борцом за права женщин. Своим примером она будет побуждать молодых женщин и мужчин получать образование и просвещать людей в самых глухих уголках своей страны. «Ильта, дочь простого крестьянина, была из другой части Финляндии. Она провела свое детство среди густых, ароматных лесов финской Карелии, на берегу чистых, как хрусталь, озер, отражающих на своей зеркальной поверхности вековые ели и сосны. Глушь, но глушь мирной пустыни, среди дикой, чуть ли не девственной природы, где появление постороннего составляет целое событие [...] Суровая зима, беспросветные ночи отчуждали надолго эти поселки от остального мира; иной год восемь месяцев только

³² Всемирная иллюстрация, 1877, № 425.

встречаются знакомые лица сельчан да старого пастора Лаакса. Но отцовский дом прочно срублен из толстой рудовой сосны, хорошо сложена и промазана жирной глиной печь, не одолеет мороз, не застудит живущих в доме».

Став учительницей, она приобрела любовь своих учеников не только тем, что умела научить, но и тем, что могла их заинтересовать, была и наставницей, и другом, никогда не сердилась и не бранила своих учеников. Вот как описывает обычный школьный день автор рассказа: «За дверью классной комнаты слабо задребезжал старый колокольчик. Урок окончился, но тем не менее, все эти детские головки с белыми, точно северный лен волосами, внимательно слушали говорившую учительницу.

— Итак, дети, помните, что я рассказывала вам, а главное — любите нашу родину, эту каменистую, суровую, а вместе с тем дорогую нам страну. После мы споем ей наш привет, а теперь займемся гимнастикой! — спокойно-уверенным тоном сказала учительница, высокого роста худощавая брюнетка, одетая в черное холстинковое платье и дешевые простые ботинки. [...] Девтора была рада после двухчасовых занятий в комнате вырваться на воздух. Как сорвавшаяся стая воробьев, кое-как накинув на себя пальтишки, куртки, шапки, выскочили они на просторный школьный двор и, точно дисциплинированное войско, выстроились у гимнастических приборов. Девочки стояли рядом с мальчиками, — в Финляндии оба пола учатся вместе, — маленькие ростом впереди высоких. Ильта Кервонен не заставила себя ждать. Несмотря на холодный октябрь, она надела сверху только легкую вязаную шерстяную кофточку, а на голову такой же берет.

— Если кто из вас, дети, чувствует себя нездоровым или кому холодно, тот может не заниматься сегодня гимнастикой и идти обратно в класс! — заметила она собравшимся. Никто из детей не вышел из рядов, даже стоявшие впереди две малюсенькие девочки. Учительница стала перед детьми и начала показывать различные движения руками и ногами. Старшие по классу принесли особые, гладко оструганные палки, дети проделывали различные упражнения с ними. На видневшейся через школьную крышу колокольне кирпичи звучно пробило двенадцать ударов. Ильта сверила свои часики и кивнула головой детям. Этого было достаточно, чтобы они, с раскрасневшимися от холодного воздуха и упражнений лицами, весело гурьбой побежали обратно в школу. Старшие остались во дворе, чтобы убрать палки и подмести площадку.

Без дальнейших указаний детвора собралась возле небольшого фисгармониума, учительница села за него и начала играть патриотический гимн *Suomi Sang*³³. Ровно в час школьное здание опустело, затих веселый детский говор, беззаботный смех, не слышно стало беготни, шуму, раздававшихся здесь с восьми часов утра»³⁴.

Кто-то из учеников Ильты, получив начальное образование, мог продолжить его в лицее, а затем в университете. Вот одно из описаний Гельсингфорсского университета.

«Гельсингфорский университет имеет для Финляндии громадное значение. В нем сосредоточено все умственное движение края. [...] При университете служит более 50 профессоров; ежегодное число учащихся простирается до 600 человек. Студенты пользуются в Финляндии не только любовью, но и уважением народным; большинство их — сыновья зажиточных крестьян, что, однако не мешает им играть видную роль в обществе. Они имеют свой дом для собраний, а также библиотеку. Последняя весьма богата. Она заключает в себе более 110 000 томов, и число их постоянно возрастает. Постройка здания, в котором помещается библиотека, начата еще в 1830 году, а окончена в 1852. Как дом, так и библиотека, основаны благодаря усилиям студентов, которые, с целью добыть необходимую сумму, объезжали свою страну, устраивая концерты. В студенче-

³³ «Маамте» Пациуса на слова Рунеберга.

³⁴ Т. Г. Северцев. Проснулась женщина. Нива, 1907, № 22.

ском доме часто даются балы, привлекающие много публики, для которой открыта и университетская библиотека»³⁵.

И снова здесь, как и во многих других очерках и рассказах, подчеркивается роль человека, его выбора своей судьбы. Для России, в которой только 15 лет тому назад было отменено крепостное право, о таком можно было только мечтать. Финляндия снова как бы показывала русской интеллигенции, как можно идти вперед при взаимном уважении членов общества, соблюдения справедливых законов и имея перед собой цель процветания страны.

КУЛЬТУРА

Литература

Начало XX века ознаменовалось празднованием столетних юбилеев двух выдающихся деятелей литературы Финляндии: Элиаса Ленрота (1802—1884) и Иоганна Людвиг Рунеберга (1804—1877). А чуть ранее, в 1898 году, скончался в возрасте 80 лет Сакариас Топелиус (1818—1898). «Нива» откликнулась на эти три события большими очерками, в которых описывался вклад этих писателей в мировую культуру. К очеркам прилагались гравированные портреты.

«27 марта т. г. Финляндия празднует столетие со дня рождения одного из величайших своих сынов — Элиаса Ленрота, открывшего финскую народную поэзию и создавшего финский литературный язык. В настоящее время благодарные финляндцы воздвигают в Гельсингфорсе роскошный памятник своему знаменитому соотечественнику [...] Ленрот имел предшественников по собиранию народной поэзии, но ему одному удалось сделать эпоху в истории финской литературы и финского языка: он заметил связь между отдельными эпическими сказаниями и восстановил финский народный эпос, названный им: „Калевала“. Отмечалось, что наряду с «Калевалой» он написал сборник лирических песен «Кантелетар», собрал и издал «Поговорки финского народа», «Загадки финского народа» и «Древние финские заклинания». В течение 10 лет с 1853-го по 1862 год Ленрот занимал в Гельсингфорсском университете кафедру финской литературы и финского языка. Кроме того, он издавал две народные газеты, был душой основанного в 1831 году Финского литературного общества, а в 1869 году поступил членом в комитет для составления финского молитвенника. «Смерть Ленрота 7 марта 1884 года вызвала национальную скорбь во всей Финляндии; его похороны в родной капелле Самматти, равно как и празднование его 80-летнего юбилея в 1882 году и, наконец, предстоящее празднование столетия со дня его рождения носили носят национальный характер, так как в них принимал и принимает участие весь финский народ»³⁶.

Через два года «Нива» сообщает о торжествах, связанных со 100-летием со дня рождения Рунеберга. Журналист пишет: «Отличительной чертой поэзии Рунеберга является горячая любовь к отчизне — любовь, чуждая и намек на фанатизм и нетерпимость. Никто так не воспел суровой природы Финляндии и жизни ее трудолюбивого населения, никто не воплотил в столь художественные формы дух финского народа, как Рунеберг. Поэтому он, бесспорно, занимает в финляндской литературе первое место и принадлежит к числу самых выдающихся шведских поэтов. [...] Из крупных произведений, изображающих финскую жизнь, „Рассказы прапорщика Столя“ справедливо считаются критиками самым лучшим; в них отразилось неизгладимое впечатление, оставленное в поэте русско-шведской войной 1808—1809 годов, происходившей

³⁵ Всемирная иллюстрация, 1876, № 397.

³⁶ Элиас Ленрот. Нива, 1902, № 12.

в его раннем детстве. Вступительная песня „Наш край“ сделалась национальной, которая поется в Финляндии во всех торжественных случаях». Автор статьи вспоминает также о других произведениях Рунеберга с сюжетами из финской жизни («Стрелки лосей», «Ханна», «Вечер на Рождество») и о том, что филолог и профессор Александровского/Aleksanteri и Санкт-Петербургского университетов Яков Грот (1812—1893) был личным другом Рунеберга, делал переводы его стихотворений и ставил «Стрелков лосей» наравне с «Калевалой» для понимания характера народа. Журналист «Нивы» напоминает, что за несколько недель до своей смерти Рунеберг был избран в почетные члены Российской академии наук (до него этого удостоивались лишь два поэта: Галлер и Гёте). А после смерти Рунеберга «благодарный финский народ воздвиг в Гельсингфорсе роскошный памятник своему любимому поэту, его дом хранится в г. Борго, как национальная святыня, а день рождения Рунеберга — национальный праздник»³⁷.

Сакариас Топелиус был менее известен российской публике, чем Ленрот и Рунеберг. И автор статьи, а скорее, пространного некролога рассказывает читателям о вкладе этого поэта в мировую культуру. Он пишет, что, к сожалению, на русский язык были переведены лишь томик сказок Топелиуса и несколько его стихотворений, в то время как европейский читатель хорошо знает все его произведения.

Упоминая о том, что в течение десятилетий Топелиус преподавал историю Финляндии, северных стран и всеобщую, а также был ректором университета в Хельсинки, автор статьи заостряет внимание читателя на усилиях ректора Топелиуса по допущению к обучению в университете женщин. А его хрестоматия — «Книга о нашей стране» — была введена во всех народных школах Финляндии. «Отличительной чертой музыки Топелиуса является его сильная и вместе с тем симпатичная любовь к родине, — любовь, чуждая и намека на нетерпимость и фанатизм. В этом свойстве своей поэзии он сходен со своим современником и другом, другим известным шведским писателем — Рунебергом»³⁸.

К столетию со дня рождения Ленрота было приурочено открытие нового театра в Гельсингфорсе, у железнодорожного вокзала. Автор статьи об этом событии напоминает, что на строительство было потрачено до 1½ миллиона марок — сумму, которую составили не только государственная субсидия и займы казны, но также пожертвования компаний и частных лиц. То есть строительство приобрело характер всенародного национального проекта. В статье упоминаются вряд ли хорошо знакомые русскому читателю имена писателей и драматургов, произведения которых ставились в театре. Это Алексис Киви с его пятиактной драмой из народной жизни «Портные из Нумми», Минна Кант с целым рядом драм, Казимир Лейно с исторической пьесой периода крестьянской «Дубинной» войны конца XVI века «Якко Илька и Класс Флемминг», а также переложения из «Калевалы» и событий финской истории³⁹. Звездой театральной труппы была Ида Альберг.

В этом разделе, наверное, было бы уместно хотя бы вскользь упомянуть и об очень важном просветительском проекте издателя «Нивы» Адольфа Маркса — издании тринадцати сборников «Фьорды», которые выходили с 1909-го по 1913 год. В них печатались переводы произведений скандинавских (шведских, датских и норвежских писателей и драматургов). Эти сборники открывали для российского читателя имена Ибсена, Стриндберга, Гамсуна, Бьёрнсона, Йонаса Ли и многих других. Вся эта информация была явно незнакома большей части подписчиков «Нивы» и сыграла роль

³⁷ Столетие Рунеберга. Нива, 1904, № 4.

³⁸ Захарий Топелиус. Нива, 1898, № 14.

³⁹ Открытие нового финского театра в Гельсингфорсе. Нива, 1902, № 16.

в создании положительного образа интеллектуальной жизни соседних северных стран, к которым духовно принадлежала и Финляндия.

Живопись

Строительство в 1870 году Финляндской железной дороги способствовало появлению дачных поселений на значительных расстояниях от Петербурга, а также росту числа путешественников. Красоты финской природы не только описывались в очерках, но и запечатлевались художниками. На страницах «Нивы» практически все очерки о Финляндии иллюстрировались рисунками художников, сделанными с натуры (фотографии начали появляться лишь с 1890-х годов). Некоторые художники были вполне успешны и известны современникам и потомкам, участвовали в художественных выставках. Другие известны сейчас лишь специалистам, да и тогда они, несмотря на свой талант, не были на слуху.

К примеру, художник Николай Фокин (1869—1908). Он родился в Петербурге, рано потерял родителей и воспитывался в семье брата. После окончания Петришуле начал заниматься живописью в Обществе поощрения художеств, а откуда поступил в Академию художеств. В 1902 году за картину «Первый снег» получил звание художника и заграничную поездку. Как пишет «Нива» в статье-некрологе: «Почти единственным сюжетом его картин был снег. В некоторых картинах и этюдах под его кистью, краска перестает быть краской и совершается таинство перевоплощения. Если бы можно было собрать все его работы и, вникнув в них, оценить ту гигантскую работу изучения и передачи любимого им снега во все моменты дня и в разную пору зимы, сколько неожиданного наслаждения можно было бы испытать чуткому человеку. [...] Со времен великого пейзажиста Ф. Васильева вряд ли найдется другой художник, столько поработавший в громадной мастерской „под открытым небом“. [...] Его стремление передать момент в природе, впечатление — несомненно сближает его с импрессионистами; задачи Моне в его серии Руанских этюдов очень близки к тому, что искал Фокин...»⁴⁰

Работа круглый день на холоде, в сырости; переезды в нетопленных вагонах привели его к болезни. «В 1904 г. художник Н. М. Фокин вернулся из Германии, где лечился от чахотки, в Россию. Затем он поселился в Финляндии, в Мустамяках, в пансионе г-жи Ланг, где для него была выстроена мастерская, которую он арендовал, — там он и скончался. Мастерская его, одиноко стоявшая на горшке, откуда открывался бесконечный простор большого озера, как маяк, светила своим громадным окном среди сонной финляндской деревушки; когда все спало, там горел огонь в длинные осенние и зимние вечера и ночи, которые он проводил одиноко, шагая и думая. От весны до глубокой осени мимо тархтели финские тележки, развозившие с вокзала и на вокзал дачников, густо населяющих эти места. Этот необычный свет интересовал едущих, и финны-извозчики удовлетворяли любопытство их, рассказывая, что „здесь сияет адна руска худосник, которая писет расивые картины“». В Мустамяках он создал еще несколько картин, но болезнь взяла свое. Он завещал похоронить себя у мастерской, но разрешение получено не было, и гроб отвезли на Шуваловское кладбище под Петербургом.

Художник Егорнов был представлен в «Ниве» двумя произведениями — «Финляндия» и «Зимнее утро», выставившимися на осенней выставке в петербургском Пассаже. Первое охарактеризовали как «типичный пейзаж, хорошо знакомый всякому, кто посещал «страну тысячи озер» — каменистую и лесистую Финляндию. Огромные белесоватые валуны, на которых каким-то чудом растут огромный ели, светлая вода бесконечных озер и бледное небо — вся Финляндия пред нами в этой картине.

⁴⁰ Н. М. Фокин. Нива, 1909, № 17.

Не та Финляндия, которая в своих городах так походит на культурную и выложенную Европу, но Финляндия лесов и гор, в которых как будто все еще звенит голос старого деда Вейнемейнена»⁴¹.

Гравированные изображения картин Владимира Николаевича Федоровича помещались в «Ниве» с 1910-го по 1914 год. В основном — зимние пейзажи, но только два из них точно «привязаны» к Финляндии. Это картина «В Финляндии» (Нива, 1913, № 32) и «На берегах Саймы» (Нива, 1914, № 27). Возможно, к финским впечатлениям относились и «На озере», «Раннею весною», «Река стынет» и «Крылечко под снегом». Картины Федоровича также участвовали в выставках, получали призы, а «Река стынет» экспонировалась в музее Императорской Академии художеств.

Г-жа М. Федорова отметилась в «Ниве» полотном «Финляндские скалы», возможно увиденных ею в Монрепо или на Валааме (Нива, 1910, № 32).

Имя еще одного художника, Пантелеймона Степановича Захарова (1875—1948), присутствует в статьях Интернета, но ничего не говорит простому любителю живописи. В «Ниве» он представлен заставками и иллюстрациями к рассказам, а также в отчетах о художественных выставках Петербурга. Некоторые пейзажи явно напоминают берег залива в Терийоках, где у его отца, лесопромышленника Степана Николаевича Захарова, было несколько участков с дачами в аренду и большая собственная, для проживания семьи, впоследствии получившая название Rajalinna. В 1910 году «Нива» опубликовала его работу с выставки рисунков и эстампов в Императорской Академии художеств «Морской берег». В Петербурге Пантелеймон Захаров входил в Товарищество независимых — выставочное объединение молодых художников, основанное в 1910 году. После 1917 года остался в Финляндии, и при его участии было создано Общество русских художников в Финляндии, в которое входили Илья Репин, Юрий Репин, Владимир Щепанский, Василий Леви, Николай Блинов и другие.

Рисунки Петра Гнедича и Николая Каразина иллюстрировали их собственные путевые заметки по Финляндии, о которых было рассказано выше.

Имена Альберта Бенуа, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Валентина Серова не нуждались в представлении. Это были известные живописцы, академики Императорской Академии художеств.

Акварели Альберта Бенуа были представлены на ежегодных выставках Общества русских акварелистов, и «Нива» в своих репортажах (1910, 1913 и 1914) рассказывала об экспонатах этих выставок. Поездка на Иматру вдохновила Альберта Бенуа на серию работ: «Возле Иматры», «В парке Рауха близ Иматры», «Дорога в гостиницу „Каскад“ на Иматре», «Крестьянские постройки близ Иматры».

На ранней (1873) картине А. Куинджи «Финляндия» из Третьяковской галереи был изображен довольно унылый и однообразный пейзаж берега лесного озера или болота (Нива, 1914, № 2). Рука гравера здесь явно «убила» всю поэтику полотна, и вряд ли читатели «Нивы» смогли догадаться о цветовых разливах неба и серебряном свете надвигающейся грозы над островом Валаам.

Творчество Ильи Репина, представленное в «Ниве», — это прежде всего портреты писателей и актрис, написанные в «Пенатах»: Леонид Андреев, Максим Горький и Мария Андреева, Корней Чуковский. Номер 29 «Нивы» за 1914 год можно вообще назвать юбилейным, посвященным И. Е. Репину: большая статья о нем, ранние работы, портреты детей, фотографии «Пенат». В 1903 году было помещено гравированное изображение с картины Репина «Какой простор», где осенний ветер, штормовые волны Финского залива, каким он был в ста метрах от «Пенат», и фигуры молодых студента и курсистки символизируют надежду на прекрасное будущее в свободной России.

⁴¹ «Финляндия». Худ. С. Егорнов. 1910, № 9.

Не обошла вниманием «Нива» и сына И. Е. Репина, Юрия Репина, поместив несколько его работ и сопроводив их теплыми словами о несомненном таланте молодого художника. Портрет жены с сыновьями был куплен в Третьяковскую галерею, а за картину «Великий вождь», посвященную Петру I, он получил денежную премию от Общества поощрения художеств.

У Валентина Серова также была дача, вернее, небольшой домик близ форта Ино. При его жизни «Нива» поместила на своих страницах его «Юных мечтателей» (сыновей, стоявших на террасе этой дачи), откомментировав так: «Опершись о балюстраду деревянной вышки на морском берегу, стоят два маленьких мальчугана и смотрят вдаль — туда, где синее бесконечный простор моря и ползет дымок парохода. Воображение у юных мечтателей работает с необыкновенной силой: оба они теперь вовсе не малые ребята в длинных кудряшках и коротеньких штанишках, но взрослые, даже старые моряки — седые „морские волки“. Один из них капитан корабля, другой — его помощник. И оба они стоят, опершись вовсе не на деревянные перила береговой вышки, но на поручни капитанского мостика. Они летят отыскивать новые страны — и, вот, после долгого пути, после напряженного ожидания — на горизонте, того и гляди, появится земля»⁴². И только в 1914 году, после смерти художника, были показаны некоторые другие его работы, в том числе написанные в Финляндии: «Волы», «Ели», «Сенцы», портреты Ильи Репина и Леонида Андреева.

Известный живописец и репортажный художник, баталист Иван Владимиров, у которого была дача в Келломяках по Финляндской железной дороге, часто использовал мотивы, его окружавшие, в своих рисунках. Это и типично северные пейзажи, и такие детали, как косые заборчики по дорогам, сосны, вгрызающиеся корнями в дюны. В «Ниве» были помещены работы Владимирова: «Весной», «На маневрах в Финляндии», «В финских шхерах», «Стрельба в цель».

«Нива» рассказывала и о финляндских художниках, которые работали в России или экспонировали свои работы на петербургских выставках.

Первым и неоспоримо великим был, конечно, Альберт Эдельфельт, действительный член Российской Императорской Академии художеств с 1895 года. Он единственным из финляндских художников смог добиться признания при русском императорском дворе. В начале 1880-х он работал над портретами детей великого князя Владимира, затем получил заказ на несколько жанровых картин от императора Александра III и портреты его детей Ксении и Михаила. Спустя 15 лет Эдельфельт участвовал в создании коронационного альбома императора Николая II и написал несколько его портретов⁴³.

«Нива» во многих своих номерах с 1884-го по 1905 год знакомила читателей с творчеством этого художника. На страницы журнала были помещены его картины «Моя бабушка в 1804 году», «Горе», «У церкви», «Прачки», «Похороны ребенка», «У скульптора», «Богослужение на морском берегу Финляндии», снабженные краткими описаниями сюжетов. Вот, к примеру, что было написано о последней: «...финское население, особенно на крайнем севере, редко и как бы затерялось в бесконечном пространстве. Как же быть, чтобы пастырь мог вместе с паствою воздавать должное Богу? Картина талантливого финского художника А. Эдельфельта „Богослужение на морском

⁴² Юные мечтатели. Худ. В. Серов. Нива, 1901, № 11.

⁴³ В ноябре 2019 — январе 2020 состоялась выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы» в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге. Куратором выставки была Сани Контутла-Вебб, директор Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Тогда же был издан альбом «Альберт Эдельфельт и Романовы». СПб.: Ин-т Финляндии в Санкт-Петербурге, 2019.

берегу Финляндии“ указывает нам, как просто разрешается этот вопрос. Сам Господь Бог раскинул для молитвы верующих шатер, какого краше нет. Простой стол служит аналоем и проповеднической кафедрой. Но взгляните на лица молящихся, и вы убедитесь, что и при такой скромной обстановке, молитва может быть не менее усердна и умирительна, чем в самом великолепном храме» (Нива, 1900, № 28).

В 1896 году состоялась очередная выставка в Императорской Академии художеств, на которой Эдельфельт выставил около 20 картин, заслуживших следующие слова корреспондента «Нивы»: «Если бы почаще мы имели возможность любоваться здесь такими сильными художниками, как г. Эдельфельт, то это оказало бы, вне всякого сомнения, необыкновенно освежающее впечатление на наших художников и — как знать? — может бы сильно подвинуло нас вперед» (Нива, 1896, № 14).

В некрологе Эдельфельта было отмечено главное, что составляло едва ли не основную черту, характеризующую финляндского гражданина в глазах российских читателей, — любовь к родине. Какое бы место ни занимал человек в жизни, будь это простой рыбак, учительница сельской школы или знаменитый художник, главным было то, что его труд шел на прославление своей страны. «...Большую часть рабочего времени Эдельфельт все-таки посвящал своей родной Финляндии. Даже работая вдали от родины, он неустанно воспроизводил на полотне ее типы, пейзажи, ее былую и современную жизнь. Горячая любовь к родному краю бьет ключом в произведениях Эдельфельта и придает им яркость и удивительную целостность. В них чувствуется художник со строго определенной творческой деятельностью, занимающий исключительное место в ряду современных живописцев. Эдельфельт в более позднее время работал у себя на родине. Он сделал множество рисунков к истории Финляндии, иллюстрировал книги и расписывал стены актовой залы в Гельсингфорском университете. Смерть захватила его в полном расцвете таланта и в разгаре энергической плодотворной деятельности.

Для финляндского искусства Эдельфельт имеет колоссальное и пока даже исчерпывающее значение. До него Финляндия еще не дала ни одного европейски-известного имени, да и теперь, кроме Эдельфельта, трудно указать кого-либо из финских художников, хотя бы даже менее известного в Европе. Он поднял родное искусство на огромную высоту почти из небытия»⁴⁴.

Имя Акселя Галлен-Каллелы почти не упоминалось в «Ниве; его причисляли к «модернистам», которые предали идеалы классической живописи. «Нива», резко отрицавшая в начале XX века новые течения в искусстве, поддерживала эту точку зрения либеральных консерваторов (правда, спустя десятилетие взгляды слегка смягчились, но было уже поздно: на пороге стояла русская революция). Единственная картина этого художника — «Первый урок» — под именем Аксель Галлен была помещена в № 6 за 1901 год. Описание картины, которая укладывалась в представления редакции «Нивы», какой должна быть национальная живопись, гласило: «Темно и уныло в бедной лачужке финского рыболова. Единственное окно ее занесло снегом. Но в ней мерцает ясный огонек первоначальной, самой ценной и нужной науки: старик-отец учит свою дочку читать. Она пристроилась у окна и разбирает по складам книгу, быть может, единственную в обиходе рыбака. Теперь, когда море — зимою — застыло, отец сидит целый день дома, и ему можно среди разных мелких домашних работ и починок посвятить часть своего свободного времени этим первым урокам. И пока девочка с трудом разбирается в рядах этих мелких букв и старательно связывает их одну за другой, вся уйдя в это трудное занятие, — отец строго и внимательно следит за нею, забывая по временам, ради нее, свою работу. Следит он за ее чтением и думает, что мало-пома-

⁴⁴ А. Эдельфельт. 1905, № 36.

лу выучится его дочь и писать и не будет темной и беспомощной дикаркой, но сумеет и прочесть книжку, и написать письмо. Побольше бы таких отцов и таких дочурок».

Многообещающей молодой финской художницей, картины которой попали на страницы «Нивы», считалась Ингрид Руин. Журнал откликнулся на выставку в Императорском обществе поощрения художеств в 1912 году, поместив статью о ней. В статье говорилось, что г-жа Руин — дочь профессора Гельсингфорсского университета. Первоначально она училась рисованию в художественной школе Финского общества художников, затем в Королевской датской академии художеств в Копенгагене, где ее учителем был известный художник Вигго Иогансен. Довершила свое художественное образование она уже в Париже, Дрездене и Риме. Именно тогда она показала свои работы Альберту Эдельфельту, почти перед самой его смертью, и тот рекомендовал ее в ученицы к знаменитому в те годы шведскому живописцу (а также графику, акварелисту, граверу, фотографу и скульптору, высокоцитимому в России) Андерсу Цорну. Цорн называл Ингрид Руин «завещанием Эдельфельта».

В статье, посвященной Руин, в качестве одной из положительных черт ее творчества, отмечалось, что, несмотря на прекрасное европейское образование, она не изменила своей национальной сути и продолжала писать картины из народной жизни.

«Школа, пройденная талантливой художницей у Цорна, естественно отразилась на ее творчестве. Излюбленные Цорном мотивы народной жизни можно считать характерными и для г-жи Руин. Склонность к портретной живописи и самая манера этой живописи, смелая и широкая, тоже напоминают о шведском художнике. Но повторяем, Ингрид Руин внесла в свое творчество свои национальные черты: картины народного жанра подчерпнуты ее из родной Финляндии. Изображаемые ею типы носят также типично финские черты. В этом отношении Ингрид Руин несомненно национальная художница — дитя своей страны и своего народа.

Выставка ее произведений, имевшая место в залах Императорского общества поощрения художеств, прошла с крупным успехом. Картины Ингрид Руин были замечены художественной критикой и публикой, и наша пресса в свое время уделила ей много лестного внимания.

Воспроизводимые на страницах нашего журнала картины Ингрид Руин: „Финская крестьянка из Эстерботтена в национальном костюме“, „На берегу“, „Этюд“, „Она прислушалась“, „В коровьем хлеву“ и „Автопортрет“ художницы дают представление о своеобразном и ярком таланте ученицы Цорна. Они знакомят нас и с прекрасной техникой г-жи Руин, и с оригинальной свежестью ее сюжетов»⁴⁵.

В том же номере «Нивы» была помещена фотография в мастерской скульптора В. О. Фредмана-Клюзеля, который лепил ногу балерины Анны Павловой, а Ингрид Руин одновременно писала ее портрет.

Интересна трансформация взглядов на так называемое «новое искусство» на протяжении 10—15 лет. Исходные представления состояли в том, что национальное искусство (живопись, скульптура) не только создаются национальными художниками, но и изображают сюжеты из жизни страны, ее пейзажи, героев и великих людей, воплощают ее национальный дух. Именно этот упрек — в отсутствии «национального духа» — был выдвинут критиком при обзоре в «Ниве» Скандинавской выставки 1898 года, состоявшейся в залах Общества поощрения художеств.

«Северная» художественно-промышленная выставка, проведенная в Стокгольме в мае—сентябре 1897 года Швецией и Норвегией, была приурочена к 25-летию правления короля Оскара II. На следующий год ее художественный раздел был привезен в Петербург и, как считает критик, потерпел полное фиаско. Неудача, по его мнению,

⁴⁵ Ингрид Руин. Нива, 1913, № 8.

не была связана с отсутствием интереса у петербургской публики к скандинавскому искусству (скандинавские писатели были в это время на пике популярности). Дело было в том, что художники поддались на так называемые «новые веяния», и их полотна были полны «импрессионизма», «мистицизма» и «символизма», полученные в процессе обучения у западноевропейских художников. Критика раздражал непонятный ему выбор красок для изображения, неестественные позы людей, совы, которые больше дерева или утеса. Этого не могло быть в реальной жизни, не говоря уже о том, что здесь не было «национального духа», несмотря на сов, утесы и ели. А главное — что отсутствовал старый, но вечно молодой «дух великих мастеров кисти, созвавших и воплотивших в своих блестящих произведениях непреложные законы художественного творчества» (Нива, 1897, № 47).

Почти одновременно с этой выставкой состоялась и выставка русских и финляндских художников в залах Училища барона Штиглица — знаменитая выставка Сергея Дягилева, постер к которой создал Константин Сомов. Эта выставка вызвала множество дискуссий и настоящий разгром от Стасова. Оценка критика «Нивы» была также резко отрицательной с повторением слов о нежизнеспособности и заурядности космополитизма с его декадентством и мистицизмом. И это несмотря на то, что Дягилев отбирал на свою выставку произведения, отмеченные именно «национальным духом» и «народными традициями». Но представления о народном и национальном у него и художников-академистов, к которым принадлежали и Стасов, и Репин, было различным (Нива, 1898, № 10).

Не все журналы (а с ними и читатели) разделяли подобную точку зрения. Приведем здесь для примера мнение критика журнала «Всемирная иллюстрация», журнала, который конкурировал с «Нивой», и позиция редакции была другой. Это видно и по рецензии на выставку русских и финляндских художников. Приведем ее часть, касающуюся финляндских мастеров: «Почти все финляндские художники в разных степенях и с различными индивидуальными особенностями, подобно гг. Врубелю, Ционглинскому, Серову, Боткину преследуют импрессионизм в своеобразном смешении с другими направлениями. Г. Лагерстам знакомит нас с мотивами финляндского пейзажа; г. Эрнефельт — талантливый портретист, хотя и его пейзажи (например, „Этюд“) открывают любопытные уголки северной природы. Г. Гален выставил несколько превосходных портретов и две картины, изображавшие два эпизода фантастического характера из поэмы „Калевала“. Это — две сложные композиции с сильно фантастическим характером, показанные в темном тоне. Некоторое сходство с г. Галеном имеет г. Бломстед, но он более пейзажист. Некоторые его вещи, например, эпизод из „Калевалы“, „Франческа“, „Полнолуние“, „Солнечные лучи“ прекрасны и по колориту, и по рисунку.

Из числа других финляндских художников мы упомянем гг. Вальгрена, Галонена, Гебгарда, Энгберга, и в особенности г. Эдельфельда, с которым наша публика более или менее знакома по его прежним картинам, бывшим на академической выставке.

Теперь, указав на главные произведения школы, нам нетрудно будет указать на существенный характер ее. Характер этот — живописность. Я хочу этим сказать, что художники этой школы, оставаясь отчасти реалистами в воспроизведении действительности, мало обращают внимания на сюжет, мало заботятся о воспроизведении детальном действительности, и видят в ней только то, что имеет характер живописности в гармонии линий, в сочетании тонов и красок. В этом может быть и заключается существенный характер той художественной реакции, которая обнаруживается в новейшей школе. И эта реакция несомненно имеет свой *raison d'être*. С одной стороны, академическая условность, с другой бестолковый реализм привели живопись к отрицанию ее самой, превратили ее в какой-то снимок, более или менее точный, но лишенного жиз-

ни и живописного характера. Протест против такой узкости был необходим; по временам он выражается странно, претенциозно, иногда архаично, но в нем есть верное чутье задач искусства, и со временем, можно надеяться, из этого движения возникнет настоящая крупная школа»⁴⁶. Владимир Чуйко увидел и показал слабость академической школы, которая превращалась в безжизненную фотографию, слепок жизни (не в упрек фотографам, которые как раз при помощи своего искусства умели «оживлять» снимки). Время национальных школ в живописи уходило в прошлое, как за двадцать лет до этого ушли в прошлое Парижские салоны, не принявшие импрессионистов.

Прошло всего каких-то 16 лет со дня выставки, и другой критик «Нивы» все же осмелится написать, что «произведения финских живописцев за последние десятилетия выдвинулись весьма заметно на горизонте нового искусства» (Нива, 1914, № 11). Но это были все те же Аксель Галлен-Каллела, Ээро Ярнефельт, Пекка Халонен, Альберт Гебхарт, Вайне Блумстедт...

Музыка

Иное отношение было к финским композиторам. Может быть, потому, что только к 1914 году на них обратил внимание музыкальный обозреватель «Нивы» Евгений Браудо⁴⁷. Рассказав в начале статьи о кантеле и «Калевале», о необъятности снежных равнин, жутком покое девственных лесов и мрачной фантастике прибрежных скал, автор статьи перешел к основателю финской национальной музыкальной школы Фредрику Пациусу. Помимо таланта композитора, тот был прекрасный организатор и педагог, основал в Гельсингфорсе симфонический оркестр, Хоровое общество, высшее музыкальное училище и студенческий музыкальный кружок, написал музыку гимна Финляндии на слова Рунеберга. Е. Браудо дал краткую характеристику композиторам, которые пришли вслед за Пациусом и в значительной степени были наследниками немецкой школы. Тем не менее народные мотивы в произведениях Филиппа фон Шануа и Мартина Вегелиуса, равно как и романсы Оскара Мерианто, были популярны во всех слоях финского общества.

Браудо характеризовал Мерианто как превосходного пианиста, дирижера и органиста, одного из наиболее видных музыкальных деятелей Финляндии. Но настоящим «Зигфридом-освободителем» финской музыки и отцом-основателем новой финской школы Браудо посчитал Грига, без которого не проявился бы талант Жана (Яна) Сибелиуса. Новая финская музыка композиторов, группирующихся вокруг Сибелиуса, «возбуждает наш интерес главным образом небольшими звуковыми пейзажами импрессионистского типа и мечтательными пьесами, овеванными фантастическими образами народных преданий». И далее: в творчестве Сибелиуса «чувствуется трепет музыкальной души, взволнованной образами героической финской мифологии. Сибелиус любит прибегать в своей музыкальной декламации к мелодическим оборотам народных песен (5-ти и 7-дольного размера). Свежий аромат поэзии чисто финского

⁴⁶ В. Чуйко. Всемирная иллюстрация, 1898, № 1515. Чуйко Владимир Викторович (1839–1899) — русский литературный и художественный критик, переводчик. Сотрудничал с рядом газет и журналов, автор монографии о Шекспире.

⁴⁷ Е. Браудо. От народной песни к музыкальной драме. Очерк музыкального развития Финляндии. Нива, 1914, № 11. Евгений Браудо (1882, Рига — 1939, Москва) — русский и советский музыковед, публицист и переводчик. Получил музыкальное образование в Рижском музыкальном училище, затем изучал историю музыки в Германии. С 1914 года преподавал в учебных заведениях Петрограда и сотрудничал с художественными и литературными журналами («Аполлон», «Нива» и др.) Профессор, историк западноевропейской музыкальной культуры.

характера присущ всем лучшим произведениям Сибелиуса. Таинственный шепот лесов Суоми, острая и необузданная ритмика мужицких танцев, скудные аккорды кантеле, суровые образы народных легенд, точно высеченные могучим резцом в гранитных скалах, — все это нашло свое звуковое отображение в его партитурах».

Браудо восторгается мастерством Сибелиуса в построении оркестровых партий, во введении в композицию мужского хора, как в оркестровой легенде «Куллерво». Без хора обходится построение оркестрового цикла о герое «Калевалы» Леминкайнене⁴⁸.

Таким образом, критик приветствует и «новое искусство» (которое к 1914 году перестало быть уж совсем новым), стоящее на прочном основании национальной культуры. Наверное, это был тот самый идеал, который требовали профессионалы и публика в те годы.

Е. Браудо называет еще несколько имен композиторов, и первым из них — имя единомышленника Сибелиуса Роберта Каянуса. Браудо считает, что именно Каянус был истинным зачинателем национального движения в истории музыкального развития Финляндии. Но он был менее ярък, чем Сибелиус, в своих музыкальных произведениях. Зато Каянус стал не превзойденным на тот момент дирижером, в котором соединились «чуткость музыкальных интерпретаций с огненной силой подъемов». Он преобразовал небольшой оркестр финской филармонии в первоклассный концертный ансамбль, основал симфонический хор, образцово исполняющий симфонические оратории.

Еще одно имя, неизвестное большинству читателей «Нивы», — это Армас Ярнефельт, на 1914 год директор Стокгольмской королевской оперы, музыкант-лирик, написавший ряд пьес и баллад⁴⁹.

К новому поколению «модернистов» Браудо относит Эрика Мелартина, Селима Пальмгрена, Тойво Куула.

Эрик Мелартин — автор оперы «Айно», четырех симфоний, ряда симфонических поэм и камерных вещей. Его музыкальный стиль Браудо определяет как «интимный и деликатный, не чужд влиянию новофранцузских импрессионистов, оркестровая палитра разнообразна, хотя яркие краски часто подернуты дымкой северных туманов».

Пальмгрена ценят на родине за мужские хоры, а в России за изящные пьесы для рояля и оркестровые миниатюры. Куула прославился на родине «ботническими сюитами», написанными на севере и полными народной фантазией.

Не обошел Браудо своим вниманием и финскую оперу, отдав дань восхищения прославленной певице Айно Актэ. В городке Нейшлот с его старинным замком Олафсбург на берегу Сайменского озера она построила оперную сцену. Стены замка в 1912 году стали декорациями оперы Мелартина «Айно», а на следующий год — оперы Мери-канто «Смерть Элины». Браудо восторгается этой задумкой Айно Актэ и убежден, что «чисто народный характер этих празднеств, вся обстановка их несомненно приведут современных финских художников звука к непочатому богатому кладу саг и легенд страны Суоми. И мы не сомневаемся в том, что в области оперы-сказки, оперы-легенды финским музыкантам предстоит еще сказать свое новое слово, раскрыть нам новые источники вечной юности и красоты в искусстве».

⁴⁸ Сибелиус. Четыре легенды, ор. 22.

⁴⁹ Эдвард Армас Ярнефельт (1869, Выборг — 1958, Стокгольм). Его двоюродным дедом по материнской линии был скульптор Петр Клодт. Братья Арвид и Ээро были, соответственно, писателем и художником, сестра Айно стала женой Яна Сибелиуса. В разные годы Армас Ярнефельт был дирижером оркестра Выборгского музыкального общества, оперным дирижером Национального театра Финляндии, директором Хельсинкского института музыки, директором Финской оперы и Хельсинкского филармонического оркестра. Значительный период жизни жил в Швеции и был главным дирижером Стокгольмской оперы.

Промышленные выставки

Всемирные промышленные и художественные выставки, проводившиеся с середины XIX века, стали вершинами национальной идеи, предметом гордости национальных государств, на которых последние могли представлять результаты труда своего народа. Первая выставка, организованная в 1851 году в Лондоне, в построенном специально для этой цели «Хрустальном дворце», привлекла всеобщее внимание. Выставки проводились в разных городах преимущественно государств Европы и США нерегулярно, с периодичностью раз в полтора-два года или в пять-шесть лет. Страны на таких выставках смогли сравнивать результаты своей деятельности в разных областях промышленности, техники, культуры и идти к новым достижениям. Вхождение в «открытый клуб» таких государств означало признание высокого уровня экономики.

Кроме всемирных, проводились и национальные выставки, иногда по отраслям деятельности. В 1876 году состоялась Первая Финляндская промышленная выставка. Торжественное открытие состоялось 1 июля с хором, оркестром, приветственными речами председателя выставочного комитета сенатора Борна (на шведском языке) генерал-губернатора Адлерберга (на французском языке) и исполнением национального финского гимна. Здание для выставки было выстроено в Брунст-парке и, несмотря на свои значительные размеры, поражало легкостью. Корреспондент «Нивы» перечислил все отделы или классы, в которых были выставлены экспонаты, и палитра представленной продукции оказалась весьма широкой и давшей картину промышленного и кустарного развития Финляндии на то время.

Итак, класс I художества (архитектура, скульптура и живопись); класс II горное дело; класс III лесное дело и судостроение; класс IV агрономия и садоводство; класс V машины, предметы транспортов; класс VI работы из металлов; класс VII глиняные, фаянсовые и стеклянные изделия; класс VIII материи, одежды, меха, обувь и разные кожаные изделия; класс IX бумажное производство; класс X деревянные, костяные и другие изделия (здесь же мебельные и обойные работы); класс XI химическое производство и питательные вещества; класс XII педагогические пособия, физические, музыкальные и другие аппараты и инструменты; класс XIII гравирование, стереотипия и типографское дело; класс XIV деревенские работы⁵⁰.

Наверное, для тех читателей, кто по старинке предполагал, что Финляндия — это только страна бескрайних лесов и голубых озер, было откровением прочесть про эти 14 разделов, которые охватывали все отрасли производства экономически развитого государства. И недаром сенатор Борн в приветственной речи сказал, что этой выставкой Финляндия должна вступить в число европейских стран. При этом выставка состоялась всего через восемь лет после страшного неурожая, погодных аномалий, приведших к голоду. Если бы не эти трагические обстоятельства, то выставка должна была состояться раньше.

Финляндия также участвовала отдельными павильонами в различных общероссийских и всемирных выставках. В 1893 году «Нива» дала информацию о Первой Всероссийской выставке гигиены и спасания, поворчав о том, что Финляндия всегда найдет возможность устроить в рамках общероссийской выставки свою «вторую» выставку. Главным экспонатом корреспондент «Нивы» назвал сам Финляндский павильон, который представляет «жилой разборный дом-дачу, из трех комнат и кухни, легко разбирающийся в несколько часов для перевозки его с места на место. Стоит он со всеми принадлежностями, кроме печей и фундамента, 2500 рублей, а с доставкой на петербургский павильон — 3000 рублей».

⁵⁰ Выставка промышленности в Гельсингфорсе. Нива, 1876, № 28.

бургский Финляндский вокзал — 3015. Каменная настилка, служащая основанием павильона, замечательна тем, что совершенно не пропускает влаги, так как сделана из гранитных кубиков с асфальтовой замазкою» (Нива, 1893, № 37).

Описывая Выставку бумажной промышленности в Нижнем Новгороде в 1896 году, «Нива» отмечает, что доля Финляндии в производстве бумаги значительная: она производит более 1 миллиона пудов из 6,5 миллионов пудов в год всего в России. Более того, российские промышленники жалуются, что их теснит сильная финская конкуренция. «Действительно, в Финляндии широко и правильно развита древесно-массовая промышленность и производство целлюлозы — главных материалов для фабрикации бумаги, и Финляндия работает превосходно все сорта бумаги от картона до самых тонких и роскошных бумаг, легко соперничающих с бумагой всему миру известных французских фабрик» (Нива, 1896, № 34).

На Парижской Всемирной выставке 1900 года Финляндия удостоилась собственного здания, и какое это было здание! Построенное по проекту великого трио Линдгрэн — Гезеллиус — Сааринен, которое тогда еще только заявляло о себе, и имена ничего не значили для корреспондента «Нивы» (он их даже не назвал). Хотя, наверное, сыграло роль и общее неприятие «нового стиля» редакцией и многими авторами «Нивы», а потому корреспондент называет его «очень скромным по наружности», имея в виду отсутствие привычных глазу «кондитерских» излишеств зданий в стиле эклектики. «По архитектуре он (павильон. — Е. Т.) напоминает деревенскую старинную церковь с высокой круглой башенкой-колокольней. Украшающие павильон орнамент и фигуры воспроизводят главные естественные богатства страны, ее фауну и флору; тут и медведи, и лягушки, и большие сосновые шишки. Очень красив и оригинален орнамент над входными дверями, представляющий ряд голов медведей; над другими дверями орнамент скомпонован из цепляющихся друг за дружку белок. Первое впечатление при входе в павильон — это изящная скромность, как бы семейственность и ясно выраженная сознательная любовь финляндцев к их угрюмой и бедной родине. И это впечатление растет по мере ознакомления с экспонатами. На стенах большие картины и фрески, представляющие сцены из Калевалы и рисующие главные мотивы финляндской природы и важнейшие моменты жизни народа. Многие из этих картин написаны лучшими художниками Финляндии» (Нива, 1900, № 51).

В качестве экспонатов были выставлены аэролит, упавший в 1899 году у деревни Бьюрболе, падение которого было видно на северо-западе: по всей Центральной Швеции и от Вильно до Ладожского озера, и коллекция гранитов. В отделе маяков и лоций были представлены модели ледоколов «Сампо» и «Муртайя». В павильоне показаны также рыбные промыслы, сельское хозяйство и кустарное ремесло. Но главным корреспондент «Нивы» счел экспонаты, которые демонстрируют постановку учебного дела и изучения родины: «Кажется, что все силы финляндцев направлены к умственному и культурному развитию своей страны, и по представленным образцам мы наглядно знакомимся, как благодаря этому повышается и качество, и производительность их труда».

Таким образом, Финляндия и на Всемирной выставке в Париже смогла, по словам корреспондента «Нивы», должным образом представить себя с лучшей стороны и показать свои реальные достижения. И напротив, при описании сельскохозяйственного павильона России корреспондент чуть не плачет от увиденного: «Из всей нашей выставки едва ли не самым жалким был отдел сельского хозяйства. Всякий русский, посетивший его, с чувством горькой обиды и стыда, спешил поскорее с ним расстаться. [...] Но это еще не беда, будь экспонаты интересны. Однако, чье внимание могли привлечь взятые из музеев несколько сельско-хозяйственных орудий, отдельные коллекции

возделываемых в России хлебов, льна, пеньки, табака и почв? Тут же несколько отрывочных диаграмм, картограмм, рельефных карт ирригации и дренажа, аппараты по метеорологии. У главного входа в отдел примостился ряд неуклюжих столбов из зерна, долженствующих иллюстрировать средний сбор главнейших хлебов в России и отношение к нему вывоза за границу. Если к этому с подлинным верному описанию прибавить, что большая часть экспонатов расставлена была на древних столах-ветеранах, побывавших и в Чикаго, и в Антверпене, и в Стокгольме, и в Нижнем-Новгороде, то читателю будет понятно, почему наш сельско-хозяйственный отдел производил впечатление чего-то безжизненного, затхлого, организованного без всякой основной идеи, без всякого сознания практической цели участия России».

Но собственно, для этого всемирные выставки и проводились, следуя русской поговорке «на людей посмотреть и себя показать». Наверное, можно сказать, что «Нива» слишком предвзято относилась к успехам Финляндии и неудачам России, но это и является интересной темой для анализа российского общества того времени.

Финляндский отдел на Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге также вызвал положительные оценки «Нивы»: «...финляндский (отдел) весь выдержанный в строгом *pouveau style*, поражающий массой художественных новинок, которые наглядно указывают, что творческая жизнь в этой северной стране бьется бодро». На фотографии были изображены женщины в нарядных национальных костюмах за ткацкими станками. При этом корреспондент «Нивы» был в восторге от всех экспонентов выставки, предвещая российской кустарной промышленности большое будущее (Нива, 1902, № 12).

Сельскохозяйственная выставка в Куопио попала на страницу «Нивы» в виде нескольких фотографий. Из подписей читатель понимал, что на выставке есть лесной отдел, отдел рукоделий и рыбной ловли (Нива, 1906, № 36).

Лишь фотографий удостоилась и Кулинарная выставка в Михайловском манеже в Петербурге. В Финляндском отделе были представлены соленая рыба, масло, консервированное мясо, долго сохраняющиеся лепешки из ржаной муки и пр. (Нива, 1907, №10).

ПОЛИТИКА

Важной частью представлений о Финляндии была ее политическая жизнь и место, которое Великое княжество занимало в Российской империи. Вопросам политики «Нива» уделяла довольно большое внимание. Во всяком случае, журналисты информировали своих читателей о всех значимых дискуссиях и событиях, связанных с Финляндией. Это касалось и освещения работы Государственной думы и, в особенности, тех ее заседаний, на которые выносились вопросы первостепенной важности. В таких случаях во избежание ошибок давалась прямая речь депутатов или подробный пересказ речи или документа. Нельзя сказать, что Финляндия, именно как государственное образование, часто появлялась на страницах «Нивы». Но было несколько поворотных точек (некоторые из них по-настоящему кризисные), которые приковывали внимание к Финляндии в данный момент.

В январе 1872 года состоялось торжественное открытие финляндского сейма, где генерал-губернатор зачитал речь Александра II к депутатам, которая сводилась к следующему. Сейм открывался вскоре после неурожая и голода конца 1860-х годов в Финляндии, которые привели к жестоким испытаниям и смертям населения страны. Царь назвал это «горестным для моего сердца воспоминанием». Но спустя годы последовали обильные урожаи, строительство железной дороги от Петербурга до Хельсинки,

оживились земледелие, торговля и промышленность, улучшилось состояние экономики. И целью своей политики Александр назвал «сближение жителей различных местностей», и таковое сближение должно послужить делу всестороннего развития и «постепенному рассеянию местных предубеждений» и «упрочению чувства приязни и единства между народами».

Затем шли два важных и «больных» для Финляндии конкретных вопроса, завязанных один на другой: введение в делопроизводство русского языка и воинская повинность — и чиновники, и солдаты должны были понимать инструкции и приказы своих начальников и командиров. В связи с начавшейся в Финляндии школьной реформой и несмотря на более ранние безуспешные попытки введения в школьную программу русского языка, царь тем не менее повелел вновь ввести его в качестве одного из обязательных предметов. Введение в княжестве общей воинской повинности откладывалось до времени введения ее в империи. Всего, как пишет «Нива», на рассмотрение сейма было внесено 34 Высочайших предложения (Нива, 1872, № 7).

Затем на протяжении почти 30 лет, по мнению «Нивы», в Финляндии, видимо, «тишина бысть», если употребить это летописное изречение. О неких «коренных преобразованиях в Финляндии» читатель узнавал косвенно, иногда из некрологов, как, к примеру, из некролога статс-секретаря В. К. Плеве (без «расшифровки», что он был единомышленником генерал-губернатора Бобрикова и проводил активную политику русификации Финляндии: изменения учреждения Финляндского Сената, новый устав о воинской повинности и введение русского языка в делопроизводство).

Кризисным моментом стало убийство генерал-губернатора Н. И. Бобрикова студентом Евгением Шауманом в 1904 году. «Нива» подробно описала жизненный путь убитого: свитский генерал, благополучно для себя миновавший все сражения тех десятилетий и «оказавший блестящие военно-административные способности», в 1889 году назначенный финляндским генерал-губернатором из кабинета начальника штаба войск гвардии Петербургского военного округа. Он свято выполнял напутствие Николая II: «Вверяя попечениям и заботам вашим благосостояние и процветание этого близкого Моему сердцу края, Я питаю уверенность, что неизменно руководствуясь данными Мною указаниями, исполнение новых обязанностей ваших одушевлено будет стремлением вкоренения в сознание местного населения всей важности для блага Финляндского края теснейшего единения его с общим для всех верноподданных отечеством». Собственно, это «вкоренение» и стоило Бобрикову жизни, но, с другой стороны, сделало его героем для части населения России (Нива, 1904, № 24).

Новым генерал-губернатором был назначен князь И. М. Оболенский. «Нива» привела слова из царского рескрипта о назначении, что он возлагает на нового финляндского генерал-губернатора заботу о «теснейшем единении Финляндии с остальной Империей». Особому попечению князя завсерено «укрепить в сознании финского народа убеждение, что исторические судьбы его неразрывны с судьбами России и что дальнейшее преуспевание Финляндии под сенью русского государства и дарованных ей учреждений зависит от прочного водворения в стране мирного течения жизни» (Нива, 1904, № 27). Смысл напутствия был примерно тот же, что Бобрикову, но только вместо «вкоренения» было употреблено слово «укрепление». Видимо, имелось в виду, что некие основные положения неразрывной связи Бобриковым были уже «вкоренены» и теперь осталось их только «укрепить».

Следующим кризисом для Финляндии, как и для всей империи, стала Первая русская революция 1905—1907 годов. «Нива» напечатала царский Манифест, касающийся Финляндии. В нем поручалось Сенату составить новый проект сеймового устава на началах «всеобщего и равного права подачи голосов при избрании народных предста-

вителей»; проекты законоположений о свободе слова, собраний и союзов; проект закона о свободе печати и прекращении деятельности предварительной цензуры. Проекты должны были быть поданы в самое кратчайшее время на чрезвычайном сейме. В этом же номере была напечатана фотография, озаглавленная «События в Финляндии. На площади Сената в Гельсингфорсе: в ожидании провозглашения Манифеста» (Нива, 1905, № 46).

На обсуждение I Государственной думы были внесены два законопроекта, касающиеся Финляндии: о возложении на Великое княжество части военных расходов империи в размере 12 миллионов рублей и о равноправии русских в княжестве с финляндскими гражданами.

Если следовать стенограммам выступлений, которые приводит «Нива», то возмущало депутатов то, что финны не только не служат в армии на территории России, но и подушная плата с них взимается в меньшем размере, чем с русских. Мещанин Крылов, слова которого приводит «Нива», напомнил, что «Финляндия вступила в состав российской державы по праву оружия, была завоевана после пролития крови» и русские должны иметь не меньше прав, чем финляндцы.

Конец всем дебатам по поводу службы финляндцев и денежных платежей взамен этой службы был положен Манифестом Николая II от 24 сентября/7 октября 1909 года. Согласно ему, жителей Великого княжества Финляндского не привлекали к отбыванию личной воинской повинности и взамен ее возлагали на финляндскую казну обязанность вносить платежи в размере 10 миллионов марок в год.

И если в части военных расходов вопрос был в конце концов решен: граждане Финляндии не служили в армии империи, но княжество платило за них отступные, то со вторым было сложнее. И не в последнюю очередь потому, что вмешались дачники, имевшие землевладения по всей длине Финляндской железной дороги, жившие на дачах с мая по сентябрь, но претендовавшие на то, чтобы иметь равные права с гражданами в участии в городском и сельском самоуправлении. А поскольку иногда дачные местности по численности населения в разы превосходили постоянное — проживающих в своих деревнях финнов, то опасения были не беспочвенны.

В данном вопросе «Нива» стояла всецело на сторону русских в их борьбе за равноправие, но поскольку этот вопрос решался в инстанциях долго и нудно, то о нем, как о многих других, как-то нечасто вспоминали. Решение само собой переходило на откуп энтузиастам на местах, которые врывались на заседания общинных советов и требовали участия в дебатах на русском языке, в чем им неизменно отказывалось. Далее следовало судебное разбирательство, председатель общинного собрания отправлялся на пару месяцев в тюрьму за неуважение, но возвращался как герой, и все повторялось. Мы здесь не останавливаемся на этих деталях, потому что «Нива» не освещала подобные случаи; их можно было найти только в газетах.

И если для справки (по данным официоза империи — «Финляндской газеты») перечислить, в чем было отказано негражданам, то это: права в участии в сеймах и сеймовых выборах; поступления на службу в местные правительственные учреждения; все права общественного и городского самоуправления; заниматься судостроительством (судостроением); быть командирами финляндских судов; курить (изготавливать) спирт и торговать винами; сооружать железные дороги; учреждать сберегательные кассы; быть опекунами, если имущество находится в Финляндии; право свободы слова и союзов.

Следующий кризис — это роспуск I Государственной думы в июле 1906 года. Финляндии он касался непосредственно, потому что 180 бывших депутатов собрались в Выборге, ближайшем к Петербургу городе княжества, и приняли там «Выборгское воззвание», призывавшее к пассивному сопротивлению властям. После Выборга часть бывших

депутатов — трудовики и кадеты — перебрались в Терийоки⁵¹ и продолжили совещание, рассматривая варианты дальнейших совместных действий. «Нива» не стала рисковать и обошлась без текста, напечатав лишь две фотографии. На первой изображены сидящие на стульях и деревянных скамьях бывшие депутаты, которые на лесной лужайке обсуждают некую резолюцию. На второй — они же, но уже позирующие фотографу. Подпись под фотографиями гласила: «Члены первой Государственной Думы, собравшиеся после роспуска Думы на заседание в Финляндии». (Нива, 1906, № 28). По окончании совещания в Терийоках депутат М. Я. Герценштейн был убит черносотенцами, что послужило началом длительного полицейского расследования и нашло в дальнейшем отклик на страницах «Нивы». В 1907 году печатались фотографии со свидетелями по делу об убийстве, которое вели финляндские следователи, и в 1909 году — с заседаний суда в Кивеннапе.

В конце июля 1906 года, спустя всего 10 дней после подписания «Выборгского воззвания» произошло восстание в крепости Свеаборг и Гельсингфорсе. «Нива» поместила фотографии с улиц города, дав официальное сообщение и озаглавив фотографии «К событиям в Свеаборге и Гельсингфорсе». В тексте говорилось о мятеже нижних чинов гарнизона Свеаборгской крепости, спровоцированных русскими революционерами и финляндской красной гвардией. На фотографиях были запечатлены бомбардировка Свеаборга правительственными войсками, патрули на улицах Гельсингфорса, аресты красногвардейцев, разрушения в Свеаборге.

В 1907 году состоялись первые всеобщие выборы в сейм Финляндии. Они привлекали к себе внимание всей либеральной России. Как писала «Нива», до того времени существовало четырехпалатное народное представительство: рыцари и дворянство; духовное сословие, учителя и профессора; крестьяне; горожане. По новым законам, во-первых, женщины получили право избирать и быть избранными (и Финляндия стала первой страной в Европе, сделавшей этот шаг); во-вторых, каждый не опороченный и не находящийся на общественном призрении гражданин, достигший 21-летнего возраста. В Финляндии была достигнута идеальная форма выборов — всеобщие, равные, тайные и прямые. «Нива» рассказывала о процессе выдвижения кандидатов от различных партий, особо обращая внимание на кандидатуры женщин. На примерно 1 400 000 избирателей приходилось 72 зарегистрированных партии, вошедшие в семь избирательных союзов, занесенных в бюллетени. Союзы сформировали шведская народная партия, старофинны, социал-демократы, младофинны, христианские партии. В союзы не вошли социалисты и трезвенники. В день выборов фотокорреспонденты прошлись по улицам финских городов, а затем снимки были помещены в различных журналах, и в том числе в «Ниве».

В правление императоров Александра III и, особенно, Николая II попытки на государственном уровне ущемить права и свободы Великого княжества Финляндского, закрепленные на сейме в Борго в июле 1809 года и подтвержденные Александром II в 1863 году принятием Конституции, все нарастали. Бобриковское «вкоренение» было первой ласточкой, и III Государственная дума всерьез взялась за «финляндский вопрос».

Согласно подробным отчетам «Нивы» с заседаний Думы, сформировались две непримиримые партии. 5 мая 1908 года председатель Совета министров П. А. Столыпин ответил на запросы, поданные правыми и октябристами, по сути солидаризовавшись с ними: «Попустительства местных генерал-губернаторов внушили финляндцам мысль о том, что у них существует особая от России государственность, и этим мирозерцанием прониклась вся финляндская интеллигенция, направившая все силы к тому,

⁵¹ Современный город Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга.

чтобы провести эту теорию в жизнь посредством постепенного сокращения области так наз. Административного законодательства, составляющего прерогативу монарха. Мечта о возможно большей самостоятельности страны и толкала горячие головы в ряды красной гвардии и Воймы.

Между тем, по Фридрихсгамскому договору и последующим актам Финляндия состоит в собственности и державном обладании империи, и Александр I, даруя ей внутреннюю автономию, никогда не думал о создании особого государства. Отношения Финляндии к России определяются односторонне державными правами России. Право Финляндии устанавливать свои внутренние законы не покрывает вопросов, затрагивающих общеимперские интересы. Чтобы раз навсегда покончить с финляндским вопросом, необходимо заполнить пробел в существующем законодательстве относительно взаимоотношений имперского законодательства к финляндскому, — и этот вопрос может быть разрешен лишь общеимперскими учреждениями» (Нива, 1908, № 20).

Через три дня Дума вернулась к «финляндскому вопросу» и заслушала депутата Маркова-второго (правые) с еще более радикальной речью и «объявившего сейм в Борго сборищем государственных изменников, так как финляндцы в то время были еще шведскими подданными и, следовательно, не могли вести переговоров с русским монархом, а потому Акт Императора Александра I и решение сейма в Борго не имеют силы закона. Если же допустить, что финляндцы правы в своих домогательствах, то нельзя терпеть в 26 верстах от столицы враждебное нам государство и необходимо вторично завоевать его. Оратор объявил целый ряд государственных деятелей, «поощряющих отторжение Финляндии от России» (Герарда, Оболенского, Лангофа и др.), государственными изменниками и требовал предания их суду. «Русский орел не должен бояться северной кошки, — и нужно отменить финляндскую конституцию, если она мешает благу России» (Нива, 1908, № 21).

Ему и премьер-министру возражал депутат от партии конституционных демократов Милюков и «пришел к тому выводу, что Финляндия есть „часть государства, управляемая своими законами и своим правительством“». Он доказывал, что всякая попытка поставить общеимперские учреждения над финляндскими как высшую инстанцию является незакономерной, и сослался на манифест 22 февраля 1905 года, который говорит о восстановлении в Финляндии того закономерного порядка, который русским же правительством был нарушен так называемым «бобриковским манифестом» 3 февраля 1899 года. Фидрихсгамский договор — не единственный источник, определяющий государственно-правовое положение Финляндии: этот договор определяет не внутренние отношения ее к империи, а международное положение Финляндии, и в его статье 6 имеется упоминание о том, что права финляндцев установлены на сейме в Борго соглашением русского государя с представителями народа. А на сейме в Борго император Александр I утвердил конституционные законы и учредил особое правительство из коренных финляндцев, которое в последней инстанции, независимо от какой-либо другой власти, кроме власти закона и сообразующейся с ним монаршей воли, и должно управлять Финляндией. Воля монарха добровольно ограничила себя известными пределами, и такое обещание связывает верховную власть так же безусловно, как и договор.

Таким образом, требование председателя Совета министров рассмотреть и вотировать в Государственной думе законопроект, устанавливающий порядок разрешения общих дел империи с Финляндией, равносильно полному уничтожению государственной автономии Финляндии, подчинению этой страны имперским учреждениям; это было бы повторением бобриковской попытки нарушить финляндскую конституцию в 1897 году. «Неужели то, — закончил депутат Милюков, — что не удалось совершить русскому са-

модержавию, уничтожение беззащитной маленькой нации, — неужели это будет первым положительным делом конституционной России, русского народного представительства?» (Нива, 1908, № 21).

Таким образом, спектр настроений простирался от «положить предел безнаказанному злоупотреблению терпением могучей империи и неслыханному глумлению над национальным ее достоинством» до пожеланий финляндцам «твердо держаться в борьбе за свои права» до того времени, когда «все нации, проживающие в России, станут истинными братьями». Партия кадетов где-то посередине «выражала уверенность, что культурные и корректные финляндцы поймут, что Финляндия, при всей полноте своих автономных прав, есть все же часть великой России, и совместное сотрудничество Гос. Думы с финляндским сеймом в выработке тех новых норм, на которых должна быть устроена совместная жизнь великого княжества и империи, уладит этот жгучий вопрос без всякого конфликта». А мирнообновленцы в лице депутата Львова рекомендовали решить вопрос «не путем закрепощения Финляндии, а раскрепощения России» (Нива, 1908, № 21).

Прения по вопросу с той же энергией продолжились в 1910 году на заседаниях IV Думы, когда на семьдесят четвертом ее заседании обсуждали все тот же законопроект о порядке издания касающихся Финляндии законов общегосударственного значения. «Депутат Милюков доказывал, что законопроект неправомерен, и что правительство требует от Гос. Думы участия в неправомерном акте; что без согласия финляндского сейма не могут быть ни изменяемы финляндские законы, ни вводимы новые; настоящий же законопроект не представлен на рассмотрение сейма, и принятие его Гос. Думою было бы явным нарушением государственной автономии Финляндии, гарантированной ей всеми русскими государями, начиная с императора Александра I. К этой точке зрения присоединились и прочие ораторы с левых скамей...» (Нива, 1910, № 11).

Правые, в лице графа Бенигсена от октябристов, возражали депутату Милюкову, утверждая, что «Финляндии была обещана монархами внутренняя, а не государственная автономия, и если вопрос об общеимперском законодательстве по делам, касающимся Финляндии, передан на рассмотрение Гос. Думы и Совета, а не разрешен личной волей Государя, — как предлагали некоторые высшие лица нашей администрации, то Дума должна отнестись с благодарностью к этому акту Монаршей милости, а не отвергать законопроект. С правых скамей заявлено было требование (деп. Марков 2-й) чтобы Дума возможно скорее приступила к ограждению прав русского народа от систематического ограбления со стороны финляндцев и выполнила совершенно ясное Высочайшее повеление, которое должно быть законом для Думы». В результате голосования законопроект, большинством против кадетов, трудовиков и социал-демократов, был передан в особую комиссию (Нива, 1910, № 11).

Но ни на одном из заседаний Думы не был задан самый главный «финляндский» вопрос: а зачем России вообще нужна Финляндия? На него попытался ответить безымянный журналист «Нивы»: «Как бы далеко ни зарывались в финляндском вопросе слишком страстные русские патриоты — и русское общество, и русское правительство всегда будут настроены мягко и примирительно, потому что в сущности, России нужна совсем не Финляндия с ее бесплодными гранитами и крепким, как гранит, своеобразным народом, а только фактическое обладание Финским заливом. Реальные политические интересы России вполне удовлетворяются существующим положением, то есть, признанием ее верховных прав, дающих обладание морем, и сохранением полной автономии внутреннего управления Финляндии. В этом смысле и должен быть решен финляндский вопрос» (Нива, 1907, № 46).

То есть мы вернулись в начало — к суровым гранитным скалам и упорному народу.

Судьбы, которые мы выбираем. Проза и поэзия: Сборник. СПб.: Северо-Запад, 2023. — 224 с. — Петраздр, № 81.

Книжная серия «Петраздр» основана в 1995 году, ее зачинатели хотели предоставить авторам возможность публиковать произведения малых форм, прозаические и стихотворные. С тех пор вышло более восьми десятков выпусков, со временем выпуски стали тематические. Тесно связанный с «Петраздром» писатель О'Санчес однажды заметил: «Судьбы спорят, выбирая нас». А что если это действительно так? Что если Судьба сама выбирает себе человека, с которым не расстанется до конца его жизни? Властен ли человек по собственному желанию изменять свою судьбу, или все давно выбрано за него? Но в таком случае существует ли свобода воли? Свобода творчества? Право сказать «нет» или выбрать «да»? И где развилки судьбы? С этими непростыми вопросами пробуют разобраться авторы сборника. Авторы явно не сговаривались, каждый предложил свой вариант ответа. А вот ход их мыслей пошел по двум направлениям. На одном из них оказываются рассказы, где показано, как решительное — и осознанное, преследующее конкретные цели — внешнее вмешательство людей посторонних меняет судьбу конкретного человека. Меняет со знаком плюс или минус. Так, чтобы очередной питомец смог обрести семью, директриса детского дома в очередной раз идет на должностное преступление: дает взятку служащим загса, чтобы подделать документы и изменить имя подопечного согласно капризу возможных приемных родителей. А что делать, если состоятельная пара претендентов на усыновление присмотрела мальчика Кирилла, но хочет подобрать ему брата, но так, чтобы имена детей сочетались. И мальчик, живущий в детдоме под кличкой Немо, превращается в Мефодия. Так человек делает судьбу других. В рассказе поэта, прозаика и составителя сборников Юлии Андреевой «Шанс» главная героиня руководствуется благородными побуждениями, корни которых кроются в ее собственном детстве. В рассказе А. Андим «Когда судьба стучится в окно» математик и физик оказывается в странном месте во власти мойр, которые управляют судьбами людей. Прядет нити судьбы Клото, вертит судьбами Лахесис, Атропос задумала перерезать нить судьбы целой планеты Земли. У ученого есть месяц, чтобы убедить Антропос отказаться от ее затеи. Но вершителями судьбы ученого оказываются не мойры. Это сотрудники отдела Сверхзвуковых космических механизмов устроили инсценировку, в результате которой был создан уникальный сверхзвуковой космический аппарат, сулящий не только прибыли, но и контроль над рынком. «Кто выбирает?» называется рассказ А. Шацева: глава и создатель ассоциации «РОС — Родная Семья» (объединение семей, усыновивших детей) пытается вернуть к жизни пациентку психиатрической больницы, чьи дети погибли во время пожара. Он знакомит женщину, которую знал в молодости, с двумя малолетними детьми, чьи родители погибли в огне. Она и дети вместе, он финансирует семью... Но конец открытый... автор дает возможность читателю самому продумать финал... У А. Гройсс («Солнце белых ночей») сентиментальные грезы старика, сорок лет не менявшего место жительства, мешали соседям коммуналки решить вопрос с расселением. Решили, решили грубо и прозаично... Но вопреки их ожиданиям финал оказался волшебным-романтичным... Есть и другой подход к проблеме человек и его судьба: человек сам хозяин своей судьбы, делает свой выбор сам. И делает порой — по воле авторов — в странных, порой фантастических обстоятельствах. Казалось бы, эксперимент по пе-

рсадке индивида в чужое тело шел к успешному финалу, но подопытного героя, обладателя рака легких третьей степени, сбила машина, и он оказался в темной вонючей пещере, в Тартаре, в Аиде. А там — и Харон, и Персефона, и Сизиф. И собственный камень, с которым герой не захочет расстаться. И готов вечно катить его в гору. А почему? (К. Гуляев «Нас возвышающий обман»). Хакер противостоит искусственному мозгу в попытке сохранить свое собственное биологическое сознание (Т. Берцева «Приговоренный»). «Провалившись» в другое измерение, группа детей и подростков смогла приспособиться и установить свои правила в новом мире, а герой рассказа, сумевший пробраться в прежний мир, возвращается обратно. Почему? (Е. Аристова «Жизнь за твой выбор»). Шесть новелл нелюбви в рассказе А. Окатовой «Семь пар железных башмаков». «Напрасно я мучилась: одну за другой стоптала шесть из семи пар железных башмаков, напрасно забрала чужие тела, напрасно лишила жизни шесть человек, напрасно вяла на себя смертный грех — шесть раз, все напрасно! Он вспомнил меня, я здесь, но я ему не нужна». Седьмой попытки не будет. Значимы в этих рассказах психологические загадки: читателю самому предстоит догадаться, почему именно так поступает герой. А вот выбор героев двух других рассказов, ясен. Сорокалетний, вполне состоявшийся мужчина покидает дом, семью, работу, увидев сон, в котором недавно умерший дед призывает его вернуться в деревню. В доме деда, старого шамана, он обретает древнюю родовую память. «Все эти знания обрушились на Павла сразу. Он лежал на полу и проживал тысячи жизней. Одновременно он плакал. Потому что понял, что до этого жил чьей-то другой, навязанной ему жизнью. А настоящая жизнь чуть не прошла мимо». И очень трогательный и обоснованный выбор делает между приبلудным котом и девушкой, которая предложила кота усыпить: лишние заботы, траты, отложенный отпуск, герой рассказа Александра Вальта «Барсик» выбрал котика. Это совсем неполный перечень произведений, а значит, и вариантов на тему «Человек и судьба», что представлены в сборнике. Реалистичные и фантастические, разнообразные по сюжетам, крепко сработанные рассказы привязаны к нашему времени, отражают чувства, представления, устремления человека XXI века, нашего современника, и тем особенно интересны.

Эвелина Азаева. Перелетные птицы: Сборник рассказов. СПб.: Лампарус, 2024. — 320 с.: ил.

Герои книги — русские эмигранты в Канаде. Первой, «белогвардейской» волны эмиграции, послевоенной, диссиденты 70–80-х годов. Но в основном простые советские люди, хлынувшие из СССР на Запад в 90-е годы, спасаясь от безденежья, от криминала, от притеснений и погромов, от войны в Чечне. Эвелина Азаева прожила в Канаде двадцать пять лет (с 1998 года), много лет выпускала там «Комсомольскую правду» и хорошо знает и канадскую действительность, законы и нравы на другом континенте, знает изнутри и постперестроечную русскую эмиграцию. Э. Азаеву интересуют судьбы и личности: прошлое, настоящее, мотивы, которыми люди руководствуются. Нынешние продавцы, водители, врачи, менеджеры, риэлторы, пестрый мир рекламщиков... Каждый из героев рассказов прошел мучительный путь обустройства в незнакомой стране: крушение надежд, узнавание себя и близких с неожиданной стороны, упорные попытки встать на ноги, не предавая свои принципы. Она пишет о том, каково пришлось русским эмигрантам, что с ними сейчас и как русский человек в непривычных обстоятельствах решает типовые проблемы: ушла жена, неурядицы на работе или безработица. Борьбу за сына-наркомана ведут герои рассказа «Стужа». Хроника «очень смутного

времени» — то ли истинная пандемия ковида, то ли заговор глобалистов для уничтожения генофонда — представлена в рассказе «Антивакцинщица». «И если бы не российская военная операция на Украине, спасшая планету, неизвестно как развивались бы события... Шансы глобалистов на победу были огромны. Но русские снова спасли планету». В рассказе «Широкие люди» встает вопрос о цене успеха: ошибочно мнение, что хитроумные схемы были лишь в СССР, — везде, где живет человек, есть схемы. Э. Азаева, отмечает, что в Канаде уважительно относятся к любому виду труда, канадцы знают, как тяжело достаются деньги, многие начинали работать с самых низов и не смотрят с презрением на тех, кто еще не устроен. В Канаде работают в поте лица. Свои большие дома и дорогие машины они заслужили. «В России так остереженно не работают. Во-первых, потому что за деньгами не гонятся — не тот менталитет. Ну и она немножечко тоже восток, работой себя не изнуряют. И в России нет такой банковской кабалы». Автор указывает на ловушки, которые подстерегают новоприбывших. «С соседями общаться — себе вредить. Чем больше они о тебе знают, тем выше риск неприятностей. В Канаде же народ воспитывают сознательным, видишь, что не так, — стучи. Причем имя доносчиков скрывают, ты можешь только догадываться, что это соседи». На страницах книги постоянно идет острое столкновение точек зрения героев. Так, собравшиеся со всей планеты на конференцию журналисты, входящие в Лигу зарубежных русскоязычных СМИ, горячо обсуждают вечные темы: русофобия, русский менталитет, нужно ли разбавить русское терпение горячей кавказской кровью, можно ли зло победить злом («Крестики-нолики»). В рассказе «Всем должен» в одном купе едут нейрохирург и журналистка, работающая в женском журнале. Врач, читая со скуки дамские журналы, критически оценивает тексты с советами, как охмурить мужчину и как его удержать. «Петров представил. Что входит в квартиру, а там его супруга, историк, кандидат наук Мария Николаевна Петрова, /согласно совету из гламурного журнала/ на карачках, без трусов, пол моет... — а вдруг первым в дом вошел бы шестнадцатилетний сын? С друзьями». Он пытается доказать попутчице, что лозунги из гламурных журналов: «Никто никому ничего не должен» и «Полюби себя» — ведут к разрушению семьи и общества. И наталкивается на враждебное непонимание. Во всех рассказах красной линией проходит тема любви к Родине. Герои Азаевой переоценивают свои прежние воззрения, тоскуют по стране, где получали от государства бесплатные квартиры, бесплатные путевки и оплачиваемый длинный отпуск. «Где были мои глаза?! Сейчас я просто в морды бы плюнул всем диссидентам! Это они гнали нас о легкой жизни на Западе, они подрывали доверие к власти и в итоге сделали нас эмигрантами. Мы как мотыльки слетелись на огонек и опалили крылышки». Или: «Машины тут круче, небоскребы выше, зубы белее. Но, по большому счету, в глобальных и главных вопросах бытия права Россия. Там хранится справедливость планеты. Главные ценности человечества. Настоящие, незбылемые». В отличие от вырвавшихся из СССР антисоветчиков, приехавших в Канаду через Израиль, для восьмидесяти процентов которых признание в любви к России или даже малейшая похвала чему-то советскому или российскому вызывала истерику, у Азаевой героини «постсоветской» волны чтут кодекс многих эмигрантов: «...выехав, Родину не ругать, это дома можно». За каждой эмиграцией была своя беда. Свою историю бегства из России рассказывает журналистке эмигрантка «белогвардейской» волны Наталья Шелегина, в доме которой умерла великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая II. Трагична судьба Ольги Воскресенской, руководителя Русской культурной ассоциации, — дочь убитого красными священника, потерявшая всю семью, она в пятнадцать лет стала машинисткой в немецкой канцелярии во Пскове, и, спасаясь от расплаты, бежала с немцами.

В рассказе «Недобитки и иже с ними» Э. Азаева собралась представительница всех слоев эмиграции. Они ненавидят друг друга, враждуют, склоничают, конфликтуют... И все объединяется — белые, красные, русские и евреи, верующие и атеисты — в один Бессмертный полк. «„Бывшие“ пришли без флагов... И вдруг Вика увидела, что они вытаскивают иконы. Владимирская Божья Матерь, Георгий Победоносец, Троица. Громко взмыла песня: „Этот День Победы порохом пропах!“ — и толпа отправилась в путь. Со Сталиным и всеми Святыми, земле русской просиявшими. Они были на иконах и в руках у людей — портреты фронтовиков... Шли русские, белорусы, украинцы, казахи, узбеки, евреи и все прочие, чьих семей коснулась война». В рассказах Э. Азаевой четко выстроен сюжет, много диалогов, рассказы пронзительны, трагичны и в то же время полны юмора и иронии. И в них поднимаются вопросы, актуальные для людей по обе стороны океана.

Борис Смолкин. Пестрые рассказы моей жизни. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2024. — 316 с.; ил.

А ведь Борис Смолкин, очаровательный дворецкий из «Моей прекрасной няни», заслуженный артист России, сыгравший около ста ролей в кино и телесериалах, один из самых востребованных актеров питерского Театра музыкальной комедии в 1972–2008 годах, мог бы и не стать актером, а послушаться родителей и заниматься всю жизнь нелюбимым делом. Он мог стать математиком, химиком, инженером. У него не было ни связей, ни опытных советчиков, но он сам находил дорогу к заветной мечте — к сцене.

Посещал театральную студию при Ленинградском Дворце пионеров; обучение в физико-математической школе совмещал с занятиями в драмкружке Ильи Резника при Доме комсомольцев; не пройдя в 1966 году третий тур экзаменов в Ленинградский театральный институт, принял приглашение В. Петрова, второго педагога курса Агамирзяна в театр-студию ЛГУ. Поступил на химический факультет Лесотехнической академии. А так как главная жизнь проходила в театре-студии ЛГУ, то, будучи неготовым к сессии, оформил академический отпуск, а чтобы скрыть это от родителей, посещал утренние сеансы в кинотеатре «Нева». При второй попытке поступления в Театральный институт был зачислен на отделение музыкальной комедии. Б. Смолкин последовательно — и с неизменным юмором — излагает длинную эпопею своего пути в профессию. Школьником, сидя дома из-за болезни, он читал классиков отечественной и зарубежной литературы. «Но главным и захватывающим меня занятием была игра в театр: я залезал в платяной шкаф, находил и надевал на себя что-то из родительской одежды, брал коробочку акварельных красок „Ленинград“ и, стоя в прихожей перед зеркалом, разрисовывал лицо, изображая различных персонажей, только что вычитанных мною в какой-нибудь книжке». Страсть разрисовывать себе лицо, любовь к гриму сохранилась на всю жизнь. Одержимый тягой к сцене мальчик считал, что самый страшный, непреодолимый его недостаток — маленький рост. Так было, пока он не увидел Н. Трофимова в спектакле акимовского театра. Мальчик ждал актера у служебного входа и шел за ним, сопоставляя его рост со своим. Страх рассеялся. В этой книге не раз появляются знаменитые имена: Товстоногов, Акимов, Юрский... Яркие штрихи к портретам великих творцов советского театра. И развернутый портрет русского советского оперного певца Николая Печковского. Отбыв срок в исправительно-трудовых лагерях, в 1956 году после окончательной реабилитации певец вернулся в Ленинград. С 1958 года до конца жизни он руководил самодеятельной оперной студией в ленинградском Доме культуры имени А. Цюрупы, эту студию посещала мать Б. Смолкина. О Печковском Б. Смолкин пишет с ее слов. «О жизни моей семьи до моего рождения я знаю не мень-

ше, чем о моей жизни на этом свете. Семейные рассказы, воспоминания, истории в пересказах моей мамы, бабушки, реже дедушки и папы сопровождали меня всегда». Обладая не только актерским, но и замечательным литературным даром, Б. Смолкин рассказывает историю большой еврейской семьи, корни которой находятся в Белоруссии и некоторые из них обнаруживаются аж в XIX веке. В 1921 году его маму, маленькую девочку, привезли в Петроград, она не говорила по-русски. И эта девочка, родным языком которой был идиш, окончила филфак ЛГУ, стала преподавателем английского языка, блестяще знала русский и немецкий. В 1926 году из Рогачева приехал в Ленинград и Гриша Смолкин, его ждали двое дядек-нэпманов, сколотивших состояние продажей яблок. Гриша Смолкин стал архитектором, после войны принимал участие в реконструкции ВДНХ, и приехавший к нему маленький сын присутствовал на сдаче Хрущеву важного объекта — фонтана «Кукуруза». История семьи — это сожженные фашистами заживо в 1941 году рогачевские евреи, среди которых были бабушка и дедушка отца и его юная сводная сестра. Это блокадные будни материнской семьи, выехав в 1942 году из Ленинграда, его бабушка и маленькая мама стали свидетелями главного сражения ВОВ — Сталинградской битвы. Это и история тетки, что накануне войны отправилась с маленьким сыном в Краснодар к родителям мужа и оказалась в оккупации. А еще Б. Смолкин с фотографической точностью рисует ленинградский быт времен своего детства и юности. Квартира бабушки и дедушки в доме 55 на Кировском проспекте на последнем — шестом — этаже, куда принесли его из роддома в 1948 году; коммуналка; комната, ставшая квартирой... Планировка, меблировка, послевоенное обустройство, образ жизни, обиход, окрестные магазины («Булочная», «Изготовление абажуров», «Пошив бюстгальтеров»), домочадцы, соседи... И все ярко, сочно, зримо... Знаменитый режиссер Ф. Эрмлер, сосед в доме по Кировскому, приносил бабушке завернутую в бумагу рыбу и говорил: «Елена Марковна! Мне вот достали рыбу — сделайте, пожалуйста, гефилте фиш!» Будущий актер подмечал характерные черты, манеры, осанку окружавших его людей и сумел создать яркие колоритные портреты тех, о ком рассказывает спустя десятилетия. Мастера, работавшие рядом с отцом, женщина-бухгалтер, овдовевшая, едва выйдя замуж за месяц до войны, известные врачи... Послевоенные люди, не отошедшие от пережитого. Б. Смолкин добавляет к портретам известные ему линии судеб своих героев. Добрыми, светлыми выглядят в воспоминаниях актера 70-е годы прошлого века. Несмотря на то, что были и препоны в виде пресловутого «пятого пункта», и вопросы трудоустройства, и «страшные» собеседования в райкоме перед поездкой за границу, и прелести общепита. Быть может, потому, что это была молодость, потому, что маленькие хитрости позволяли обходить установленные правила советской жизни, и потому, что выкрутиться из грозившей тяжелыми последствиями истории помогало то, что «мы, как и большинство советских людей, тоже были сильны в демагогии и обучены фальшивому пафосу». А еще потому, что у Б. Смолкина особый взгляд на жизнь, реагирующий на все курьезное, забавное, чудное. В 1993 году началась новая жизнь, ярко явленная во время выступления Смолкина с товарищем на корпоративе, где ларечники с Апрашки мирились с бандитами. Но об этом будет следующая книга.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

РУССКИЕ ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ БЕЛЬГИИ

Часть 3

СТАРИННЫЙ БРЮГГЕ — ЖЕМЧУЖИНА ФЛАНДРИИ

Ночью руки до плеча растают —
Мы крылаты снова на досуге...
Наши души ночью улетают
На каналы в позабытый Брюгге.

А. С. Головина¹

Эти строки, посвященные старинному бельгийскому городу, принадлежат поэтессе русского зарубежья А. С. Головиной. Алла Сергеевна Головина (урожд. баронесса Штейгер) (1909—1987) родилась на Украине, попала за границу в 1920 году; скончалась в 1987 году в Брюсселе². Брюгге Алла Сергеевна посетила в 1931 году, и город вдохновил ее на стихи: «Чинно звезды сторонятся в небе, / И туманы, подколов вуали, / Нас ведут туда, где черный лебедь / Под мостом вздыхает на канале...»³

Брюгге: страницы истории

Западные летописи упоминают о Брюгге уже в VI веке, и когда Балдуин Железная Рука возводил здесь свой замок, он был известен в связи с основанием Брюгге. После окончания строительства, как повествуется в одной из хроник, «для нужд и потребностей обитателей замка начали стекаться к воротам его моста торговцы и продавцы более ценных вещей, затем лавочники, затем содержатели постоянных дворов... стали строить дома и устраивать гостиницы, где помещались те, кто не мог обитать внутри замка; и вошло у них в обычай говорить: „идем к мосту“; здесь поселение настолько раз-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Головина А. С. Городской ангел. Избранные стихи. Брюссель, 1989. С. 125.

² После 1920 года А. С. Головина жила в Турции, Чехословакии, с 1934 года — в Париже, с 1939 года — в Швейцарии, с 1955 года — в Бельгии. См. Прага: Скит, 1922—1940. Антология. Биографии. Документы. М., 2006. С. 438—442.

³ Головина А. С. Городской ангел. Избранные стихи. Брюссель, 1989. С. 125.

росло, что вскоре образовался большой город, который по сию пору в просторечье носит имя моста, — ведь на их наречии Брюгге — значит „мост“»⁴. В 1227 году нынешний центр города был окружен стенами; в 1270—1298 годах было выстроено новое кольцо укреплений (ворота Эзелпорт, конец XIII века, Крейспорт, 1368, Гентпорт, 1361—1363 годы, перестроены в начале XV века).

Хотя Данте никогда не бывал во Фландрии, он упоминал в «Чистилище» наиболее значительные фламандские города того периода, и прежде всего — Брюгге. Данте сравнивает окаменелые набережные Флегетона с плотиной, выстроенной фламандцами вдоль моря, между городом Бруджей (Брюгге) и местечком Гвидзантом (Виссант).

Вот мы идем вдоль каменного края,
А над ручьем обильный пар встает,
От пламени плотину избавляя.
Как у фламандцев выстроен оплот
Меж Бруджей и Гвидзантом,
чтоб заране
Предотвратить напор могучих вод⁵.

Средневековый Брюгге в записках С. В. Пантелеевой (1905)⁶

Окруженный стенами и защищаемый графами, поселок Брюгге в IX веке (тогда еще находившейся у морского залива) представлял убежище для всех спасавшихся от норманнов, как и для всех беглых крепостных. Беглые с радостью пользовались гостеприимным укрывательством, где они, прожив год с двумя днями, получали полные права гражданства и земельный надел. <...> В приморском (в XI веке) Брюгге существовал почти мировой рынок, а текстильное производство его даже воспевалось за границей латинскими стихами, причем брюжские ткани уподоблялись «цвету небесных переливов, считаясь достойными королевских одежд». Валяльная мельница была фламандским изобретением.

<...> В XII веке началась борьба фламандцев со своими графами иноземного происхождения, когда вымерла династия национальных графов, защитников горожан и крестьян. Горожане Брюгге закололи нового графа (1127 г.) датского принца, недолго продержался и следующий за ним граф, француз Гильом Клитон, меривший жизнь феодальной меркой француза того времени, привычного к приниженности французских горожан перед дворянством. Необычная для того времени независимость фландрских горожан и фландрского прибрежного крестьянства казалась графу такой нелепостью, не стоящей внимания, что с самого вступления он совершил непоправимую ошибку, отнесясь, словно к пустой форме, к своей присяге на Евангелии: свято охранять старые городские и крестьянские права фламандцев.

После целого ряда нарушений этой присяги, против графа поднялся весь Брюгге, как один человек, выставив своим вождем горожанина Бартольфа, бывшего крепостного, получившего гражданство в Брюгге. Фландрская милиция уничтожила рыцарское войско графа, сам граф был убит в одной из стычек. Приверженцам графа как-то удалось затем захватить в плен Бартольфа и жестоко казнить его, но это уже не помешало фламандцам удержать свою независимость. Вся Фландрия единогласно избрала тогда графом родственника прежних национальных графов, и этот новый фландрский граф Дидрих Эльзасский и его наследники никогда не забывали,

⁴ Fagniez: Documents relatifs à l'Histoire de l'industrie et du commerce en France, 1, 95. Цит. по: Средневековье в его памятниках. М., 1913. С. 115.

⁵ Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1977. С. 136. Ад. Песнь 15. ст. 1—6.

⁶ Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. Очерки старого и нового. СПб., 1905. С. 44—98 (в сокращении).

что им посчастливилось только потому, что фламандцы глубоко верили в их преданность Фландрии. Они никогда не отделяли своих интересов от интересов энергичского населения Фландрии.

<...> Водворившийся во Фландрии новый граф Шатильон крайне презрительно относился к фламандцам, скоро он всех восстановил против себя. Дружил и купился он только с патрициями *лилиертами*, которым тогда солоно приходилось расплачиваться за приглашение французов. Патриции города Брюгге благодаря новому графу захватили власть и, установив тяжелый налог, свалили всю тяжесть поборов на остальные классы населения.

В Брюгге жил тогда невзрачный с виду, косоглазый человек, чрезвычайно живой, находчивый, едко остроумный старшина ткацкого цеха, Питер де Конинг, будущий герой освобождения Фландрии от французов, которому благодарное отечество поставило мраморный монумент в Брюгге⁷. Двадцать четыре старшины различных цехов были главными организаторами народного ополчения в Брюгге, и когда патриции попытались засадить старшин в тюрьму, дверь ее была выломлена народом, и старшин освободили.

Патриции-лилиерты в Брюгге (не все патриции здесь были лилиертами, приверженцами французского знамени) собрали отряды из своих людей наемников, призвав из-за города на помощь графа с войском, думая с двух сторон напасть и уничтожить народное ополчение. Но оно не дремало, а встретило их своими длинными тяжело-весными копьями и загнало патрициев в башню. Со многими тут же расправились, а остальных засадили в тюрьму. С той поры город Брюгге находился во власти цехов.

Графу Шатильонскому пришлось призвать на помощь из Франции своего брата, графа Сент-Поля с войском. Они грозно подступили к стенам Брюгге. Город согласился впустить парламентаров, только требования графа оказались невероятными. Он требовал полнейшего подчинения, разрушения вековых укреплений Брюгге, высылки множества горожан и сооружения в городе крепости для его гарнизона. В этот критический момент, когда городу Брюгге угрожало полное уничтожение самоуправления, горожане забыли свои внутренние раздоры, и даже только что выпущенные патриции-лилиерты присоединились к цехам, отстаивая независимость своего города. Спешно отправили посла к французскому королю, моля защиты от графа, но французский король не имел расчета и вовсе не желал тогда ссориться с своим новым графом; он только подтвердил графские требования. Обо всем этом узнал от народного вождя Питера де Конинга младший сын прежнего графа Гвидо Дампиерра. Этот молодой граф только что убежал в Намюр из французской тюрьмы и задумал воспользоваться смутами во Фландрии, для восстановления власти своего наследственного графского рода. Из Намюра он отправил послом Питера де Конинга в Брюгге, обещая горожанам поддержку в общей борьбе с французами, а ткацкому цеху — особенное и прочное покровительство.

Вся Фландрия, охваченная патриотическим движением, собирала ополчения, везде развевались пестрые цеховые знамена, а рядом с ними братски колебались золототканые флаги патрициев и купеческих гильдий. Виднелись даже дворянские гербовые штандарты, впервые примкнувшие к народному ополчению. Часть фландрских дворян присоединилась к молодому графу Дампиерру, и только совершенно офранцузившиеся лилиерты покинули город вместе с графским судьей.

Взволновавшей Фландрии нужен был только вождь, который внушал бы всем одинаковое почтение. Выбор пал на графа Юлиха, внука графа Гвидо Дампиерра. Пока во всей Фландрии организовалась национальная оборона, горожане Брюгге отстреливались сколько могли от окружающих город французов, мешая им разрушать стены укреплений Брюгге. Графу Шатильонскому, однако, удалось сильными

⁷ Этот монумент на главной площади в г. Брюгге изображает Питера де Конинга и Брейделя (старшину мясничного цеха) с фландрским знаменем в руках (примеч. С. В. Пантелеевой).

метательными орудиями проломить брешь в городской стене⁸. Через брешь, под вечер, в город вступила французская латная конница, и, овладев городом, французский граф немедленно распорядился, чтобы горожане изгнали всех принимавших участие в сопротивлении.

Это пришлось исполнить, но с наступлением ночи горожане отправили гонца за своими изгнанниками, недалеко отошедшими, призывая их помочь перебить французов. Под покровом очень темной ночи, они подползли к городским рвам, пролезли к разрушенной части городской стены, где стоял французский караул, и так быстро перекололи эту стражу, что она не успела подать сигнал к тревоге. Крепко спавших в городе французов немилосердно резали. Помогали в резне не только женщины, но даже подростки закалывали кинжалами спящих французов. Успевших выскочить на улицу фламандцы и в темной ночи распознавали, задавая вопросы «Schield en Vriend» (щит и друг?). Ломанный выговор ответа выдавал французов, и их тут же убивали. Сам граф Шатильонский каким-то чудом спасся, переодевшись во фламандское платье.

С горячими овациями встречали в г. Брюгге въезжавших с Питером де Конингом молодых графов Дампиерров. Графы, для усиления своей популярности, издали хартию о свободе продажи сукон, свободе всех занятий для каждого, упрочили городское самоуправление. Во главе управления стояли цехи сукноделов. Цехи тотчас восстановили древнегерманский закон, заменявший смертную казнь и ссылку штрафами.

<...> После победы при Куртре (в 1302 г.)⁹ значение г. Брюгге чрезвычайно усилилось. Беспешинная торговля притягивала сюда чуть не весь европейский мир. Все страны наперерыв заводили тут склады товаров, купеческие подворья, и вся Европа соображалась с морскими постановлениями в Дамме (приморская гавань Брюгге). Вообще, чем ближе к морю, тем все шире и могучее было торговое движение Фландрии. Тут венецианские галеры встречались с данцигскими, любекскими, гамбургскими «когдами», каталонскими «каравеллами» и с английскими, гасконскими и португальскими судами. Почти все суда, сдав свой товар, набирали фландрские сукна.

Брюгге был под управлением цехов. Тут даже рыцари исполнены были почтением к цехам, особенно после того, как на рыночной площади отрубили головы рыцарю с оруженосцем за попытку похищения хорошенькой девушки, дочери цехового ремесленника. К выборам в городской магистрат цехи никого не допускали, т. е. исключали все остальное население Брюгге. Во внешней политике этому городу приходилось лавировать между французским королем и фландрским графом, в вечном ожидании нападения то того, то другого, или обоих вместе.

<...> Граф де Маль тонкий дипломат, лавировал между политикой Франции и Англии. В 1348 г. он заключил мир с Эдуардом III, а через два года граф де Маль заодно с тремя большими городами Фландрии строго охранял этот нейтралитет, запрещая всякую поддержку которомунибудь из двух королей, при полнейшей свободе торговых оборотов чужеземных купцов.

<...> С прекращением чумы (1350 г.) и с установлением мира и нейтралитета во Фландрии Гент делается главным складом английской шерсти, а Брюгге главным центром ганзейского союза (с 1356 г.). <...> В 1370-х гг. граф де Маль разрешил горожанам Брюгге рыть нужный городу канал для соединения Брюгге с рекой и морем. Такой канал вовсе не улыбался коммерческим расчетам соперничавшего Гента,

⁸ При осаде городов пользовались «тараном», «кошкой» и «осадной башней» на колесах. Кошкой называли длинное строение, или навес на колесах, которое подкатывали ко рву осаждаемой стены укреплений и в определенном месте засыпали ров землей. Затем приближали «таран», ударами которого проламывалась стена; с «осадной башни», тоже на колесах, перекидывался мостик на стену. Метательные машины выкидывали ядра и камни (примеч. С. В. Пантелеевой).

⁹ В этом сражении народное фламандское ополчение одержало победу над французским рыцарским войском (а. А.).

и когда работы по канализации приблизились к гентским владениям, гентские ткачи перерезали всех рабочих канала (1379 г.).

<...> В 1389 году Филипп Артевельд, крестник английской королевы, во главе гентской милиции выступил, направляясь прямо на Брюгге, где тогда находился граф де Маль. Там как раз был большой праздник с процессией «святой крови», привезенной из Иерусалима. Весь Брюгге весело пировал по случаю праздника, когда гентское ополчение подошло к его стенам. Граф де Маль хотел было отложить битву на утро, но рыцари заверили его, что «очень легко справиться с изголодавшимся гентским воинством» и смело выступили за ворота; тут их до того оглушили выстрелы из мушкетов (Donnerbüchsen) и взрывчатые вещества, что рыцари опрометью бросились назад, к воротам, а гентцы, гнавшиеся за ними по пятам, ворвались в город и заняли рыночную площадь.

Граф, только благодаря наступившей темноте, в чужом платье, вплавь перебрался через ров и убежал от гентцев, захвативших Брюгге. Филипп Артевельд, покидая Брюгге, вручил защиту его брюггским ткачам, не забыв, однако, разломать брюггские башни, для того, чтобы отныне Брюгге был в зависимости от Гента.

Ганзейский Брюгге

Брюгге был важнейшим морским портом Северо-Западной Европы в XII веке, когда Союз ганзейских (торговых) городов контролировал рынки сбыта английской шерсти. Эти города, выросшие во Фландрии в эпоху раннего средневековья, славились в западном мире своими прекрасными тканями, производство которых являлось одной из основных отраслей экономики тех лет. Быстрыми темпами развивалась торговля. Первоначально сделки осуществлялись преимущественно на ежегодных или устраиваемых раз в два года торговых ярмарках. Время их проведения было строго определенным для каждого города, куда к этому моменту съезжались купцы. И хотя некоторые города постепенно превратились в постоянные торговые центры, это не означало, что от ярмарок вообще отказались.

С середины XIII века после образования Единого ганзейского союза Брюгге стал одним из основных центров международной торговли. Этот союз с центром в Любеке практически монополизировал торговлю в балтийском регионе в XIII—XV веках. В обмен на товары, доставлявшиеся ганзейскими купцами из Северной и Восточной Европы, Брюгге посылал в Прибалтику изделия стран Западной Европы, Средиземноморья и Востока, в частности фламандские ткани, английскую шерсть, французские вина, соль, итальянские шелка, специи.

Именно в тот период и началось развитие Брюгге. Его росту способствовало выгодное географическое положение: в самом сердце деловой, густо населенной Западной Европы, где на границе двух цивилизаций — германской и романской — были расположены влиятельные страны и королевства. К городу имелся свободный доступ и с суши, и с моря. Позднее, когда реку Цвин затянуло илом, суда, лишенные возможности подходить непосредственно к Брюгге, могли бросать якорь в некотором отдалении от него — во внешней гавани Дамме.

Один из документов городских властей конца XIII века дает представление о разнообразии товаров, которые продавались в Брюгге, и о странах, где они были изготовлены. В нем упоминалось не менее 34 различных районов (некоторые из них были объединены в более крупные образования, как, например, Германское королевство): все европейские регионы — от Швеции до Андалусии, от Англии до России; Тунис, Марокко, Константинополь, Иерусалим, Египет, Судан, Армения, территория Орды. Документ заканчивался следующими словами: «На землю Фландрии стекаются купцы

и товары из всех перечисленных королевств и земель, в том числе из Французского королевства, из Пуату, Гасконии... чьи купцы ежегодно посещают Фландрию наряду с торговцами из многих других стран. Вот почему ни одна земля не может быть соперницей Фландрии в торговых делах»¹⁰.

В Брюгге сходились пять основных торговых путей: из Лондона; из Генуи и Венеции вдоль средиземноморского и атлантического побережья; из Гамбурга, Любека и других ганзейских городов; из Кёльна на Рейне; из Генуи по суше через долину Роны и Шампань. Купцы Брюгге вели активную торговлю вплоть до XIII века. Они плавали в Англию и Шотландию за знаменитой английской шерстью, а также вдоль атлантического побережья, из портов которого привозили зерно, вино и сыр. Брюгге занимал ведущее положение в Ганзейском союзе фламандских городов.

Положение в корне изменилось, когда предприимчивые английские купцы сами стали возить шерсть на континент. Торговля в Брюгге уступила свою ведущую роль другим видам деятельности. Здесь стала развиваться текстильная промышленность, а также смежные отрасли. Кроме того, там изготовляли мебель, gobelены и другие декоративные предметы. Большим спросом пользовались янтарные четки работы местных ювелиров.

И все же Брюгге стал прежде всего крупнейшим к северу от Альпийских гор междunarодным торговым центром. Купцы приезжали туда за полосатыми или однотонными тканями, шедшими на изготовление одежды высшего качества. Фактически Брюгге не располагал монополией на этот товар, но по качеству его ткани не уступали изготовленным в ряде других текстильных центров Фландрии и Брабанта и высоко ценились по всей Европе и даже за ее пределами. В 1354 году было запрещено покупать во Фландрии и потом провозить в Московию те сорта сукон, которые запрещалось продавать в суконных рядах в Брюгге во избежание подделки¹¹.

Частые гости Брюгге могли неизменно приобрести там продукцию самого высокого качества по сходной цене. Кроме того, купцы всегда имели возможность продать в Брюгге свои товары и купить изделия, привезенные их собратьями из других мест. В результате сюда хлынули товары не только для внутреннего, но и для международного рынка. Именно этот непосредственный обмен изделиями разных стран, а также сопутствовавшая ему деятельность обеспечивали процветание Брюгге, который оставался зажиточным городом, даже когда наступил спад производства дорогих тканей.

В Брюгге проживало множество иностранцев, объединявшихся в различные группировки и создававших своего рода «консульства». Самой влиятельной из таких организаций был Союз ганзейских городов (не путать с Единым ганзейским союзом, образовавшимся позднее в рамках Германской империи). Во время посещения Брюгге герцогом в 1440 году процессия встречающих иностранных подданных включала 136 представителей Ганзейского союза, 48 испанцев, 40 венецианцев, столько же миланцев, 36 генуэзцев, 22 флорентийца, 12 представителей города Лукка, а также португальцев и каталонцев. По какой-то причине в день встречи герцога отсутствовали англичане, хотя в Брюгге их было немало.

Брюгге — «северная Венеция»

В XV веке многочисленные феодальные княжества на территории нынешней Бельгии и Нидерландов вошли в состав Бургундского герцогства, которое на протяжении

¹⁰ Морен Поль. Жемчужина Фландрии // Курьер ЮНЕСКО, 1984, июль. С. 16.

¹¹ Журнал Министерства народного просвещения, март 1838, ч. 17. С. 618.

нескольких десятилетий было богатейшим и влиятельнейшим в Западной Европе. Оно не имело постоянной столицы, но Брюгге был одним из городов, где любили останавливаться герцоги со своей свитой. Именно здесь Карл Смелый сочетался браком с Маргаритой Йоркской, а Филипп Добрый основал орден Золотого руна. В Брюгге нашло свое отражение все великолепие эпохи герцогов Бургундских, выразившееся в развитии музыки, расцвете светской и церковной пламенеющей готики и знаменитой школы живописи, основателем которой стал Ян ван Эйк и членов которой несправедливо окрестили фламандскими примитивистами, несмотря на то, что их произведения вошли в число величайших достижений изобразительного искусства.

На исходе XV века герцог Бургундский Филипп Добрый привез молодую жену Хуану Кастильскую в свой родной город Брюгге. Ознакомившись с городом, будущая мать императора Карла V, пораженная пышностью нарядов знатных дам, заметила: «Я думала, я единственная королева в этой стране, но их здесь множество!» Возможно, этот эпизод — плод фантазии, но он свидетельствует о богатстве и великолепии города, который называли «северной Венецией». С другой стороны, конечно, Венецию можно считать «южным Брюгге», ничуть при этом не умаляя престижа города дождей. Бесчисленные каналы с перекинутыми через них живописными мостами, величественные общественные здания, дворцы знатных особ, старинные извилистые улочки — в них очарование обоих городов, сохранивших, однако, свою неповторимость и являвшихся ключевыми центрами торговли в эпоху средневековья¹².

В 1438 году испанский хроникер Педро Тафур отправился в путешествие «в поисках приключений и случая прославить себя, свой род и свою страну». Ему пришла в голову светлая мысль вести путевой дневник. В этом дневнике он позднее написал, что Брюгге, по его мнению, превосходил Венецию, поскольку в Брюгге бок о бок жили люди из многих стран, тогда как город на побережье Адриатики вел довольно замкнутый образ существования. «Мне говорили, — отмечал Тафур, — что в иной день порт покидают до семисот кораблей. Столица Фландрии — огромный город с красивыми зданиями и улицами. В нем проживает много жителей и среди них немало ремесленников. В городе множество церквей и монастырей, а также хороших гостиных домов. Все здесь, в том числе и правосудие, организовано образцово. Жизнь в городе бьет ключом. В Брюгге можно приобрести товары со всех концов света»¹³.

Брюгге и Венецию роднили не только их географическое положение и характер экономической деятельности. Вот что писал о Фландрии шурин короля Богемии Лео фон Розмиталь, который в 1466 году в сопровождении свиты из 40 вельмож и слуг совершил путешествие практически по всем странам Западной Европы: «В этой стране, и особенно в Брюгге, среди знати существует обычай облачаться во время карнавала в пышные костюмы, состязаясь в их богатстве. Цвет костюма господина носят и его слуги. Но узнать, кто есть кто, невозможно, поскольку все лица скрыты масками. В таком облачении они разъезжают под трубные клики и дробь барабанов по балам и другим увеселениям»¹⁴.

...По экономическим, социальным и политическим причинам Брюгге, осмелившийся даже заключить в тюрьму одного из Бургундских герцогов, Максимилиана I, вынужден был на рубеже XV и XVI веков уступить свои позиции другим городам, и прежде всего Антверпену, которому в XVI веке суждено было стать важнейшим коммерческим и финансовым центром. «В XV веке, во время владычества бургундских герцогов, пада-

¹² Морен Поль. Жемчужина Фландрии // Курьер ЮНЕСКО, 1984, июль. С. 16.

¹³ Там же. С. 18.

¹⁴ Там же.

ет значение западных и юго-западных городов, особенно фландрских, — Гента, Брюгге, Иперна, — пишет С. В. Пантелеева. — Например, Брюгге разоряли введенные еще графом де Малем ввозные пошлины на английскую шерсть. Ранее Брюгге был нейтральным складом для вывоза этой шерсти, но графские пошлины заставляют флорентийских, венецианских и всех других купцов совершенно обходить Фландрию, забирая шерсть не в Брюгге, а прямо из Англии. Одной из причин упадка Брюгге считается обмеление Цвинского канала и гавани Брюгге, а также новый дух времени, требовавший реформ для устранения устарелых монополий и частных привилегий многих городов»¹⁵.

Русские паломники у святынь Брюгге

Россия издавна торговала с Брюгге, но вплоть до XVIII века русские читатели мало что знали об этом городе. «Брюгес — великий город во Фландрии... в городе 60 церквей, с довольным числом монастырей... он принадлежит королю гишпанскому»¹⁶ — такие сведения о Брюгге могли почерпнуть они в середине XVIII века. Город лежал в стороне от традиционных путей следования русских путешественников, направлявшихся из России во Францию. Но тем не менее со временем они стали посещать Брюгге, слышанные о его святынях и церковных достопамятностях.

Свое знакомство с Брюгге в 1842 году русский писатель И. Симонов начал с посещения *церкви Богородицы* (Нотр-Дам; Онзе-ливе-Враукерк), чья башня высотой 122 метра с четырьмя колоколенками видна почти повсюду в Брюгге.

Онзе-ливе-Враукерк (готика; неф — 1210—1230, хор и трансепт — 1260—1335, кирпичная башня высотой 122 метра — около 1290—1549. Бронзовые гробницы Марии Бургундской, 1496—1502, и Карла Смелого, 1558—1562).

Этот храм гордится мраморной скульптурой «Пиета» работы Микеланджело, принесенной в дар церкви в 1514 году жителем Брюгге Мукроном¹⁷. «В церкви Пресвятой Богородицы, кроме многих прекрасных картин и Божией Матери с Иисусом Младенцем, из белого мрамора, работы Микель-Анжа, находятся 2 примечательных и богатых мавзолея, воздвигнутых Карлу Смелому и дочери его Марии»¹⁸, — пишет И. Симонов о внутреннем убранстве церкви.

Смерть Марии, дочери Карла Смелого (1433—1477), последней представительницы Бургундской династии, значила для фламандцев многое. Бургундская династия была для них символом относительной самостоятельности Фландрии, с ней был связан расцвет городов. Черный мрамор и золотистая бронза надгробия Марии, сделанного в конце XV века брюссельским мастером Пьером де Бакер, кажется реквиемом «золотому веку» Брюгге. Карл Смелый стремился упразднить зависимость от французского короля и основать независимое государство между Францией и Римской Германской империей. В 1477 году он погиб в битве при Нанси; в XVI веке по воле Карла V, его правнука, останки Карла Смелого были перенесены из Нанси в Брюгге.

Как и другие бельгийские города, Брюгге славился своим колокольным звоном. Поднявшись на *колокольню* (Tour des halles)¹⁹, И. Симонов отметил, что «на ней примечательны часы с колокольной музыкой, сделанные Антоном Гондтом в 1748 году. Глав-

¹⁵ Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. Очерки старого и нового. СПб., 1905. С. 98.

¹⁶ Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. СПб., 1761. С. 38.

¹⁷ Ненашев А. П. Бельгия, Голландия и Лондон. М., 1911. С. 63.

¹⁸ Симонов И. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань, 1884. С. 240.

¹⁹ Об истории колокольни см. там же. С. 241.

ный цилиндр сделан из меди: он весит около 600 пудов. Музыка составлена из 48 колоколов, из которых самый большой имеет $2\frac{1}{2}$ аршина вышины и $3\frac{1}{2}$ в диаметре, а самый меньший в 3 вершка вышиною и в 4 вершка в диаметре»²⁰.

Одной из святынь, прославивших Брюгге в христианском мире, является *рака св. Урсулы*, в которой заключены останки этой мученицы, привезенные канцлером Карла Смелого Ансельмом Адорном из Святой земли. Дочь короля Бретани Нотуса (VII век), известной своей набожностью, св. Урсула, совершив множество богоугодных дел и приняв мученическую смерть, стала одной из почитаемых святых Римско-католической церкви. В XV веке житие св. Урсулы изобразил в красках знаменитый фламандский художник Ганс Мемлинг, и сегодня цикл его картин находится в *музее Грюнинге* в Брюгге; это бывший *госпиталь св. Иоанна* (фламандск. «Синт-Янс»), где монахини-урсулистки ухаживали за больными.

«В церкви Больницы св. Иоанна с великим уважением сохраняется рака св. Урсулы, сделанная в виде прямоугольного здания в 9 вершков вышиной, $14\frac{1}{2}$ длиной и 5 шириной, — пишет И. Симонов. — Она драгоценна золотой отделкой, древностью и в особенности живописью Геммелинга (Мемлинга. — *Авт.*)²¹, изображающею мученичество св. Урсулы и 11-ти тысяч дев. Рака закрывается шелковой занавеской; для любопытствующих занавеску открывают, и поворачивают раку на шпиле. Там же находится лучшее произведение Геммелинга, изображающее таинственный брак св. Екатерины (вероятно Сиенской), окруженной братиями и монахинями больницы св. Иоанна, жившими во время Геммелинга»²².

В отличие от И. Симонова другой русский паломник В. С. Печерин был в Брюгге не как путешественник, но в качестве эмигранта.

Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — русский иезуит. Окончив курс в Петербургском университете, в 1833 году был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. В 1836 году занял кафедру греческой словесности в Московском университете. В 1836 году эмигрировал из России. В 1840 году перешел в католичество; в 1841 году стал монахом редemptористского ордена, а в сентябре 1843 года принял сан католического священника. До конца 1844 года Печерин жил в Льеже и Брюгге, после чего переехал в Англию, а затем в Ирландию. Вот что записал В. С. Печерин в своем дневнике в сентябре 1844 года: «Меня с молодым товарищем — миссионером отцом Лудвигом послали в Остенде. После 3-х или 4-летнего заключения в монастыре я совершенно отвык от путешествия, и меня, как ребенка, посадили на пароход, всунув мне в руки 5 фунтов на дорогу до Фальмута»²³.

Старинный Брюгге в записках Н. И. Греча

Николай Иванович Греч (1787—1867) — российский литератор, автор «литературных путешествий»: «28 дней за границу, или Действительная поездка в Германию, 1835» (Санкт-Петербург, 1837), «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» (Санкт-Петербург, 1839), «Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» (Санкт-Петербург, 1843), «Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии» (Санкт-Петербург, 1847).

²⁰ Там же. С. 241—242.

²¹ Ганс Мемлинг (ок. 1433—1494) был выдающимся представителем фламандской школы. Отдавая предпочтение религиозным сюжетам и портретной живописи, он всю свою жизнь работал в Брюгге.

²² Там же. С. 239—240.

²³ Печерин. В. С. Замогильные записки (*Apologia pro vita mea*) // Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М., 1989. С. 256.

Брюж, Брюгге, один из знаменитейших городов Бельгии, был в XIV веке средоточием всемирной торговли. В нем поселились фактории или комиссионерства семнадцати королевств; жили двадцать чужестранных министров; сюда приезжали торговые люди из стран неведомых. Самой большой славы и блеска достиг Брюж в начале XV века, когда в нем был двор герцогов Бургундских. Тогда процветали в нем живописцы Иоанн и Губерт фан-Эйк, родоначальники Фламандской школы²⁴.

В Брюже учрежден был, в 1450 году, знаменитый орден Золотого Руна, герцогом Филиппом Добрым, при бракосочетании его с Изабеллой Португальской. Золотым Руном означалось богатство Фландрии, изобиловавшей шерстью и шерстяными товарами.

И это богатство, это благоденствие, эта промышленность давно исчезли. Фабрики и торговля упадают более и более. Число жителей уменьшилось до сорока пяти тысяч, между коими пятнадцать тысяч бедных. В Брюже живут богатые капиталисты, удалившиеся от дел, но такие люди только считают свои деньги, а в оборот не пускают. Быстрое обеднение Брюжа способствовало к сохранению в нем многих старинных зданий, и он более всех других городов Бельгии носит на себе характер Средних веков. Станция железной дороги окружена старинными колоннадами и сводами: это бывший Пятничный Рынок, на котором граждане Брюжа, 30-го Марта 1128 года, избрав в графы Фландрские Дидие Алзатского (Эльзасского. — *Авт.*), отреклись от повиновения Вильгельму Нормандскому, которого поддерживал король французский.

<...> Вскоре я вышел на большую площадь. С одной стороны ее возвышалось большое готическое здание с высокой башней, которое я почел было ратушей. С другой представлялись взору старинные дома разнообразной постройки. На площади было много народу. Женщины в черных салопсах с черными капюшонами, словно монашенки. Раздался звук барабана. Солдаты выстроились перед караульной. Забили зорю. Музыка играла, и очень хорошо, мелодии мне новые и неизвестные. Густая толпа народа ее окружала. Чуждый посреди этой толпы, перенесенный в неведомый дотоле мир, я был в каком-то очаровании. Кончилась музыка. Толпа разошлась. Остались на улице немногие, и опять черные тени женщин забродили в полумраке. Я стоял в раздумье и переносился умом в Средние века. Декорация та же; костюмы старинные; язык того же века.

Ко мне подошел какой-то человек, сколько видно было в сумерках, порядочно одетый, и спросил учтиво по-французски, не иностранец ли я. — «Точно так», — отвечал я, — «за час пред сим прибыл я в Брюж, и брожу здесь под самыми разнообразными впечатлениями, не зная, что вижу и что слышу. Что это за площадь? Что это за здания?» — «С удовольствием удовлетворю вашему любопытству, — отвечал он, — мы теперь на *большой Торговой площади*²⁵. Это готическое здание — Ряды (les Halles). Оно построено в XIII веке. В одной его части мясные лавки, в другой гауптвахта и контора городских сборов. Посмотрите, как величественна высокая готическая башня над Рядами: теперь, ночью, глядит она как привидение. На ней был деревянный шпиг: он сгорел лет за сто пред сим».

В эту минуту заиграли на башне куранты. «Они играют каждую четверть часа», сказал мой вожатый, и считаются лучшими в Европе: они состоят из сорока семи колоколов, разделенных на четыре октавы». В самом деле, мне показались они звонче и приятнее всех слышанных мною. — «С этой (другой) стороны видите Вы *Суконные ряды*²⁶, они построены лет за пятьдесят пред сим и не заслуживают внимания. —

²⁴ В XV веке Брюгге стал колыбелью фламандской живописи, хотя и не все прославившие город художники были его уроженцами. Ян ван Эйк (ок. 1390—1441), глубоко реалистичная, исполненная внимания к деталям манера которого открыла новую страницу в живописи, поселился в Брюгге в 1431 году.

²⁵ Площадь Грооте-Маркт.

²⁶ Суконные ряды, заложенные в 1248 году и перестроенные в XVI веке.

Но вот два любопытных дома: в этом, на углу улицы, называемом Краненбург, граждане Брюжа заключили, было, императора Максимилиана, когда он не хотел отдать сына своего, Филиппа, под опеку Франции. Папа грозил им проклятием. Императорское войско шло на них. Буйные головы настояли на своем. Теперь в этом доме шинок. — В другом доме, на углу улицы Св. Аманда, жил Карл II, король Английский, по изгнании его из отечества».

Я поблагодарил приветливого толкователя, и он взялся проводить меня домой. Мы пошли кривыми улицами, мимо старинной церкви, окруженной высокими, густыми деревьями. Черная тень женщины стала на пути нашем, и, протянув иссохшую руку, глухим голосом, по-фламандски просила подаяния. Я дал ей два су; она удалилась с благословениями. Вожатый мой сказал мне, что в Брюже редко кто подает милостыню, потому что все сами ходят здесь по миру, и, конечно, на другой день в нищенском мире распространится слух, что в Брюж приехал щедрый английский милорд. У ворот гостиницы простился я с незнакомцем, искренно поблагодарив его за обязательное руководство.

На другой день начал я свои странствия с семи часов утра. Сначала отправился я в Академию Художеств, и в ее музее видел картины фан-Эйка и Мемлинга, трудами которого славится Брюж. Тут же выставлены некоторые работы учеников Академии, подающих большие надежды. Удивительно, какая деятельность, какой гений художественный возникли в Бельгии!

Церковь Брюжа равномерно богата прекрасными произведениями старинного искусства. Собор Спасителя (La Cathedrale du St. Sauveur), готическое здание XIV века, выстроенное из кирпича, снаружи очень некрасиво: тяжело, грубо, обезображено новыми пристройками, и лишилось башни своей от пожара, в 1839 году; но во внутренности своей красуется изящными картинами Мемлинга, де-Фоса, фан-Ооста и других.

В церкви Богородицы (Notre Dame) находится изваяние Богородицы с Предвечным Младенцем, приписываемое Микель-Анджелу. В этой церкви достойны замечания гробницы Карла Смелого (ум. в 1477) и дочери его Марии. На мраморных досках лежат бронзовые статуи отца и дочери. По стенам Мариина саркофага красуются богатые щиты с гербами провинций, которые Мария принесла в приданое Австрийскому Дому. Память сей прекрасной и добродетельной царицы живет в Нидерландах. Беременная, она провожала супруга своего на охоте в окрестностях Брюжа, упала с лошади и, боясь огорчить супруга, скрывала от него смертельный свой недуг.

Подле сей церкви находится старинный госпиталь св. Иоанна, в котором ходят за больными Сестры Милосердия. В небольшой церкви его, рассказывают, есть многие драгоценные произведения Мемлинга. Ян Мемлинг, служивший солдатом в армии Карла Смелого, в 1477 г., после сражения при Нанси, раненый, больной, в ветхом рубище, прибред в Брюж, был принят благочестивыми монахинями, и выздоровев, употребил все свои силы и способности для украшения их храма. Я не мог войти во внутренность сей церкви, за какою-то помехою, и очень о том жалею. Мне рассказывали, что находящиеся в ней художественные сокровища не имеют подобных себе в мире.

Ратуша в Брюже прекрасное готическое здание с шестью башенками и странными слуховыми окнами в высокой крыше. Фасад состоит из шести огромных окон во всю стену. Стоявшие в нишах между окнами статуи графов Фландрских разбиты революционерами в 1793 году. Потолок состоит из деревянного свода. Стропила его пускают от себя стрельчатые дуги, украшенные изящной резьбой. В ратуше находится городская библиотека, и есть несколько редких картин. В архиве ее гниют драгоценные документы Средней Истории. В числе их есть реестр лотерейных выигрышей, в Брюже, в 1446 году. Из этого явствует, что лотереи возникли не в Италии, а в Нидерландах, и ранее, нежели как полагают.

Напротив ратуши находится дом присутственных мест (Palais de Justice), здание отчасти новое. В отделении уголовной палаты, именно в комнате заседания присяжных (Jury), есть художественная драгоценность Брюжа, единственная в мире.

Это огромный камин, покрытый резьбой на мраморе и на дереве. Он сделан в 1529 году. Над камином резные деревянные статуи Карла V, Марии Бургундской и Максимилиана Австрийского (его бабки и деда), далее Карла Смелого и Маргариты Йоркской (его прадеда и прабабки); в малых медальонах — родители его, — Филипп Прекрасный и Иоанна Арагонская. На белом мраморном фризе изображена история целомудренной Сусанны. Все это окружено арабесками, гирляндами и т. п., самой изящной и нежной работы.

К верхней доске наличника приделаны медные скобы, за которые придерживались рыцари, отогревая ноги, озябшие в верховой езде. Весь этот памятник свидетельствует о совершенстве искусства и о терпеливости художников XVI века.

Странствия по Брюжу заключил я посещением *дома Стрелецкого Общества*. Братства стрельцов (*societes d'archers ou d'arbaletiers*) существовали в Нидерландах с XIII века. Они состояли из людей свободного звания, упражнявшихся в стрельбе в цель из лука, и усердно служивших на войне. Поступавший в сие сословие присягал в верности братству и начальникам города, обязывался исполнять приказания старшины, которого величали королем стрелецким, мирился с теми из собратьев своих, с которыми был в ссоре. Ростовщиков и развратных исключали из братства. Многие из них отличились неустрашимостью в войне и благородными поступками в мире.

Государи и вельможи вписывались в списки стрельцов и оказывали им покровительство. Общества ездили в гости из города в город, и были угощаемы собратьями своими радушно и великолепно. Многие переменялись в Бельгии, а братства стрелецкие существуют поныне. В Брюже их два: *Св. Георгия* и *Св. Севастиана*. Я посещал дом последнего, в Кармелитской улице, отличающийся небольшой готической башенкой. Члены сего общества в старину сопровождали графов Фландрских на поездках их, защищали город в случае опасности, и оказывали ему разные услуги. В 1656 году король английский Карл II и брат его, герцог Генрих Глостерский, оставив волнуемое мятежами отечество свое, вписались в члены сего братства, и завещали ему по смерти своей значительные суммы. Герцог подарил ему серебряную стрелу со своим гербом. Общество, получив, вследствие сего завещания, три тысячи шестьсот гульденов, построило залу для собраний, и украсило ее мраморным бюстом короля и портретом герцога. Нынешний король бельгийцев внес свое имя в список членов, пожаловал обществу титул королевского, и подарил ему портрет свой. На дворе выстроена длинная галерея, в которой члены (братства) забавляются стрельбой в цель в ненастное время. Разумеется, что ныне сии общества утратили свою старинную значительность и служат только местами и средствами приятного препровождения времени, но достойны внимания и любопытства, как живые памятники причудливой эпохи Средних веков.

Старинные здания Брюжа обветшали, памятники разрушились, драгоценные произведения искусств отчасти развезены по другим городам, но одно достояние принадлежит ему исстари поныне: это красота женщин. Во всей Бельгии не видал я таких прекрасных, выразительных черных глаз: из-под черного капюшона, на белом, правильном лице, под высоким челом и живописными бровями, блестят они, как на ярких красках картинах Мемлинга. Во всех домах плетут кружева; идучи по улице, слышишь стук коклюшек и взглянешь в окно: поднимется головка, и две звездочки засверкают, как в ясную ночь на синем небе²⁷.

²⁷ Греч Н. И. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847. С. 204—211.

Contents

For the 80th Anniversary of Victory in the Great Patriotic War

Mikhail Dudin, Sergey Orlov, Mustai Karim, Gleb Pagirev, Nadezhda Polyakova, Vadim Shefner. Roll Call of Fellow Soldiers. *Poems* • 3

Prose and Poetry

Mikhail Rakhunov. The Angel on Duty, or 1946. *Poem* • 7

Gennady Sedov. Theater of the Unforgettable Stagnation Period. *Novel* • 13

Sergey Makke. Catalaunian Fields on June 15, 451. *Poems* • 75

Georgy Pankratov. The Scream. *Novel* • 79

Mikhail Shelenok. Poems • 108

Evelina Azaeva. Diana's Golden Apples. *Short Story* • 110

Non-Capital Russia

Andrey Boldyrev, Roman Rubanov, Vladimir Kosogov. Kursk Lyricists. *Poems. Foreword by M. Kudimova* • 122

Arkady Gontovsky. When the Wind Sings about the Eternal. *Poems* • 129

Universe of Childhood

Natalia Osipova. The Most Beautiful Woman in Mariupol. *Novel* • 135

Publicistic Writings

On the 120th Anniversary of G. M. Kozintsev.

Mikhail Kuraev. Man Beyond the Horizon • 172

Criticism and Essays

Vera Kalmykova. Valery Bryusov — Cultural Hero of Russian Modernism. *Article Three. Dramaturgy. Action* • 188

Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Elena Travina.* The Image of Finland in the Mirror of the Niva Magazine (1870—1918). **Book Island.** *E. Zinovieva's Publication* • 201

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Russian Pilgrims at the Shrines of Belgium. *Part 3* • 243

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефон: (812) 314-72-50

E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 23.01.2025. Подписано в печать 18.02.2025.

Выход в свет 06.03.2025. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 12

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья! Журнал вошел в свой юбилейный год с большими задолженностями (более 900 000 руб.). Мы пытались решить проблему самостоятельно, но не справились со всеми трудностями. В последнее время существенно выросли полиграфические и коммунальные услуги. Всех, кто желает и готов нас поддержать, заранее горячо благодарим!

Реквизиты для банковского перевода:

Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»

ИНН: 7810328498

КПП: 784101001

Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653

В графе «Назначение платежа»

важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду



Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ
осуществляет АО «Почта России», индекс П1743

Объединенный каталог «Пресса России», индекс 73276

Агентство подписки «Урал-Пресс», индекс 73276

В Республике Беларусь — через отделения «Белпочты»

ВКонтакте — vk.com/nevajournal

